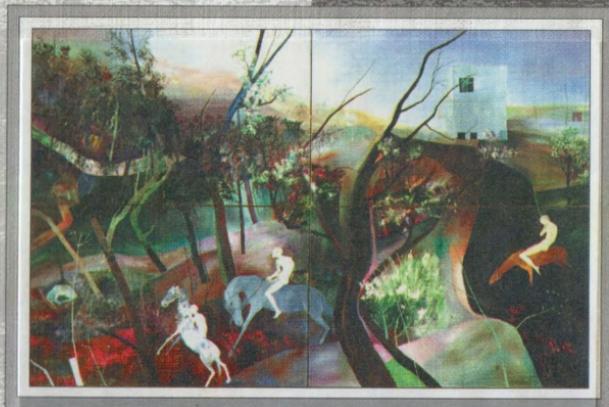


Юрий МАМЛЕЕВ

Юрий  
МАМЛЕЕВ



ЧЕРНОЕ  
ЗЕРКАЛО



ВАГРИУС





Юрий  
МАМЛЕЕВ

ЧЕРНОЕ  
ЗЕРКАЛО

Ц и к л ы



ВАГРИУС МОСКВА 1999

УДК 882-32  
ББК 84Р7  
М 22

ДИЗАЙН СЕРИИ Т. ГУСЕЙНОВОЙ

В ОФОРМЛЕНИИ ОБЛОЖКИ ИСПОЛЬЗОВАНА  
КАРИНА ДМИТРИЯ КАВАРГИ  
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕС»

ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ  
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
ВСЕЙ КНИГИ  
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО  
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ  
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА  
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ  
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

**ISBN 5-7027-0578-5**

© Издательство «ВАГРИУС», 1999

© Ю.Мамлеев, автор, 1999

КОНЕЦ  
ВЕКА



В черной, с непомерно длинным коридором коммунальной квартирке в самом дальнем углу, в десятиметровой комнатухе, жил маленький, юркий человек. Никто его почти не знал. Даже соседи по сумасшедшей этой квартирке понятия о нем не имели. Ну, живет человек, в туалет бегаёт, зовут Сашею, фамилия Курьев, ну и что? Где-то работает. Что-то говорит. Кого это волнует?

Но иногда по ночам из комнатухи Саши доносилось пение. Слабо доносилось, но зато пел он часа по два, по три. Девочка Катя порой подходила к его дверям и прислушивалась. Пение, точнее, сами слова песен были такие страшные, что девочка Катя ничего в них не понимала и обычно отскакивала от двери через пять минут.

Саша никогда не выбегал на нее и ничего не предчувствовал по отношению к этому постороннему наблюдателю.

Больше никто не интересовался им. Но все же что-то там происходило, за этой дверью. Гигант Савельич один раз подошел, чтоб постучать, в том смысле, что чайник у Саши на коммунальной кухне перекипел, и только решил размахнуться как следует своей огромной ручищей, чтоб вдарить, как услышал доносящееся изнутри кудахта-нье, а потом гортанный истерический полукрик, полувизг, но

не зверя, не человека, а некоего, по-видимому, третьего... Так, по крайней мере, решил гигант Савельич и отскочил от двери, как от змеи. Вышел на кухню и вылил проклятый перекипевший чайник на пол.

На что потом со стороны Сашеньки не было никаких возражений.

Однажды позвонили ему по телефону, и соседка Сумеречная (такая уж у нашей Тани была фамилия) шепнула ему в замочную скважину, что, мол, его зовут.

Саша вышел.

Все было спокойно.

Старушка Бычкова на кухне чистила картошку; гигант Савельич мирно хлебал рядом с ней водку; девочка Катя — внучка старушки — играла на полу меж огнем газовой плиты и портретом Лермонтова на стене. Люба Розова, нежная, молоденько-толстая с васильковыми глазами, слушала в своей комнате симфонию Римского-Корсакова. Ее мужа, интеллигента Пети, нигде не было. В боковой же комнате ругалась сама с собой Варвара, толстая, утрюмая и непривычная к жизни на том свете женщина.

Таня Сумеречная любила их всех, но за Курьевым, за Сашей, ни с того ни с сего стала наблюдать, пока он тихо себе говорил по телефону.

Вдруг она взвизгнула.

Надо сказать, что к визгу Тани Сумеречной уже все давно привыкли, несмотря на то что ее, вообще говоря, считали «отключенной». Ну, повизжит себе порой человек и перестанет. Все, как говорится, под Богом ходим.

И на этот раз на ее визг никто особенного внимания не обратил. Ну, гигант Савельич пошевелил ушами, старушка Бычкова картошку в кастрюлю с молоком уронила — и это все.

Но Таня взвизгнула через минуту опять, да так утробно, что всем ее жалко стало, даже малышке Кате. Но не успели они опомниться, как она возьми и еще раз взвизгни, да как-то совсем дико, разорванно, словно не в своей квартире она, в Москве, а в каком-нибудь зоосаде, да и то на другой планете. И тут же Саша по коридору мимо нее прошел и разом в свою комнату, это все видели — дверь в кухню открыта была. Степенно так прошел, но гиганту Савельичу показалось, что у него, у Саши Курьева, уши необычно шевелятся. Прошел в свою комнату и заперся.

Пока в кухне все столбенели, Таня Сумеречная сама ворвалась туда.

— Что случилось?! — проревел гигант Савельич.

— Что случилось! Что случилось?! — закричала зареванная Таня. — А то случилось, что Саша Курьев на моих глазах, пока разговаривал по телефону, в бычка превратился...

— А ты глазам не верь, Таня, — строго вмешалась старушка Бычкова.

— Ты глаза-то протри, Сумеречная, — поддержал ее гигант Савельич. — Я уже три дня водку лакаю, и то ничего, все вижу как есть... А ты с чего бы?

— Хулиган! — взвилась Таня. — Я непьющая и все ясно видела! Сначала в быка, потом сомлел и в орангутана превратился, все же по форме к нам, людям, поближе, а когда трубку повесил, то стал тихим недоедающим существом... А когда мимо меня шел — опять в Сашку превратился, в Курьева...

— Хватит, хватит! Проспись, стерва! — заорала вдруг старушка Бычкова. — Что ты последний ум отнимаешь!.. Заговорщица какая нашлась, — добавила она более миролюбиво.

Гигант Савельич угрожающе привстал.

Танька тут же смылась в свою комнату. Савельич развел руками и извинился перед старушкой Бычковой...

Из комнаты вышла Любочка Розова. От добродушия лицо ее стало совсем нездешним и по-русски красивым.

— Чего натворили, балагуры? — осведомилась она.

— Мы што, мы ничево, — прошамкала старушка Бычкова.

— Это Таня шалит, — высказалась с полу-девочка Катя.

Ее одобрили.

В это время дверь в комнату Саши — а была она как раз напротив кухни — распахнулась, и на всех глянуло кривоногое существо с козлиным взглядом и в каких-то лесных, корневых лохмотьях.

— Саша пришел! — закричала ни с того ни с сего девочка Катя, словно привычная.

Остальные были почти в обмороке. Рука гиганта Савельича тянулась, однако, к бутылки с водкой, но тело его было само по себе...

— Неужто правда?! — ахнула старушка Бычкова.

— Правда, все правда, мать! — прорычал Саша, хлопнул дверью и скрылся у себя.

— Психиатра зови! — истошно гаркнул Савельич.

Люба онемела.

Высунулась из-за двери голова Тани Сумеречной, и раздались злобные звуки:

— Я же вам говорила! А вы не верили!

В коридор выскочила Варвара.

— А я вообще ни во что не верю! Хватит уже, хватит! Твари снопоподобные! С ума меня все равно не сведете! — орала она. — Никому и ни во что я не верю!

Жила она в комнате рядом с кухней — и, видимо, все слышала, но, правда, ничего не видела.

Гигант Савельич вскочил и стал бить кулаком в стену.

— Умру, умру! — кричал он истошно.

Старушка Бычкова надела на голову кастрюлю и разрыдалась.

Люба, очнувшись от легкого обморока, утешала ее:

— Все бывает, старенькая, все бывает. Может, нам почудилось, может, шутку сыграли. Жизнь-то — она огромная, — Люба развела белыми руками, — в ней чудес-то полным-полно, мы ведь только малость пустяшную от Всего видим. Вот и прорвалось.

Старушка Бычкова чуть-чуть пришла в себя, сняла кастрюлю с головы и облизнула пересохшие от страха губы.

— Хоть бы хорошее что-то прорвалось к нам сюда, Люба, — заскулила она тоненьким от пережитого голоском. — А то всегда одна нечисть прет. А ведь Сашка-то был такой умный, благовоспитанный, тихий... А вон оно как обернулось!.. Милицию позвать, что ли?

— Какая тут милиция, дура! — заорал Савельич весь красный и опять стал бить кулаком в стену.

— Лермонтова-то мне не попортить! — вдруг вырвалось у старушки Бычковой.

— Наш Лермонтов уже давно на том свете и за нас Богу молится, чтоб всех нас спасти, — выговорила Любочка.

Варвара выпучила глаза.

— Неужто уж орангутаном глядел?! Не верю, не верю! — завывала она.

Гигант Савельич вдруг смяк.

— Поглядеть надо на него, — решил он. — Давайте постучим ему в дверь. Выходи, мол, Саша, и не пугай нас, Христа ради.

— Ты что, ополоумел?! — набросилась на него старушка Бычкова. — Жизни нас лишит хочешь?

— Конечно, зачем это? — поддержала ее Любочка. — Сидит он себе сейчас тихо взаперти и пушай сидит.

— Хорошо хоть твоего Пети-интеллихента нигде нет, — сказа-

ла ей Бычкова. — А то бы он сразу с ума сошел. А мы, Любка, люди ко всему крепкие.

— Вот я и говорю, постучать надо! — заорал гигант Савельич. — Сколько можно терпеть непонятное! А то я опять в стену бить буду — все тут у вас разнесу! До последнего телевизора!

Таня Сумеречная опять высунулась из своей пещеры-комнатушки.

— Я запрუსя, — сказала она, — и буду глядеть на такой кошмар только в шелку!

— Я Сашке, как он придет в себя, голову оторву за такое хулиганство! — заорал снова Савельич.

Но все же пора было что-то решать.

— Не век колдовать и загадывать, — вздохнула на табуретке Бычкова.

Милицию решили не вызывать. ФСБ тоже не беспокоить.

— Сами справимся, — задумчиво сказал Савельич. — Не впервой.

В это время в комнате Саши раздалось шипение. Все замерли. Но потом снова — мертвая тишина. Тут гигант Савельич вместо того, чтобы постучать, разбежался и, как самый храбрый, тяжестью рухнул на Сашину дверь, сразу же вышибив ее, у него уже не было сил терпеть непонятное. Дверь рухнула с грохотом. В середине комнаты на стуле сидел Сашок, вроде бы свойственный, не жуткий, но глаза горели мутным огнем.

Старушка Бычкова со страху первая подбежала к нему и, нагнувшись, посмотрела в лицо.

— Ты какой-то неродной стал, Саш, — прошамкала она.

Но гигант Савельич прервал ее.

— Что случилось, Курьев? — заорал он. — Отвечай!

Высунулась Таня Сумеречная, не утерпев. Саша лизнул воздух и ответил:

— Да так, ничего. Только вы все на моих глазах изменились. Бычкова Анна Мироновна словно воздушная струя стала. Варвара померла. А вы, Савельич, еще больше стали, только не по-нашему. А Таня — та вообще, я ее душу видел. Малышка Катя умнее всех стала и жуткая. Потому я и сомлел, — закончил Саша.

Старушка Бычкова совсем онемела.

— Что ты ум мой пугаешь, Сань? — взвилась она. — Я ж за него в ответе! Ты что?!

Саша встал со стула. И тут все увидели, что лицо его опять меняется (хотя сам он, может быть, на это не обращает внима-

ния). Исчезает плавное человеческое выражение, горят не только глаза, но и ум. И появляется что-то далекое, призрачно-глухое. И ушки — да, да, ушки быстро шевелятся.

— К психиатру его! — завопила старушка Бычкова и перепугалась своих слов.

Вышедшая из глубинки Варвара (и все слышавшая) вдруг поверила, что она умерла, — ни во что Варварушка в жизни никогда не верила, а вот в то, что она умерла, — поверила.

— Почему же я тогда думаю, — шепнула она помертвевшими губами.

Таня Сумеречная была на грани распада.

Одна малышка Катя внезапно стала веселиться.

А Саша все менялся и менялся. Губа выпятилась, глаз поумнел, но в потустороннем смысле, и волосы на голове — как-то страшно, на глазах присутствующих — стали медленно расти, разбросанные.

— Галлюцинация! — закричала Люба и осеклась, словно не поверила сразу в свои слова.

— Где мы, где мы? — шипел, однако, Саша. — Какие-то стали необычные!

Старушка Бычкова в отчаянии посмотрела на Савельича — он как был гигант, таким и остался. И Любочка Розова светилась по-прежнему. И Сашин шкаф вроде бы был на месте. А вот что Варвара осталась прежняя — в это старушка Бычкова уже не верила.

— Плясать, сейчас будем плясать! — закричала вдруг Таня Сумеречная, запрокинув голову в потолок.

Что тут сразу началось!

Чтоб скрыть ужас иного восприятия реальности, гигант Савельич первым пустился в пляс. Ноги он задирал высоко, почти до всячей с потолка лампы, и, гордясь, норовил показать себя перед изменившимся Сашею. Старушка Бычкова старалась не отставать от него, как бы в паре с ним, но сил не было плясать так высоко. Таня Сумеречная обняла Любочку, но в танце своем стремилась увести ее в коридор — подальше от всяких космических «галлюцинаций» (так бормотала она в ухо Любочке, а та только повторяла, что она всех любит, даже галлюцинации, и готова их расцеловать).

Вихрем металась на полу малышка Катя.

А Саша, если только он еще был «Сашей», стоял окаменевши (хотя волосы и росли), как герой пустынных превращений.

— Безумие, безумие! — закричала Варвара, хотя она уже была мертвая. Не хватало только интеллигента Пети (он наверняка бы спел свои сумасшедшие песни). Савельич пляски, однако, не выдерживал и крушил, что подвернется под ноги. То самовар с комода опрокинет, то чайный сервиз в шкафу разобьет, то головой портрет Саниного деда раскрошит. Тане Сумеречной показалось тогда, что дед в отместку сошел с портрета и принялся плясать вместе со всеми, наполовину невидимый, но хитрый и не забывший мир. И по-потустороннему кричал при этом.

На полу сочилась живая кровь.

Любочка слышала стоны, но в своей собственной душе.

Был бы ее муж Петя с ними, то он, не будь дурак, заглянул бы в оконце — мол, что там с миром, но ничего путного все равно бы не обнаружил. Мир как был странным, таким и оставался.

— Мудрецов на земле мало, вот что, — задумчиво проговорила Варвара совершенно несвойственные ей слова, как будто после смерти она стала уже совершенно другой.

— Бурю мы тут устроим, бурю! — орал Савельич, так бурно прыгая, что чуть не ломал потолок.

А Саша, прорастая, все каменел и каменел, и душа его была за миллиарды лет до творения мира.

— Пустите меня к нему! Пустите! — вдруг сорвалась Любочка и, бросив Сумеречную, кинулась к Саше. — Саня, родной! Где ты? Где ты? — она прикоснулась к нему. — Я все равно тебя люблю, ты ведь наш!

Саша согласно кивнул головой.

Внезапно в комнате потемнело. Черты людей как-то стерлись. Все натыкались друг на друга, только малышка Катя ползала между ног.

— Да, да, я сама тоже меняюсь, — бормотала Таня Сумеречная, натыкаясь на непонятные вещи, словно это уже были не стулья и столы.

— Будя! Будя! — гаркал иногда Савельич.

— А ты не черт, Саша? — взвизгнув, спрашивала у него старушка Бычкова и громко отвечала самой же себе: — Не похож, не похож! — и как-то уверенно, словно она — тысячелетия назад, может быть, — только и делала, что перебежала дорогу чертям.

— А я всех без различия люблю, кого Творец создал, и всех, кого еще создаст, тоже люблю, — просветленно-странненько говорила ей Люба. — И всех, всех вас прощу, даже кто мне голову от-

рубит, потому что головы у меня нет, — совсем замутненно вдрут перешла она на другой смысл.

— Света, света, света! — вдрут закричала мертвая Варвара. — Хочу света!

Сначала на ее слова никто не обратил внимания.

Но одновременно произошел спад пляса. Не все же плясать до сумасшествия, даже если произошло чудо. Гигант Савельич уже не прыгал до потолка, а сел на стул и задумался. Даже старушка Бычкова не пугалась происходящего и замерла. А Таня Сумеречная уже перестала чувствовать, что она изменяется в иное существо, и потому тихо расплакалась. Любочка же вообще была вне себя, но по-мирному. Все расселись вокруг Саши Курьева, как вокруг планеты, но он тоже стал по-своему смиряться — это поразило всех, и все остолбенели, на него глядячи. Кто думал, что он снова обернется в бычка или в икс-существо, а кто считал, что он просто теперь запоет.

И все ждали, ждали и ждали. Но Саша Курьев, напротив, становился теперь не кем иным, как Сашей Курьевым, хотя и совершенно остолбенелым, потусторонне-ошалелым. Лицо его приобрело прежние черты, и в глазах металась человеческие огоньки, хотя и полубезумные. Тогда старушка Бычкова заорала:

— Он опять стал человеком! Урааа!

Гигант Савельич ответно гаркнул:

— Ураа! — И шторы зашевелились.

Но остальные реагировали на это возвращение по-другому.

Таня Сумеречная, нервная, сорвалась с места: нежные волосы разметались, тайно-русские глаза горят. Чуть не обняла возвращенца Сашка и шепчет ему:

— Сашок, родной, открой душу... Открой... Что с тобой было?... Какая сила?! Какой мрак, какой свет?? Где ты был, прежний?!. В кого превратился... Кто в тебя вселился... Это твои будущие запредельные жизни, скажи, — и в исступлении она стала дергать его за потную рубашку.

Сашка выпучил глаза и только бормотал:

— Не трогай... Не трогай... Все равно никому ничего не понять!..

Любочка тут как тут взвилась: схватила Танечку за плечи, а потом ну хлопать в ладоши и кричать:

— Ну и хорошо, что непонятно, Тань! Так лучше! А то с ума сойдешь, от понимания-то! От понимания того, что было! Не заводись, Танька, плюнь на понимание!

Гигант Савельич наклоном мощной головы одобрил ее слова.

Одна старушка Бычкова вдруг взъелась: непоседливая стала от происшедшего безумия. Подскочила к Курьеву и хватя его мокрой тряпкой по голове. Да как заорет:

— Ты отвечай, зараза, что с тобой было на том свете! Не пугай нашу душу! — и залилась слезами.

Курьев побледнел и встал со стула, где сидел.

— Я за Творца не ответчик, — громко сказал он. — Что было, то было. А что не понять, то не понять. Но за тряпку ты ответишь, Бычкова.

— Да мы любим друг друга, любим! — закричала Любочка. Подбежала к Сашке, поцеловала его, потом к Бычковой — с тем же самым, даже гиганта Савельича обняла, отчего он крякнул. Таня Сумеречная взяла ее за руки вне себя от радости.

— Света, хочу света! Хочу-у-у! — закричала в углу мертвая Варвара.

И внезапно Великий Свет возник в сознании всех находящихся в этой комнате.

# ВЕЧЕРНИЕ ДУМЫ

Михаил Викторович Савельев, пожилой убийца и вор с солидным стажем, поживший много и хорошо, заехал в глухой район большого провинциального города.

Тянули его туда воспоминания.

Район этот был тусклый, пятиэтажный, но в некоторых местах сохранивший затаенный и грустный российский уют: домики с садиками, зелень, петухи, собачки и сны. Савельев, раньше не любивший идилию, теперь чуть не расплакался. Был он на вид суровый, щетинистый мужчина с грубым лицом, но почему-то с весьма тоскливыми глазами.

Денег у него было тьма, но он забыл о них, хотя они лежали в карманах пиджака — на всякий случай. Остановился он у знакомого коллеги, который, однако, укатил на несколько дней по делам.

Денька три-четыре Миша Савельев бродил по городу, чего-то отыскивая, и почти ничего не ел — аппетит у него совершенно отнялся, как только он приехал в до боли знакомый город. За все три дня кряхтя выпил только кружечки две пива, а насчет еды — никто и не видел, чтобы он ел.

На четвертый день, по связям своего приятеля, собрал он на квартире, где остановился, воровскую молодежь, будущих убийц и громил — «нашу надежду», как

выразился этот его приятель. Отобрал Миша только троих — Геннадия, Володю и Германа; все трое, как на подбор, юркие, отпетые, но тем не менее, исключая одного, еще никого не зарезали, не застрелили, не убили, не изнасиловали. Почти невинные, значит, начинающие...

Все они с уважением посматривали на Мишу — для них он был авторитет. Сидели за столом культурно, за чаем, без лишнего алкоголя. Из почтения к старшему.

Сначала Михаил Викторович рассуждал о своем искусстве. Его слушали затаив дыхание. У Гены сверкали глаза, у Володи руки как-то сами собой двигались, хотя сам он был тих, а Герман словно спрягал свое лицо — дескать, куда мне.

Потом выпили помаленьку, по сто, и Михаил Викторович продолжил.

— Ну, теперь, ребята, вы поняли, кто я такой, — сказал он смиренно. — Но сейчас я расскажу вам историю, которая случилась в этом городе примерно пятнадцать лет назад и которую никто забыть не сможет, если узнает о ней.

Приехал я сюда пустой. Бабки нужны были до зарезу. Жрать и пить хотелось — неважоту. Тут навели меня на одну квартиру — дескать, лежат там иконы, рубли, золотишко и разные другие предметы роскоши.

Я злой тогда был, беспокойный, крутой — и всегда хотел что-нибудь совершить, что-нибудь большее, чем просто ограбить. Ну, скажем, рот оторвать или ударить по башке, чтоб без понимания лежала, и изнасиловать.

А тот раз, как на грех, топорик захватил. Очень аккуратный, маленький, острый, с таким можно и на медведя идти.

Вечерело. Я тогда еще красоту любил, чтоб было красиво, когда на дело идешь. Ну, чтоб луна там светила, птички пели...

Ребята расхотались.

— Ты у нас, папаня, своеобразный, — высказался Володя, самый образованный.

— Помолчи лучше, — оборвал его Геннадий, самый решительный.

— Пойдем дальше, — заключил Викторыч. — Дверь в той квартире была для смеха — пнешь и откроет пасть. По моим расчетам, там никого быть не должно. Захожу, оглядываюсь, батюшки, внутри все семейство — и маманя тебе, и папаня, и еще малец у них пятилетний должен быть, но я его не заметил.

Маманя, конечно, в слезы, словно прощения просит, но я ее по-

жалел, сначала папаню пристукнул, он без сопротивления так и осел, а кровищи кругом, кровищи — будто на празднике. Маманя ахнула, ну а я аханья не любил. Парень я был наглый, осатанелый, хватя ее топориком по пухлому лицу — она и замолчи. Лежит на полу, кровь хлещет, глаз вытек, помада с губ растеклась. Пнул я ее ногой для порядка — и осматриваюсь, где что лежит. Вдруг из ванны, она в глубине коридора была, мальчик ихний выходит: крошка лет пяти, он еще ничего не видел и не понял, весь беленький, невинный, светлый и нежненький. Смотрит на меня, на дядю, и вдруг говорит: «Христос воскрес!» — и взглянул на меня так ласково, радостно. И правда, Пасха была. Со мной дурно сделалось. В одно мгновение как молния по телу и уму прошла — и я грохнулся на пол без сознания. Сколько прошло — не помню. Встаю, гляжу — я один в квартире. Трупы — те есть, лежат тихие такие, даже тише, чем трупам положено. Дитя этого нигде нет. Я туда, я сюда, где дите? Нет его — и все. Ну, на нет и суда нет, не христосоваться же с ним после всего.

Я, ополоумев, ничего не взял, смотрю в себя: аж судороги изнутри идут. И какая-то сила вынесла меня из этого дома...

С тех пор три года никого не резал. Воровал — да, грабил, конечно, но мокрого дела избегал. Не тянуло меня на него.

Года через три пришлось-таки одного дядю прирезать — иначе было нельзя.

Пришел домой — плачу...

Тут исповедальный рассказ Миши Савельева был прерван смехом. Хохотали ребята от души. «Ну и дед», — подумал про себя Володя.

Михаил Викторович на их смех, однако, не обратил внимания и медленно продолжал:

— И вот с этих пор, если убью кого — плачу. Не могу удержаться. Креплюсь, знаете, ребята, креплюсь, а потом как зареву. Такая вот со мной история произошла. Правда, я уже, почитай, лет пять никого не погубил. Да и нужды не было, — и Савельев мрачно развел руками.

Воцарилось молчание. Ребята недоуменно переглядывались, дескать, уж не придурок ли перед ними. Всякое бывает. Не только фраера, но и воры в законе могут с ума сойти.

Михаил Викторович почувствовал некоторое напряжение и для разрядки пустил два-три похабных анекдота. Ребята чуть-чуть повеселели, но сдержанно.

— Ну, а корытник-то куда пропал? — спросил вдруг Володя.

— Откуда я знаю про это дите, — угрюмо ответил Михаил Викторович. — Я вам не ясновидящий.

— Поди в попы подался. Больно религиозный корытник-то был, — хихикнул Герман.

— Еще чего, дураков нет, — неожиданно огрызнулся Геннадий. Разговор дальше не ладился. Савельев, как старшой, почувствовал, что надо закругляться.

— Пора, ребята, по домам, и вам отдохнуть надо, — вздохнул он.

— Отдыхают только после мокрых дел, — сурово ответил Геннадий. — А так мы всегда в работе. Нам отпуска не дают и не оплачивают их.

Герман хихикнул.

— Михаил Викторович, — продолжил Геннадий, видимо он был среди ребят за главного, — пусть те идут, а мы с вами, может, прошвырнемся немного на свежем воздухе, а?

Савельев согласно кивнул головой. Вышли на улицу. Было свежо, еще пели птички, одна села чуть ли не на кепку Геннадия. Но он ее смахнул. И два человека — старый и помоложе — медленно пошли вперед. Володя и Герман скрылись за углом.

Геннадий был статный, красивый юноша, уголовно-спортсменного вида.

— Погода-то, погода-то, — развел он плечами. — Хорошо. Я после мокрого люблю стаканчик водочки выкушать. Веселей идет, падла... Так по крови и разливается.

И он захохотал.

— Тебе уж приходилось? — сурово спросил Михаил Викторович.

— А как же, не раз... Что мы, лыком шиты, что ли. Небось, — проурчал Геннадий. — Но на меня ффраера не должны жаловаться. У меня рука твердая, глаз зоркий — р-раз, и никаких тебе стонов, никакого визга. Без проблем.

— Правильно, сынок, — мрачно заметил Савельев. — Да и мертвому кому жаловаться? Нет еще на земле таких инстанций, куда мертвые могли бы жаловаться...

— Ты юморист, папаня, — засмеялся Геннадий.

Они свернули на пустынную улицу, выходящую на опушку леса. Вечерело. Солнце кроваво и призрачно опускалось за горизонт.

— А я после того случая с дитем книжки стал читать... — вдруг проговорил Савельев.

Геннадий остановился.

— Слушай, папая. Надоел ты мне со своим корытником, — резко и нервно сказал Геннадий, и губы его дернулись. — Не хотел я тебе говорить, а теперь скажу: тот корытник был я.

Савельев остолбенел и расширенными от тревоги и непонятности глазами взглянул на Геннадия.

— Ты что, парень, рехнулся? — еле выговорил он.

— А вот не рехнулся, папаша, — Геннадий весело и пристально посмотрел на затихшего Савельева. — Ты, должно быть, помнишь, что, какходишь в комнату, зеркало еще огромное стояло рядом со славянским шкафом. И картина большая висела. Пейзаж с коровками — она у меня до сих пор сохранена. Под ней и маманя в крови лежала. Это ты должен помнить, — миролюбиво закончил Гена. — Хочешь, пойдем ко мне, покажу?

— Все точно, все точно, сынок, — нелепо пробормотал Савельев, и вид у него был как у курицы, увидевшей привидение. У него пошла слюна.

— Ну и добро. Я тебя сначала не узнал. Ребенком ведь я был тогда, — добавил Геннадий спокойно. — Но ты напомнил своим рассказом. Могилки предков на городском кладбище. Хочешь, сходим, бутылочку разопьем?

Савельев не нашелся, что сказать. Странное спокойствие, даже безразличие Геннадия потихоньку стало передаваться и ему.

— Ну, а потом, — продолжил Гена, — родственнички помогли. Но все-таки в детдом попал. На первое дело пошел в шестнадцать лет. И все с тех пор идет как по маслу. Не жалуясь.

Молча они шли по кривым улочкам. Савельев все вздыхал.

— А ты, отец, все-таки зря не пошарил там у нас в квартире, — рассудительно, почти учительским тоном проговорил Геннадий. — Говорят, золотишко у нас там было. Работу надо завершать, раз вышел на нее. Я не говорю, что ты зря меня не прирезал, нет, зачем? Запер бы меня в клозете, отвел бы за руку туда, посадил бы на горшок, а сам спокойненько бы обшаривал комнаты. Это было бы по-нашему. А ты повел себя как фраер. И то не всякий фраер так бы размягчился, словно теленок. Ребят и меня ты до смеху довел своим рассказом. Молчал бы уж лучше о таких инцидентах. Краснеть бы потом не пришлось. Мы ведь у тебя учиться пришли.

Савельев загрусил.

— А я вот этого корытника, каким ты был тогда, никогда не забуду. Во сне мне являлся, — дрогнувшим голосом сказал Савельев. — И слова его не забуду...

Геннадий чуть-чуть озверел.

— Ну ты, старик, псих. Не знай, что ты в авторитете, я бы тебе по морде съездил за такие слова, — резко ответил он.

— И куда ж это все у тебя делось, что было в тебе тогда? Неужели от жизни? Так от чего же? — слезно проговорил Савельев. — Одному Богу, наверно, известно.

— Слушай, мужик, не ной. Мне с тобой не по пути. Иди-ка ты своей дорогой. А я своей.

— Я ведь не сразу после твоих младенческих слов отвык от душегубства. Книги святые читал. И слова твои вели меня. Хотел я и вас, дураков, вразумить сегодня. Да не вышло.

Геннадий протянул ему руку.

— Прощай, отец, — сказал. — Тебе лечиться надо и отдохнуть как следует. А мне на дело завтра идти. Может быть, и мокрое.

Савельев остановился, даже зашатался немного.

— А я вот только недавно, года два назад, окончательно завязал со всем, — медленно проговорил он. — Теперь решил в монастырь идти. Может, примут. Буду исповедоваться. Не примут — в отшельники уйду. Богу молиться. Нет правды на земле, но где-то она должна быть...

— Ищи, отец, — насмешливо ответил Геннадий. — Только в дурдом не попади, ища правду-то...

Савельев махнул рукой и улыбнулся. И так пошли они в разные стороны: один, сгорбленный, пожилой человек, бывший убийца, ищущий правды и Бога, другой — молодой человек, легкой, весело-уверенной походкой идущий навстречу завтрашнему мокрому делу...

Прошло несколько лет. Савелий, покаявшись, постранствовал и приютился в конце концов около монастыря. Случайно узнал он о судьбе Геннадия: тот погиб в кровавой разборке. После гибели душа Геннадия медленно погружалась во все возрастающую черноту, которая стала терзать его изнутри. И он не сознавал, что с ним происходит.

А в это время Михаил Викторович, стоя на коленях, молил Бога о спасении души Геннадия. И в его уме стоял образ робкого, невинного, светлого мальчика, который прошептал ему из коридора:

— Христос воскрес!

# ПРЫЖОК В ГРОБ

Время было хмурое, побитое, перестроечное. Старичок Василий об этом говорил громко.

— И так жизнь плохая, — поучал он во дворе. — А ежели ее еще перестраивать, тогда совсем в сумасшедший дом попадешь... Навсегда.

Его двоюродная сестра, старушка Екатерина Петровна, все время болела. Было ей под семьдесят, но последние годы она уже перестала походить на себя, так что знакомые не узнавали ее — узнавали только близкие родственники. Их было немного, и жили они все в коммунальной квартире в пригородном городишке близ Москвы — рукой подать, как говорится. В большой комнате, кроме самой старушки, размещалась еще ее сестра, полустарушка, лет на двенадцать моложе Катерины, звали ее Наталья Петровна. Там же проживал и сын Натальи — парень лет двадцати двух, Митя, с лица инфантильный и глупый, но только с лица. Старичок Василий, или, как его во дворе называли, Василек, находился рядом, в соседней, продолговатой, как все равно гроб на какого-нибудь гиганта, комнате.

В коммуналке проживали еще и другие: не то наблюдатель, не то колдун Кузьма, непонятного возраста, и семья Почкаревых, из которой самый развитой был младенец Никифор. Правда, к сему времени он уже

вышел из младенчества и стукнуло ему три с половиной года. Но выражение у него оставалось прежнее, словно он не хотел выходить из своих сновидений, а может быть, даже из внутриутробного состояния. Потому его так и называли соседи: младенец.

Екатерина Петровна болела тяжело, даже как-то осатанело. Болезнь прилепилась к ней точно чума, но неизвестная миру. Возили ее по докторам, клали в больницы — а заболевание брало свое, хотя один важный доктор заявил, что она якобы выздоровела. Но выздоровела, наверное, только ее мать — и то на том свете, если только там болеют и выздоравливают. Другой доктор так был обозлен ее неизлечимостью, что даже пихнул старушку во время приема. После каждого лечения Екатерина Петровна тяжело отлеживалась дома, но все чахла и чахла. Родственники — и сестра, и Митя, и дед Василек — измотались с ней и почти извели душу.

Тянулись месяцы, и старушка все реже и реже обслуживала сама себя. Только взрослеющий младенец Никифор не смущался и уверенно, словно отпущенный на волю родителями, забредал иногда к Екатерине Петровне и, замерев на пороге, подолгу на нее смотрел, положив палец в рот. Екатерина Петровна порой подмигивала ему, несмотря на то что чувствовала — умирает. Возьмет да и подмигнет, особенно когда они останутся одни в комнате, если не считать теней. Никифору очень нравилось это подмигиванье. И он улыбался в ответ. Правда, Екатерине Петровне иногда казалось, что он не улыбается ей, а хохочет, но она приписывала это своему слабеющему уму, ибо считала, что умирает не только тело, но и ум.

Никифор же думал по-своему, только об одном — взаправдашня Екатерина Петровна или нет. Впрочем, он не был уверен, что и он сам взаправдашний. Мальчугану часто снилось, что он на самом деле игрушечный. Да и вообще пришел не в тот мир, куда хотел.

Митя не любил младенца.

— Корытники, когда еще они людьми будут, — улыбался он до ушей, поглядывая на стакан водки. — Им еще плыть и плыть до нас. Не понимаю я их.

Старичок Василий часто одергивал его:

— Хватит тебе, Митя, младенца упрекать. Неугомонный. Тебе волю дай — ты все перестроишь шиворот-навыворот. У тебя старики соску сосать будут, — строго добавлял он.

То ли наблюдатель, то ли колдун Кузьма шмыгнет, бывало,

мимо открытой двери, взглянет на раскрывшего от удивления рот мальчугана Никифора, на мученицу Екатерину Петровну, онемевшую от неспособности себе помочь, и на все остальное сторбвившееся семейство — и ни слова не скажет, но вперед по коридору — побежит.

Наталье Петровне хотелось плюнуть в его сторону, как только она видела его, — но почему именно плюнуть, она объяснить себе не могла. Она многое не могла объяснить себе — например, почему она так любила сестру при жизни и стала почти равнодушна около ее смерти, теперь.

Может быть, она просто отупела от горя и постоянного ухода за сестрой. Ведь в глубине души она по-прежнему любила ее, хотя и не понимала, почему Катя родилась ее сестрой, а не кем-нибудь еще.

Старичок Василек, так тот только веселел, когда видел умирающую Катю, хотя вовсе не хотел ее смерти и, наоборот, всю помогал ее переключивать и стелить для нее постель. Веселел же он от полного отсутствия в нем всякого понимания, что есть смерть. Не верил он как-то в нее, и все.

Только племян умирающей — Митя — все упрощал. Он говорил своей матери Наталье:

— Плюй на все. Будя, помаялись. Одних горшков сколько вынесли. Чудес, маманя, на свете не бывает. Смирись, как говорят в церкви.

В январе старушку отвезли опять в больницу, но через десять дней вернули.

— Лечение не идет, — сказали.

«Безнадежная, значит», — подумала Наталья. И потянулись дни — один тяжелей другого. Екатерину Петровну уже тянуло надевать на свою голову ночной горшок, но ей не позволяли. Потом вдруг она опомнилась, застыдилась и стала все смиренней и смиренней.

Но оживала она лишь тогда, когда младенец Никифор возникал, и то оживала больше глазом, глаз один становился у нее точно огненный — так она чувствовала Никифора. Младенец же тарачил глаза — и ему казалось, что Екатерина Петровна не умирает, а просто стынет, становясь призраком. И он радостно улыбался, потому что забывал бояться призраков, относясь к ним как к своим игрушкам.

Боялся же мальчуган того, чего на свете нет.

Колдун-наблюдатель Козьма, завидев Никифора, порой бормотал про себя так:

— Пучь, пучь глаза-то! Только меня не трогай! Знаем мы таких...

Колдун пугался и вздрагивал при виде младенца. Знатоки говорили, что такое может происходить потому, что младенец чист и что, мол, душевная чистота вспугивает колдунов. Но Козьма только хохотал на такие мысли.

— Ишь, светломордники, — шептал он. — Я не младенцев боюсь, а Никифора. Потому что отличить не могу, откуда этот Никифор пришел, от какого духа.

Между тем доктор, серьезный такой, окончательно заявил: возврата нет, неизлечима, скоро умрет Екатерина Петровна, но полгода протянуть может, а то и год.

Но время все-таки шло. Прошел уже февраль, и двоюродный браток-старичок Василий уже десятый день подряд бормотал про себя: «Мочи нет!» Старушка еле двигалась, порой по целым дням не вставала. Слова о неизлечимости и близость смерти совсем усугубили обстановку. И однажды Василек и сестра уходящей, Наталья Петровна, собрались рядом у ее изголовья. Начал Василек, ставший угрюмым.

— Вот что, Катя, — твердо промышчал он, покачав, однако, головой, — нам уже не вмоготу за тобой ухаживать. У Натальи сердечные приступы, того гляди помрет. Во мне даже веселия не стало. Все об этом говорят. Мне страшно оттого, — тихо добавил он.

Старушка Екатерина Петровна замерла на постели, голова онеподвижела, а глаза глядели на потолок, а может быть, и дальше.

— С Мити толку нет: молодой, но пьяный, больной умом и ничего не хочет. Управы на него нет. Денег нет. Сил нет.

Наталья Петровна побледнела и откинулась на спинку стула, ничего не говоря.

— Ты же все равно умрешь скоро, — сквозь углубленную тишину добавил дед Василий.

— И шго? — еле-еле, но спокойно проговорила Катерина.

— Тянуть мы больше не можем, — прошептала Наталья. — И чево тянуть-то?

— Конец-то один, Катерина. Ну проживешь ты еще полгода, ну, месяцев семь, и что толку? И себя изведешь, и нас раньше времени в могилу отправишь, — вставил Василий.

— А я не могу тотчас помереть, родные мои. Нету воли, — проговорила Екатерина Петровна и положила голову поудобней на подушке.

— Попить дать? — спросила сестра.

— Дай.

И та поднесла водички. Старушка с трудом выпила.

— Ну?

— Что «ну», Катерина, — оживился Василек. — Тебе и не надо чичас умирать. По своей воле не умрешь. Давай мы тебя схороним. Живую, — Василек посерьезнел. — Смотришься ты как мертвая. Тебя за покойницу любой примет. Схороним тихо, без шпаны. Ты сама и заснешь себе во гробе. Задохнешься быстро, не успеешь оглянуться. И все. Лучше раньше в гроб лечь, чем самой маяться и нас мучить. Думаешь, боязно? Нисколько. Все одно — в гробу лежать. Мы обдумали с Натальей. А Митя на все согласен.

Воцарилась непонятная тишина. Наталья стала плакать, но дедок ничего, даже немного повеселел, когда выговорился до конца. Екатерина долго молчала, все сморкалась.

Потом сказала:

— Я подумаю.

Наталья взорвалась:

— Катька! Из одного чрева с тобой вышли! Но сил нет! Уйди подобра-поздорову! А я потом, может быть, скоро — за тобой! Способ хороший, мы все обдумали, все концы наш районный врач, Михаил Семенович, подпишет, скажем ему, померла — значит, померла. Сомнений у него ни в чем нет, он тебя знает.

Василек насупился:

— Ты, главное, Катерина, лежи во гробу смирно, не шевелись. А то тебя же тогда и опозорят. И нас всех. А не шевелишься — значит, тебя уже нету... Все просто.

Катерина Петровна закрыла глаза, сложила ручки и тихо вымолвила:

— Я еще подумаю.

— Ты только, мать, скорей думай, — почесал в затылке Василек. — Времени у нас нету и сил. Если тянуть, то ты все равно умрешь, но и Наталью утащишь. А что я один без двоюродных сестер делать буду? Пустота одна, и веселье с меня спадет. Благодаря вам и держусь.

Наталья всплакнула.

— Умирать-то ей все же дико, Васек.

— Как это дико? А что такое умирать? Просто ее станет нету, и все, но, может, наоборот, нас станет нету, а она будет. Чего думать о смерти-то, если она загадка? Дуры вы, дуры у меня. И всю жизнь были дуры, за что и любил вас.

Екатериноушка вздохнула на постели.

— Все время нас с Наташкой за дур считал, — обиженно надула она старые умирающие губки. — Какие мы дуры...

— У нас только Митя один дурак, — вмешалась вдруг Наталья. — Да муж мой, через год пропал... А больше у нас никого и не было. Ты подумай, Катя, глубоко подумай, — обратилась она к сестре. — Мы ведь тебя не неволим. Сама решай. В случае твоего отказа если растянем, то, может быть, вместе и помрем. У Василька вон инфаркт уже был. Один Митяй останется — жалко его, но его ничем не исправишь, даже если мы останемся.

На этом семейный совет полюбовно закончился. Утром все встали какие-то бодрые. Старушка Катерина Петровна стала даже ходить. Но все обдумывала и, думая, шевелила губами.

К вечеру, лежа, вдруг спросила:

— А как же Никифор?

— Что Никифор? — испугался Василек.

— Он мне умирать не велит, — прошептала старушка.

— Да ты бредишь, что ли, Катя? — прервала ее Наталья, уронив кастрюлю. — Какой повелитель нашелся!

— Дай я с ним поговорю.

— Как хочешь, Катя, мы тебя не неволим. Смотри сама, — заплакала Наталья.

Привели Никифора. Глаза младенца вдруг словно обезумели. Но это на мгновение. Наталья дала ему конфетку. Никифор съел.

— Будя, будя, — проговорил он со слюной.

И потом опять глаза его обезумели, словно он увидел такое, что взрослые не могут увидеть никогда. А если раньше когда-нибудь и видели, то навсегда забыли — словно слизнул кто-то невидимый из памяти. Но это длилось у Никифора мгновение.

Катерина смотрела на него.

— Одобряет, — вдруг улыбнулась она и рассмеялась шелковым, неслышим почти смехом.

Вечер захватила тьма. Колдун-наблюдатель Козьма внезапно исчез. Наутро Екатерина Петровна в твердом уме и памяти, но робко проговорила, зарывшись в постель:

— Я согласная.

Виден был только ее нос, высывающийся из-под одеяла. Василек и Наталья заплакали. Но надо было готовиться к церемонии.

— Вам невоготу, но и мне невоготу на этом свете, — шептала только Катерина Петровна.

После такого решения она вдруг набралась сил и, покачиваясь, волосы разметаны, заходила по комнате.

— Ты хоть причешись, — укоряла ее Наталья Петровна. — Не на пляже ведь будешь лежать, а в гробу.

Катерина Петровна хихикнула.

Один Митя смотрел на все это, отупев.

— Ежели она сама желает, то и я не возражаю, — разводил он руками, — мне горшки тоже надоело выносить и промывать.

— Ты только помалкивай, — поучал его Василек. — Видишь, люди кругом ненормальные стали. Глядишь, и освистят нас, если что...

— Она-то согласная помереть, но сможет ли, — жаловалась Наталья. — Хорошо бы до опускания в землю померла. По ходу.

Начались приготовления. А Екатерине Петровне стало что-то в мире этом казаться. То у сестры Натальи Петровны голова не та, точно ее заменили другой, страшной, то вообще люди на улице пустыми ей видятся (как присядет Екатеринушка у окошечка), словно надуманными, то один раз взглянула во двор — брат-дед Василек за столом сидит без ушей. То вдруг голоса из мира пропали, ни звука ниоткуда не раздается, будто мир беззвучен и тих, как мышь.

Старушка решила, что это ободряющие признаки.

Наступил заветный день.

— Сегодня в девять утра ты умерла, Екатеринушка, — ласково сказал дед Василий. — Лежи себе неподвижно на кровати и считай, что ты мертвая. Наталья уже побежала к врачу, Михаилу Семеновичу, — сообщить.

Старушка всхлипнула и мирно согласилась.

— Не шевелись только, Катя, Христом-Богом прошу, — засуетился Василек. — Ведь скандал будет. Еще прибьют и тебя и меня. Зачем тебе это?

— Я согласная, — прошептала тихо старушка.

— А я за Почкаревыми сбегая. Пусть соседи видят, — и Василек двинулся к двери.

— А где Митька? — еле выдохнула старушка.

Василек разозлился:

— Да ты померла, Катя, пойми ты это. Уже девять часов пять минут. При чем тут Митька? Он сбег от страху и дурости.

— Поняла, поняла, Василий.

— Гляди, какая ты желтая. Покойница на веки вечные.

И Василек хлопнул дверью.

Скоро пришли супруги Почкаревы, просто так, взглянуть. Старушка не храпела, не двигалась, не шипела.

— Тяжело видеть все это, — проговорил Почкарев и тут же исчез.

Почкарева же нет — подошла поближе, внимательно заглянула в лицо Катеринино. Дедок даже испугался и от страха прыгнул в сторону.

— Царствие ей небесное, — задумчиво покачала головой Почкарева. — Старушка невинная, беззлобная была!

— Она уж теперь в раю! — из угла выкрикнул Василек.

— Это не нам решать, — сурово ответила Почкарева и вышла.

— Ну, что? — тихо-тихо спросила Екатериனுшка исчезающими бледными губами.

Василек подскочил к ней.

— Спи, спи, Екатерина, — умильным голосом проурчал он. — Спи себе спокойно. Никто тебе не мешает.

Через час пришла Наталья. Отозвала в коридоре Василька.

— Ну, Вася, — зашептала она, — Михаил Семенович так и выпалил: «Да она уж давно должна помереть. Сколько можно». Но для порядку сестру пришлют, чтоб удостоверить смерть, тогда и справку подпишет.

— Когда сестра придет?

— Часа через три обещала.

Екатериனுшка лежала, как мертвая, хотя никто не приходил наблюдать ее. Сама по себе лежала мертвецом. Никаких видений уже не было в ее душе.

Прибежал Митя.

— Как дела? — спросил он у матери и кивнул в сторону лжепокойной.

— Подвигаются, — угрюмо ответила Наталья и смахнула слезинку.

Через час старушка шевельнулась. Василек струсил.

— Не надо, Катя, не надо, привыкай. Ждать недолго, скоро схороним.

— Чаю хочу, — громко, на всю комнату сказала Екатерина.

— Многого хочешь, Катя, — осклабился Василек. — Может, тебе еще варенья дать? Покойницы чай не пьют. Терпи.

— Да ладно, давай я ее напою и поисть чего-нибудь дам, хоть она и мертвая, — разжалобилась Наталья.

— Ты что, мать? — заорал вдруг Митя. — Вы ей жрать будете давать, а дерьмо? Что мне ее, из гроба на толчок вытаскивать,

что ли, пока она тут будет валяться? Дядя Василий ведь гроб завтра оформит, у него блат. Но пока похоронят, я с ней тут с ума сойду. — Митя даже покраснел от злости и стал бегать по комнате.

— Изувер ты, изувер, — заплакала Наталья, — что ж она, без глотка воды будет три дня в гробу лежать?

— Да, конечно, Наталья, ты права, — смутился Василек. — Небось не обмочится. Как-нибудь выдержим.

— Выдержите, ну и выдерживайте, — рассвирепел Митя. — А если от гроба мочой будет вонять или чем еще — на себя пеняйте. Похороны сорвете. Люди могут догадаться! А я больше таскать ее на горшок не буду, хоть и из гроба.

И он убежал.

— Вот молодежь! — покачал головой Василек. — Все горе на нас, стариков, сваливают.

Екатеринушка между тем была тиха и не сказала ни единого слова в ответ. Наталья, в слезах, из ложечки напоила старушку.

Та умилилась и как-то совсем умолкла, даже душевно.

Пришла медсестра. Василек ее близко к кровати, на которой лежала покойница, не подпускал, но сестра сама по себе еле держалась на ногах от усталости и чрезмерной работы.

— Ну что тут смотреть, — разозлилась она. — Ясное дело — покойница. Приходите за справкой завтра утром. Я побегу.

И побежала. Главное было сделано. Справка о смерти почти лежала в кармане. На следующий день Василек, помахивая этой бумагой перед самым носом чуть-чуть испугавшейся Катеринушки, говорил ей:

— Ну, теперь все, Катя! Документ есть. Гроб завтра будет. И через два-три дня схороним.

— И ты отмучаешься, Катя, и мы, — всхлипывала Наталья.

— Я што, я ничаво, — чуть шамкала старушка, лежа, как ее научили, в позе мертвой.

— Попойть тебя?

— Попои, сестренка, — отвечала старушка. — А то все, все болит. Тяжко.

— Скоро кончится, — заплакал Василек.

Гроб внесли на следующий день. Василек запер дверь на ключ — мало ли что. В комнате оставались еще Наталья Петровна, Митя и будущая покойница.

— Давай, Митька, помогай. Сначала снесем ее на горшок. А потом в гроб.

— Не мучьте меня! — ответил Митя.

— Да я хочу только на горшок, а не в гроб. В гроб — не сегодня, — закапризничала вдруг старушка.

— И правда, пусть еще полежит в постели, — вмешалась Наталья. — Зачем сразу в гроб. Сегодня никого не будет, одни свои. Пусть немного понежится в кровати. Последние часы, — она опять жалостливо всплакнула. — Пусть-то далек.

На том и решили. Василек ушел к себе в соседнюю комнату — бредить. Митька сбежал.

Ночью Катериноушка храпела. И Наталье от этого храпа спалось беспокойно.

К утру старушка во сне вдруг взвизгнула: «Не хочу помирать, не хочу!»

И Наталья, обалдевши, голая встала и села в кресло.

«Наверное, все сорвется», — подумала она.

Но проснулась старушка как ни в чем не бывало и насчет того, чтобы бунтовать там, ни-ни. Во всем была согласная.

Но внезапно у нее возобновились физические силы. Старушка была как в ударе, точно в нее влили жизненный эликсир: сама встала с постели и начала бодренько так ходить, почти бегать по комнате. Этого никто не ожидал.

— Если ты выздоровела, Катя, — заплакала Наталья, — так и живи. А справку мы разорвем, пусть нас засудят за обман, лишь бы ты жила.

Василек согласно кивнул головой.

— Хоть в тюрьму, а ты живи.

Гроб стоял на столе, рядом с самоваром. Наталья, полуголая от волнения, сидела в кресле, а Василек с Катериноушкой ходили друг за другом вокруг стола с гробом.

— Да присядьте вы оба, — вскрикнула Наталья. — В глазах темно от вас.

Они присели у самовара за столом, у той его части, которую не занимал просторный гроб, сдвинутый почему-то к другому краю.

— Самовар-то вскипел, Наталья, — засуетился Василек. — Напой хоть нас с покойницей чаем. Она ведь всегда чай любила.

— Чай и живые любят тоже. Кто чай-то не любит, — заворчала Наталья и разлила по чашкам, как надо. — Живи, Катя, живи, если выздоровела.

— Да как же я вас теперь подведу? — отвечала Катериноушка, облизывая ложку из-под варенья. — Вас же посадить теперь могут

из-за меня. Скажут, например, фулиганство или еще что... Нет уж, лучше я помру.

— Да ты что? — выпучил глаза Василек. — Тюрьма — она все же лучше могилы. Подумаешь, больше года не дадут. Стерпим. А то и отпустят, не примут в тюрьму. Все бывает.

— Я теперь помирать охотница стала, — задумчиво проговорила Катеринушка, отхлебывая крепкий чай. — Хлебом меня не корми.

— С ума сошла, — брякнула Наталья. — Если безнадежно с болью, то, конечно, лучше помереть, а если выздоровела, то чего же не попрыгать и не подумать на воле. Земля-то большая.

— Не пойму я себя, — тихонько заплакала Катерина. — Куда мне теперь идти? К живым или к мертвым? К вам или к прадеду? Помнишь его, Наталья?

— Помню.

— Я подумаю, — сказала Катеринушка, — но вас все равно не подведу. Чего-нибудь решим.

Василек и Наталья переглянулись. Наталья закрыла глаза.

— Нет, ты живи, Катя, живи, — тихо сказала Наталья.

— Я и живу, хоть и покойница, — прошамкала старушка и стала двигаться вокруг стола.

Вскоре она так же внезапно, как почувствовала ранее прилив сил, ослабела. И ослабела уже как-то качественно иначе, по-особому.

— Нет, то был обман, с силушкой-то, — проскрипела Катерина. — Слабею я. Это конец, Наташа.

— И что? — хрипло спросила Наталья.

— А что? Лягу в гроб, как задумали...

— Может, не стоит? — осведомился Василек.

— А чево? Обман был с силою, и все, — старушка, задумавшись, еле-еле двигалась по комнате, хватаясь за стулья. — Ох, упаду сейчас. Насовсем, — чуть слышно сказала она.

Ее уложили. Катеринушке становилось все хуже и хуже.

Вдруг старушка, словно набравшись последних сил, проговорила:

— Хочу в гроб. Но сама. Кладите гроб на пол, как корыто. Я лягу в него. А вы потом перенесите меня на стол.

Старушка вскочила. Гроб поставили на пол перед ней.

— Премудрость прости, — вдруг тихо-тихо проговорила Катеринушка и нырнула живая в гроб.

После этого как-то по-вечному затихла. Василек закричал.

С трудом родственнички подняли гроб на стол. Украсили, как полагается, цветами. Митя вдруг зарыдал. Старушка открыла один глаз и посмотрела на него.

— Уймись, Митя, не шуми, — засуетился Василек. — Все сорвешь нам. Не тревожь старушку... Чего реवेशь как медведь? Убегай отсюда подальше!

Митя опять сбежал.

На следующий день пришли какие-то отдаленные подруги.

— Помогать нам не надо! И сочувствовать тоже! Чего пришли-то? Выкатывайтесь, — осмелился на них Василек.

Но Наталья задушевно не согласилась с ним, подруги постояли, посидели минут десять и ушли.

— Не суетись так, дедуля, — всплакнула она. — Тишина должна быть в доме, в конце концов. Из уважения к покойнице. Ведь сестра она мне родная... Хам.

Василек обиделся и ушел. Наталья вышла в туалет. Внезапно дверь тихо приоткрылась, и в комнату влез, слегка постанывая, младенец Никифор. Он тихонько подошел к ложу Екатерины Петровны. Старушка скорбно вытянула руку из гроба и ласково потрепала его по щеке. Никифор не удивился — для него и так мир был как плохая сказка. Он изумился бы скорее, если б рука не протянулась. Но он пожалел старушку, думая, что жалеть надо даже пенек.

Покойница пожалала на прощание его слабенькую ручку. Глаза младенца засветились. Он что-то прошептал, но старушка ничего не поняла.

Наталья, возвращаясь из клозета, встретила его уже в коридоре.

— Что ты тут шляешься без отца, без матери, кретин! — набросилась она на ребенка. — Ты что, к мертвой заходил? Отвечай, заходил ли к мертвой?

Никифор посмотрел в сторону, и Наталья Петровна решила почему-то, что он полоумный.

— Колдун, сумасшедший ребенок и покойница — вот жильцы нашего дома, — взвизгнула она. — Хватит уже, хватит! Пшел домой, маленький!

Никифор никому не рассказал о своем свидании. Он незаметно не раз приходил и в последующие дни к ложу полумертвой, и веки Катеринушки подрагивали, но она уже не открывала глаз, а только не шурша высовывала желтую руку из гроба и трепала ею младенца по щеке и всегда пожимала ему ручку на прощание.

Младенец вырослел, но по-особому. Только как-то отяжелела его голова. А лицо «покойницы» во время его посещения светлело.

В остальном Катеринушка ничем не выдавала себя, не болтала уже о пустяках с сестрою и братом, а молчала и молчала, уходя в непонятную тишину. Никаких мыслей уже не было в ее душе, словно душа ее провалилась в пустоту. И было ей холодно и покойно.

Настало время похорон. Сначала повезли в церковь.

Василек старался держать крышку гроба в стороне — чтоб не спугнуть старушку. Но никто не обращал на детали внимания — да и народу никого почти.

Только одна девица, пришедшая неизвестно откуда, твердила, что все — обман, и тем перепугала родственников.

Но потом оказалось, что она имела в виду общий обман во Вселенной, а не Катеринушку. Сама же старушонка оставалась смиренная, даже как-то чересчур, во своем гробу.

«Подохла она, что ли? — вертелось в уме Мити. — Ну хоть бы вякнула что-нибудь, дала знать, что жива, а то совсем голова кругом идет. Не поймешь, кто живой, а кто мертвый. И ведь всегда была такой стервой».

В церкви все сначала шло как надо. Но потом произошла нехорошая заминка. Батюшка прочитал положенные молитвы, но в какое-то мгновение вдруг увидел, что покойница неожиданно открыла один глаз, а потом быстро закрыла его, словно испугавшись.

Он подумал, что ему почудилось. Но спустя минуты три он заметил, что покойница опять открыла глаз и подмигнула — кому, непонятно.

Батюшка решил, что его смущают бесы. Он был так смирен, что не мог в чем-либо сомневаться.

Довольно опасно было целовать лжепокойницу, самозванку, можно сказать, и вообще прикасаться к ней при окончательном прощании. Митя ловко увильнул от этого, Василек приложился, а Наталья ухитрилась даже шепнуть в ухо сестрице: «Терпи, Катеринушка, терпи!» У старушки не дрогнул ни один мускул на почерневшем лице. Остальных — а было их-то всего трое, включая странную девицу, не допустили уговором до Катеринино лица.

«Она ведь брезгливая была, — опасаясь, думал дед Василек. — Чужой полезет лизнуть, она еще плюнет ему в харю. То-то будет скандал».

Далее все пошло как по маслу. Провожающие двинулись к

кладбищу на потрепанном автобусе. Василек суетливо побаивался момента, когда неизбежно надо будет закрыть гроб крышкой. Но Наталья Петровна шепнула ему, что-де они с Митей еще в квартире отрепетировали этот момент. И действительно, на похоронах все сошло с рук, старушка не вздрогнула, не завопила, а из осторожности Василек незаметно оставил ей щелку, чтоб старушка совсем не задохнулась.

— Как бы чего не вышло раньше времени, — шептал Наталья дедок. — Вдруг она не захочет, если начнет задыхаться. Уж когда будут забивать гроб, у могилы, — это недолго и надежней как-то. Тут уж не повернешь назад.

— Помолчал бы, — оборвала его заплаканная Наталья. — Помолился бы лучше о ее душе.

Стояла осень, уже выпал ранний снег, и на кладбище было одиноко и прохладно. Дул ветер, и деревья, качаясь, словно прощались с людьми. За деревьями виднелась бесконечная даль — но уже не даль кладбища, а иная, бескрайняя, русская, завораживающая и зовущая в отдаленно-вечную, еще никому не открытую жизнь.

Процессия вяло подходила к концу. «Умерла уже Катерина или нет?» — робко думала Наталья, пока шли к могиле. По крайней мере, гроб молчал.

Но нервному Васильку казалось, что крышка гроба вот-вот приоткроется и старушка оттудова неистово завопит. Но все было тихо.

Гроб поставили на краю могилы. Пора было забивать крышку.

— Критический момент, — шепнул Василек. — Вдруг она не выдержит?

— Да уснула она уже, уснула, — ответил полупьяный Митя.

Крышку забивали так, что у Натальи и Василька стало дурно с сердцем. «Каково-то ей, — подумала Наталья, — бедная, бедная... И меня так же забьют». Неожиданно для себя она вдруг прильнула к гробу. И тогда ей почудилось, что из гроба доносятся проклятья. Страшные, грозные, но не ей, а всему миру. Наталья отпрянула.

— Ты ничего не слышал? — шепнула она деду.

— Не сходи с ума-то! — прошипел Василек. — Она уже задохнулась. Кругом одна тишина. Мышь бы пробежала, и то слышно.

— Отмучилась, несчастная, — заплакала Наталья. — Как страдала от всего!.. А нам еще мучиться.

— Не скули, — оборвал Василек.

Дунул дикий порыв ветра, потом еще и еще. Показалось, что он вот-вот сбросит гроб в могилу. Но гроб спокойно опустили туда могильщики, и посыпалась мать-земля в яму, стуча о гроб. Словно кто-то бился в него как в забитую дверь...

Душа Катерины отделилась от тела. Сознание — уже иное — возвращалось к ней. Но она ничего не понимала: ни того, что теперь, после смерти, происходит с ней, ни того, что было вокруг...

Великий Дух приближался к Земле. В своем вихре — в одно из мгновений — он увидел маленькую, влекомую Бездной, никем не замеченную мушку — душу Катерины, и поманил ее. Она пошла на зов.

# СВАДЬБА

Семен Петрович, сорокалетний толстоватенький мужчина, уже два года страдающий раком полового члена, решил жениться.

Предложил он свою руку женщине лет на десять моложе его, к тому же очень любившей уют. Он ничего не скрыл от невесты, упирал только на то, что-де еще долго-долго проживет.

Свадьбу договорились справлять лихо, но как-то по-серьезному. Всяких там докторов или шарлатанов отказались взять. Набрали гостей по принципу дружбы, но, чтобы отключиться от нахальства и любознательности внешнего мира, место облюбовали уединенное, за городом, на отшибе. Там стоял только домишко родственника Ирины Васильевны, а кругом был лес. Ехали туда хохоча, на стареньком автобусе, ходившем раз в два дня.

Домишко был действительно мрачноват и удивил всех своей отъединенностью.

— Первый раз на свадьбе в лесу бываю, — заявил Антон, друг Семена Петровича.

— Для таких дел все-таки повеселее надо было место сыскать, — заметил насмешник Николай, школьный приятель Ирины Васильевны.

— Окна в нем и то черны, — удивилась Клеопатра Ивановна, сотрудница Семена Петровича по позапрошлой работе.

— А мы все это развеселим, — сказал толстяк Леонтий, поглаживая брюшко.

Тут как тут оказалась собачка, точно пришедшая из лесу. Народу всего собралось не шибко — человек двадцать, так уж задумали, — и все быстро нашли общий язык.

Закуски было видимо-невидимо: старушка Анатольевна, родственница Ирины Васильевны, еще заранее организовала еду.

Начали с пирогов и с крика: «Горько, горько!»

Семен Петрович сразу же буйно поцеловал свою Ирину, прямо-таки впился в нее. «Ну и ну», — почему-то подумала она.

Шум вокруг невесты и жениха стоял невероятный. Ирина робко отвечала на поцелуи. Вообще-то, она была безответна, и ей все равно было, за кого выходить замуж, лишь бы жених был на лицо пригожий и не слишком грустный. Грустью же Семен Петрович никогда не отличался.

Молодым налили по стакану водки, как полагается.

После первых глотков особенно оживился толстяк Леонтий.

— Я жить хочу! — закричал он на всю комнату, из которой состоял этот домик. В углу были только печка и темнота.

— Да кто ж тебе мешают, жить-то? — выпучил на него глаза мужичок Пантелеймон. — Живешь и живи себе!

— Много ты понимаешь в жизни, — прервала его старушка Анатольевна. — Леонтий другое имеет в виду. Он хочет жизни необъятной... не такой.

И она тут же задремала.

Звенели стаканы, везде раздавались стуки, хрипы. Было мрачно и весело.

Свет — окна были махонькие — с трудом попадал внутрь домика, а электричества здесь не любили.

— Молодым надо жить и жить, пусть Сема наш хворый, это ничего, кто в наше время здоров! — завизжала вдруг старушка Анатольевна, пробудясь.

Ее слушали снисходительно. Круглый резвый подросток лет четырнадцати, непонятно как попавший на эту свадьбу, плюнул ей в затылок. И сказал, что он еще, например, и не родился.

Его сурово оборвали.

Часа через два-три веселье стало почему-то потише и посмиреннее.

Толстячок поглаживал себе брюшко, а Антон, друг Семена Петровича, рассказывал:

— Я, когда со своей женой разошелся, все куклы ее поленом утробил.

— Откуда у вашей жены были куклы? Сколько ей было лет? — чуть-чуть разинула рот от удивления Клеопатра Ивановна, сотрудица Семена по позапрошлой работе.

— Как хошь, так и понимамай, — оборвал ее Антон. — Я повто-рю: всем ее куклам я головы разбил. Лучшую выбросил на по-мойку: пусть детишки поиграют.

На другом конце стола началось неестественное оживление. Николай, школьный приятель Иры, обнимался с девушкой, до странности похожей на него, как будто она была его двойник, но только в женском виде.

Собачка норвила пролезть куда-то между их рук и помешать.

На левом конце стола, возле Семена Петровича, поднялся, желая произнести тост, высокий седой старик. Но тост не произнес, а только вымолвил:

— Пропали!

Внезапно Семен Петрович умер. Это случилось мгновенно, он просто опустил голову и онеподвижел на своем кресле, точно стал с ним одним существом. Не все сразу поняли, что случи-лось, но неподвижность увидели все. Тот самый круглый рез-вый подросток лет четырнадцати подбежал и дернул Семена Петровича за нос, чтобы тот подскочил. Но Семен Петрович не подскочил и даже не пошевелился. Только Ирина Васильевна распознала сразу, что муж умер, и заревела, глядя прямо перед собой.

Полная растерянность и вместе с тем остолбенелость наконец овладели всеми. Нашедшийся все-таки среди гостей полудоктор подтвердил, приложившись, что Семен Петрович умер. Водки и закуски оставалось еще на столе необычайно, к тому же уходить никто не хотел. Да и куда было уходить? За окном дикая темень, телефона нет, автобуса долго не будет. С трупом Семена Петро-вича тоже ничего нельзя было придумать. В домишке лишнего по-мещения, куда его можно было бы положить, не существовало, не-веста же была запугана, и мысли мешались в ее мозгу. Ей вдруг опять стало казаться, что Сема, напротив, жив и только так при-смирел около нее.

Антон предложил вынести Семена Петровича во двор, но его никто не поддержал.

— Кому охота такого тащить! — плаксиво заверещала одна женщина.

— Да и зверье может съесть, — подтвердила Клеопатра Ивановна. — Его ведь хоронить надо потом.

— Какое же тут зверье может быть?! — донельзя испугался толстяк Леонтий. — Что вы людей-то зазря с ума сводите, — набросился он на Клеопатру Ивановну и даже чуть не ущипнул ее, для верности.

— Что же делать с трупом? — раздавались кругом голоса.

Кто-то даже выпил стакан водки с горя и предложил другому.

— Да пусть сидит, кому он мешает, — вдруг громко высказался один из гостей и встал.

Эти слова неожиданно были поддержаны — и почти единодушно.

— Действительно, чего зазря человека толкать, — добавил мужичок Пантелеймон. — Сидит себе и сидит.

— Мы сами по себе, а он сам по себе, хоть и жених, — вмешалась полная дама.

— А как же невеста?!

— Пушай как было, так и останется, — отрезал один угрюмый гость, — пускай невеста рядом так и сидит...

— Тебя не спрашивают об этом, — накинулись на него. — Что невеста-то думает?

Невеста думала, что Семен Петрович еще не совсем мертвый, но что трогать его не надо — умрет. Она сказала, что надо продолжить свадьбу, ну, если не свадьбу, то чтоб было, как было.

— А если Семен Петрович умер, а не в обмороке, то я на его похороны не приду, — заплакала Ирина Васильевна, но как-то смиренно. — Мне мертвые женихи не нужны, я не монашка какая-нибудь...

Вдруг истошно залаяла собачонка и цапнула Семена Петровича за ногу. Тот не пошевелился.

— Какой... в обмороке, доктор же сказал: умер, — вмешался кто-то из молодых.

В ответ Ирина Васильевна расстегнула воротник у Семена Петровича и брызнула на него водой... целым графином: но безрезультатно.

Между тем веселье опять понемногу стало вступать в свои права, а мрачноватость, того и гляди, отступать. Сначала веселье, правда, было робкое, недетское.

Да и ветер стал шуметь по крыше. Антон, однако, жалел друга, и ему стало так невмоготу, что он лег на печь. Оттуда он и

смотрел опустошенными глазами на пиршество. Двигались тени, люди, потом все уселись и смирились.

Клеопатра Ивановна рассказала даже анекдот, правда смущенно поглядывая на труп Семена Петровича.

Пантелеймон заметил этот ее взгляд и устыдил.

— Ведь он не слышит, дурочка, — каркнул он на Клеопатру Ивановну. — Ты ему хоть в ухо ори — все равно ничего.

— Неприличный анекдот, может быть, и услышит, — задумчиво сказал в ответ Николай.

Его оборвала девушка-двойник.

— Хватит о потустороннем, — сказала она. — Лучше давайте поживей веселиться. Что такие вялые стали, ребята?

Ее никто не поддержал, но перелом наступил, когда невеста запела. Вообще, в своей жизни Ирина Васильевна никогда не пела — до того была робка и тиха. А сейчас, после всего, взяла и запела. Песня была детская, шуточная и ни к чему как бы не имела отношения.

И тут-то все началось.

Николай прямо-таки сорвался с места и поцеловал невесту. Поцеловал раз, другой, а на третий поцеловал мертвеца. Тут же получил оплеуху от девушки-двойника: а за что, непонятно было.

— К кому ж она его ревнует теперь, — прошипел сквозь зубы ее молодцеватый сосед. — Наглая!

Глаза его огненно при этом покраснели, не то как у волка, не то как у воплотившегося духа, и на него страшно было смотреть. Но нос его был испитой.

Один толстячок Леонтий вел себя не в меру истерично: он подсакивал и все время кричал, что он теперь еще больше жить хочет...

Антон с печи успокаивал его. Впрочем, среди начавшегося всеобщего крика и тотального звона стаканов его особенно не замечали.

— Ты долго, долго проживешь, — сказала сидящая рядом с Леонтием лихая бабенка. — Я это чувствую, я экстрасенка...

Леонтий прямо-таки подпрыгнул от радости, сразу поверив ее словам. Потом грузно плюхнулся на свое место, и тут же его белая пухлая рука потянулась к вину и ветчине. С аппетитом опрокинув в себя стакан вина и закусив ветчиной, он довольно нахально обнажил свое брюшко и стал его нежно поглаживать для двойного удовольствия.

Его лицо разблаженничалось, как оживший вдруг блин.

— Когда оно, вино и теплынь, проходит внутрь по каждой нутряной жилочке в животе, надо извне животик поглаживать, чтоб наслаждение усилить... — шептал он, закрыв даже глазки, чтобы не ощущать ничего, кроме себя и своего наслаждения.

А между тем лихая бабенка-экстрасенка бормотала своей соседке с другого боку:

— Помрет толстун-наслаждун лет через пять всего... Я его жалею, потому и сказала, что долго-долго проживет... Я как на ладони вижу: конец не за горами.

Толстун хохотал сам в себя.

Водка лилась непрерывной рекой, заливая скатерть, рты и покрасневшие глаза.

А невеста все пела и пела.

Вдруг та самая пришедшая Бог весть откуда собачонка, совершенно ошалев, подбежала и, подпрыгнув, цапнула мертвеца за ухо, разразившись потом совершенно непонятым лаем. Как будто на ухе у мертвеца висело что-то невидимое, но увесистое и заманчивое. Старушка Анатольевна тут окончательно взъерилась.

— Да что же это такое? — заорала она во всю мочь, заливаясь слезами, так что все остальные притихли. — Когда ж это безобразия кончатся?! Что ж это за тварь такая?!! Душа Семена Петровича сейчас мытарства проходит, терзается, кипит, а этой поганой собачонке хоть бы что! Да разве животное, хоть и самое дикое, может себе такое позволить перед покойником? Зверье, оно разум и уважение насчет покойников имеет. А эта тварь и не собака вовсе поэтому, а оборотень! Я в деревне жила, я их насквозь вижу!

Собачонка в ответ залилась.

— Убить ее! — заорал вдруг мужик, вставший из-за стола и весь покрасневший как рак. В руке у него был стакан водки, точно он хотел произнести тост.

Собачонка между тем опять злобно накинулась на мертвого Семена Петровича, бросившись ему чуть ли не на грудь.

— Ненормальная какая-то, — испуганно пробормотала Клеопатра Ивановна.

— Нечистое дело, нечистое, — шепнул Пантелеймон.

Но тут старушка Анатольевна (и откуда только в руке появилось полено) хрястнула со всей силы по башке этой непонятной собачке.

Собачка тут же испустила дух, или ушла на тот свет, если угодно.

— Не будет теперь покой мертвых нарушать, — раздался голос из-за стола.

Мужичок Пантелеймон посмотрел на лежащий на полу собачий труп и совсем озадачился.

— Самого Семена Петровича теперь нужно хряпнуть по башке, может, он, наоборот, оживет, — поучительно сказал он. Его чуть не прибили.

Собачонку так и оставили лежать на полу. И когда вроде бы стали налаживаться отношения и в разговорах обозначился даже некоторый лиризм, толстячок Леонтий поднял бунт.

— Убрать надо трупы, убрать! — завизжал он, чуть не взобравшись на стол. — Хватит с нас трупов! Достаточно для одной свадьбы, довольно, — его голос перешел прямо-таки на бабий визг. — Что ж мы тут веселимся, а они лежат... Не хочу, не хочу! Убрать в землю! Немедленно!

Пантелеймон чуть не крикнул, указывая на Леонтия:

— Вот кого надо в морду! Ишь ты, в землю! А может быть, они с нами хотят! Пировать!

Но многие поддержали Леонтия.

— Собачку можно оставить, она никому не вредит, а Семена Петровича давно пора куда-нибудь вынести, поди уж смердит, — промяукала одна молодая дама слева.

— Да не поди, а уж точно, — оборвали ее. — Сколько мы тут часов пьем и пьем, а он что ж, такой неприкосновенный?

— А кто выносить будет?! — закричал Антон с печи.

— По жребию, по жребию, — отвечали ему.

Девушка-двойник одиноко ходила в стороне.

— Бросаем жребий! — закричала экстрасенка.

— А куда ж выносить в темень, на Луну, что ли? — орали в углу.

Вдруг в дверь бешено застучали.

Все остолбенели и замолкли.

Остолбенение прервали два удара.

— Кто это? — тихо спросили.

— Лесник я, открывайте! — раздался уверенный голос за дверью, точно человек там расслышал этот полусшепот.

Антон и прыткая старуха Анатольевна пошли открывать. Толстячок Леонтий упал под стол.

— Раз лесник, то откроем, — бодро сказал Антон.

Открыли.

На пороге стоял огромный, недоступного роста мужчина в ту-

лупе, хотя на улице стояло лето. Беспорядочные волосы как бы обвивали его лицо.

— Милости просим, начальничек, — залебезила старушка Анатольевна, подпрыгивая вокруг. — У нас тут свадьба. Чичас поднесем вам стакан-другой водки, штрафной. Мы люди хлебосольные, чем богаты, тем и рады.

— А это кто? — вдруг сразу спросил вошедший, ткнув огромной ручищей в сторону мертвого Семена Петровича. — Этот кто?

— А это у нас жених, — заверещала Клеопатра Ивановна. — Только он приуныл.

Но старушка Анатольевна уже подносила леснику стакан водьяры.

— Не пью, — угрюмо отстранил тот и пошел прямо к мертвецу. — Унылых я не люблю, — угрюмо сказал он. — Убрать!

Как ни странно, словно по команде, Антон и Николай перенесли тяжелое тело Семена Петровича на печь, словно ему там будет теплее.

Тишина воцарилась в этом избяном зале. Лесной человек давил всех одним своим присутствием, в глаза его, в которых зияла тьма, побаивались смотреть.

— А это кто? — взглянул он на Ирину.

— Невеста она у нас, — оживился Пантелеймон.

Ирина притихла.

— Собачку-то кто прибил? — равнодушно спросил лесной.

— Попрыгун он был. Все на мертвецов прыгал! — завизжала от страха старушка Анатольевна.

— Пушай бы и прыгал, — строго ответил незнакомец.

Его уже все прозвали между собой лесным, не лесником, а именно лесным. Правда, Пантелеймон осторожно тьявкнул:

— Фамилия-то как ваша, имя, отчество?

Но его устыдили: у таких, мол, не спрашивают.

— Ну, ежели он начальство, тогда конечно, — бормотнул Пантелеймон и выпил.

Потихоньку обстановка разрядилась. Только Клеопатрушка периодически взвизгивала:

— Я жить, жить хочу! Очень хочу!

Толстяк Леонтий глядел на нее влюбленными глазами.

А невеста плакала.

Вдруг, среди опять возникшей мертвой тишины, незнакомец, посмотрев на пол, сурово проговорил:

— Ирина, давай я на тебе женюсь. Будем в лесу или где-нибудь

еще жить. У меня семь жен было, и все померли. Выходи за меня, далеко-далеко пойдем. Я тебя уму-разуму научу.

Все ошалели.

А Ирина, заплаканно взглянув на гостей, внезапно закричала:

— Согласная! Согласная! Хочу замуж!

— Иринушка, ты што? — ахнул Антон. — Ты погляди, как он страшен!

Антон сам испугался своих слов. Но все и так видели, что незнакомец — страшен. Страшен не только своей формой и ростом, но и взглядом — темным, пригвождающим, а еще более страшен — духом.

Но на замечание Антона незнакомец, оглядев всех и покачав головой, ответил спокойно:

— Ох, ребята, ребята. И девочки. Страшных вы еще не видали. Жалею я вас. Да разве я страшен? На том свете вы, что ли, не бывали? Жути не видели? Дурачье, дурачье. Разве я жуток?

И лесной даже захохотал, указывая на себя:

— Ирок, разве я страшен?

Ирина Васильевна покраснела.

— Да они хотят моему счастью поперек стать! Да вы милый, пригожий!! — и она даже слегка потрепала незнакомца по щеке, при этом у того во рту обнажился большой зуб, скорее похожий на клык. Но глаза чуть-чуть помягчели в выражении.

— Ты что, Ирка! — взвизгнула Клеопатра. — Жениха своего забыла? Он еще, может быть, живой!

— Какой же он живой? Он весь раковый! — чуть не завывла Ирина, плеснув в Клеопатру водкой из рюмки. — Что же мне прикажешь, за мертвеца выходить?! В гробу медовый месяц справлять?! Да?! — Она зарыдала. Потом очнулась, всхлипывая. — Никто не хочет понять нашей горькой женской доли, нашего терпения! — заплакала она опять. — Конечно, хоть в гробу, да не одна. Все правильно. Но вот же живой сидит. — И она обернулась к лесному. — Хороший, милый, простой, красивый. Что же мне, век замуж не выходить? Сколько можно ждать?! Выхожу за него, выхожу, пусть берет! — истерически закричала она и поцеловала волосатую большую руку незнакомца.

— Дело сделано! — гаркнул лесной. — По рукам. Продолжаем свадьбу. Девчаты, ребята! Пьем за счастье! Чтоб и на том свету нам быть счастливыми!

— Чтой-то вы тот свет все время поминаете, — пискнула старушка Анатолевна.

Но свадьба запылилась с новой силой.

— Ох, до чего же мы дожили у нас в Советском Союзе, — опять закрывала старушка Анатольевна. — Я теперь больше на свадьбы — ни-ни. Сумасшедшие все какие-то. Не иначе как конец света приближается.

Но ее никто не слушал. Лились самогон, квас, наливки. Все пели, хохотали, целовались. Улыбалась и девушка с золотыми волосами, нечеловеческой красоты, которую раньше почему-то никто не замечал.

— Все сбудется, — говорила она.

Как призрак ходила вокруг стола девушка-двойник. Николай плакал в стороне. Трое из гостей уже лежали на полу. Незнакомец поглядывал то на потолок, то на время. Кричала птица.

К столу подошел мертвец, при жизни Семен Петрович.

— И мне налейте, — сказал он.

Незнакомец, подземно и дико захохотав, похлопал его по плечу.

— Ну, наконец-то. Я ожидал этого. Давно пора. Присоединяйтесь! Свадьба продолжается! — крикнул он в остолбеневшее окружение.

## ЖИВОЕ КЛАДБИЩЕ

Интеллигент Боря Кукушкин попал в беду. Да и времена были захватские: криминального капитализма. Боря, чтоб сразу обогатиться, продал почти все свое имущество и квартиру (еще хорошо, что он развелся с женой и жил один). Полученные деньги вложил в банк. Но спустя год исчез и банк, и деньги, в общем, все прогорело.

Кукушкин, правда, считая себя довольно практичным, не все деньги вложил: на маленькую их часть купил развалюху на отшибе деревни, километрах в сорока от Москвы. Удобств в домишке не было, а сама развалюха эта стояла на кладбище. Точнее, формально кладбища уже не существовало, но на участке Кукушкина сохранились весьма зримые и даже увесистые остатки его. Поэтому и продавали задешево, на что Кукушкин по своей практичности, не задумываясь, клюнул, не фиксируя особенно внимания на остатках развороченных старых могил.

— Я человек западной ориентации, — говорил он в пивной за грязной кружкой пива. — На меня эти могилы не действуют.

Кукушкину, однако, пришлось с самого начала тяжело. Но тяжело по-особому: хотя железнодорожная станция была рядом, добираться на работу в Москву становилось все мрачней и

мрачней. Когда же стало ясно, что все деньги прогорели, Кукушкин совсем ошалел.

— Боря, — уговаривали его на работе в бюро. — Ты не один такой. Будущее — за нами. Держись.

— И не запей, — вмешалась вдруг пожилая толстушка, у которой таким же путем исчезли деньги.

Она после этого действительно иногда пила, прямо во время работы или по ночам.

Кукушкин, однако, держался. С голодухи не помирал, как-то научился выходить из нее, становясь сытым. Подрабатывал. Курил.

Деловитость не пропадала, и это немного отстраняло тоску. А потом началось совсем нехоршее.

Кукушкин почувствовал, что могилы стали шевелиться. Особенно сильного шевеления не было, но все-таки. Нервы-то не железные. Кукушкин упрямо успокаивал себя, что в его могилах завелись зверьки. Вдруг по ночам стало светлеть. Светлело обычно из какой-нибудь одной могилы.

Тут уж Кукушкин совсем потерял равновесие.

— Я вам не юродивый какой-нибудь! — кричал он у себя в бушке в пустоту. — Я Вольтера и Поппера по ночам каждый день читаю. И не допущу, чтоб в моих могилах свистели, пищали или шевелились. Не допущу!

Хотел было вызвать милицию, но в милиции во все потеряли веру.

Кукушкин стал нервным, озабоченным и опаздывал на работу. Теперь по ночам с некоторым даже озлоблением перечитывал он Вольтера и Поппера и матерился.

— Поппер, — кричал он на работе, — считает, что у человека существует одна только физиология, а все остальное, Платон, например, одни фантазии. Но на меня-то с могилы не фантазии прут, а нечисть. Не могу, не могу!

Его характер стал изменяться. Раньше, по слабости, он любил бить женщин (любовниц, конечно), но теперь от этого отказался.

Между тем «феномены» вдруг стали утихать, и Кукушкин отбросил мысль, чтоб пригласить парапсихолога. Но внутри чувствовал, что это может быть затишье перед бурей, и поэтому стал не в меру пугливым. Вздрагивал на тишину. Недели через две после затишья встал рано утром в избе попить кока-колы и через окно увидел, что из могилы напротив ему подмигивает какая-то рожа, по-

хожая на мертвую. Кукушкин и не знал, что подумать. Взял и лег спать, поспал и уже часов в двенадцать дня отважился пойти посидеть на краю этой с позволения сказать могилы и посмотреть более внимательно, что в ней. Все-таки теперь не то время, говорил про себя Кукушкин, и он собственник всего, что тут есть, включая трупы.

Надо сказать, Боря в целях выживания не постеснялся разрыть и посадить картошку среди костей давно умерших разумных существ (то есть людей). Картошка в некоторых местах бодро цвела, разрастаясь, но там и сям попадались черепа, а порой и совсем неприличные предметы.

Кукушкин, решив клин выбивать клином, присел у могилы, из которой подмигивало. Заглянул внутрь и сам подмигнул. Внутри ничего особенного не было. Кукушкин вздохнул.

— Светлячок небось какой-нибудь ночью сегодня был, — забормотал он. — Ну да ладно, я не суеверный. Пускай подмигивают. Если им, покойникам, от этого легче. Мне-то что, я человек интеллигентный, западной ориентации, мне ли верить в потустороннее.

Обошел свои владения. Сгоряча раскопал одну могилку. Там было много костей, видимо хоронили сообща. Это почему-то вывело Кукушкина из себя... На следующий день на работе он стал плакать. Хотели вызывать «скорую».

— Не надо! — вскрикнул Боря. — Справлюсь.

— А что с вами? — осторожно спросила его пожилая толстуха.

— Себя жалко, — ответил Кукушкин.

— Ну тогда понятно, — кивнула голова толстухи. — Плачьте себе.

И действительно, окинув взором на следующее утро свой участок с разбросанными по нему черепами и костями, Кукушкин полностью вошел в жалость к себе.

— Не могу я, череп, не могу, — с горечью говорил он в почти пустую могилу, где не видно было ни гроба, ни костей, а один череп. — Уволь меня, но не могу, хватит уже. Ты вот помер, а я жить хочу, хочу жить. Знаешь, в брюшке бывает так тепло, особенно если выпьешь чего-нибудь горяченького, вина с чаем, например. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо!

Через неделю, когда ночью опять начало что-то свистеть и светлеть, он пришел к своему черепу, бледный, изможденный.

— Работу брошу, наверное, — сказал он черепу. — Ни к чему это. Теперь я понял: не жить я хочу, не жить, а быть. Неужели я стану такой же, как ты? Куда же я денусь?

— Не хнычь, мурло, — раздался вдруг сзади явственный человеческий голос.

Кукушкину с перепугу показалось, что эти грубые позорные слова произнес череп, и он чуть не упал в обморок. Но, придя в себя, оглянулся. Из могилы сзади него поднималась утрюмая человеческая фигура в лохмотьях. Фигура неуверенно пошла навстречу Кукушкину, подавая ему руку.

— Давай дружить, — произнесла фигура. — Меня зовут Киса. Я бродяга, люмпен, живу по кладбищам, по склепам, где придется. Квартиру пропил года два назад.

При слове «квартира» Кукушкин окончательно пришел в себя. Хотел даже сказать «шляются тут всякие», но дружелюбный вид незнакомца настроил и его на миролюбивый лад.

— Садитесь, — пригласил он Кису.

— Куда садиться-то? — буркнул тот.

— Да вот на край могилы. Там один череп.

— Да это разве могила? Гроба нет. Вы сами, хозяин, и разрыли, а мало ли черепов в земле. Могилы такие не бывают, я знаю.

Киса, грузный, пятидесяти лет мужчина, мутным взглядом оглядел Кукушкина.

— Интеллигент? — спросил он.

— Западной ориентации, — гордо ответил Кукушкин.

— Значит, идиот, — заключил Киса. — Поди, ни жизни ни смерти не знаешь?

— Только из кино, — ответил Кукушкин.

— То-то и оно, — пробурчал незнакомец.

Через час они уже стали друзьями и сидели на краю настоящей могилы, болтая ногами и попивая пивко. Могилу эту раскопал Кукушкин еще давно, думая там сделать погреб, но оставил эту мысль, наткнувшись на гроб.

— Я одного не пойму, — раскрасневшись, говорил Кукушкин Кисе, — отчего в жизни одновременно так хорошо и так плохо? Мне вот сейчас хорошо, а знаешь, как я свой живот жалею? В нем ведь разум есть. — И он погладил расплывшее брюшко. — Ему ведь, нежному, в могиле лежать. А я, где я буду? Не хочу, не хочу, не хочу!

— Истеричка ты, Кукушкин, хоть и друг мне, — сурово отвечал Киса. — Держи мысли в строгости, и тогда ничего бояться не будешь.

— Я хочу только жить, пусть и смотреть в одну точку, хоть сто, хоть двести лет, лишь бы жить!..

— Боря, успокой душу, — ответил Киса, — не суетись. Все будет. Но, наверное, только после смерти.

— Много ты горя повидал? — спросил Кукушкин.

— Что видел, то с глаз долой. Одну только историю не забуду.

— Какую?

— О девочке, которую мертвецы съели.

— Как так?

— Внутри нее был мертвец, он ее и сожрал.

С этих пор пошла крепкая дружба. Киса почему-то придавал бодрость Кукушкину. Он каким-то образом вселял в Кукушкина мысль, что можно неплохо жить и в аду, а уж тем более без денег, среди каких-то могил и костей. Боря даже повеселел и порой говорил Кисе, выпивая с ним на участке:

— Продам этот свой домик и заживу барином, как ты: где хочу, там и буду спать.

Он и не заметил, что радикально изменился, хотя, может быть, внутри и всегда был таким чумовым. Но временами наплывал на него и прежний рационализм, только редко, а главным образом вспыхивало упорное, почти похабное, желание жить.

Порой прогуливается Боря Кукушкин по своему кладбищу, и вдруг пробуждается в нем какое-нибудь сильное сексуальное желание, а глянет: кругом одни кости, пусть даже и бабьи. Он один раз даже понюхал такую кость и решил почему-то, что девка была молодая, когда померла.

— Хотя сейчас ей лет двести, — задумчиво произнес он.

Но часто желание жить принимало другие, более глубинные, серьезно-кошмарные формы. Каждое движение собственного тела вызывало суеверный ужас.

Киса поучал его за пивом у края могил:

— Ты, Боря, до сих пор не понимал, что мы в чуде живем. Пусть и в кошмарном, признаю. То, что мы по привычке принимаем за обыденность, ну там еда, движения, мысль, живот, алкоголь, баба, на самом деле есть форма скрытого кошмара и чуда. Просто все это повторяется, и мы это принимаем за обычное. А вот когда померем или какой-нибудь там конец света случится, тогда завеса спадет и некоторые поймут. Да и так никакой обыденной жизни на самом деле нет.

— Мудрено, мудрено говоришь, Киса, но верно, — отвечал Кукушкин и качал головой. — По крайней мере для нас, русских.

Сам он после всех событий уже перестал считать себя западно ориентированным интеллигентом. По ночам он теперь нередко

просыпался, вставал и выл, глядя то в пустоту, то на луну. Выл, кстати, чаще всего не от страха потерять жизнь, а, наоборот, от бездонного счастья бытия.

Киса ворчал: Кукушкин своим счастливым воем не давал ему спать, а спать Киса предпочитал не в развалюхе друга, а в могиле.

Этим воем Кукушкин хотел зафиксировать и выразить мгновения бытия и наплыв глубокого счастья — оттого, что он просто есть! Но потом это у Кукушкина стало проходить. Его охватывали прежние сомнения. Он хныкал, пугался заболеть гриппом или каким-нибудь смертельным параличом, потому что бытия у него не будет или будет в самой неприемлемой и неприличной форме.

После таких мыслей Кукушкин устраивал настоящий запой на своем кладбище. Созывал и собутельников Кисы: угрюмых, бездомных ребят с окраины.

Кукушкин тогда забывал даже Кису и становился заводилой: пел, хохотал, порой визжал и даже плясал на краю взрытых могил, внушая ужас бездомным ребятам. Одним словом, он совсем распустился и в такие часы не боялся даже «феноменов».

Между тем «феномены» не прекращались, хотя немного ступевались, словно их источники были смущены таким Кукушкиным надругательством.

Но у Бори все менялось в душе, особой стабильностью ведь он никогда не отличался.

Однажды, спустя несколько дней после запоя, он встал рано утром, уже давно пришедший в себя, но бледный и серьезный, и, как назло, увидел поток хилого света из могилы, на него дохнуло призраком, холодным, но внимательно изучающим его своим нечеловеческим взглядом. Именно этот случай добил и оледенил душу Кукушкина: он разом сник, подумав, что за ним наблюдают и про него все знают холодные существа с того света. Стало не до пляски.

Через недельки три, вечером, они встретились с Кисой, трезвым совершенно. Присели на скамеечку в зеленом саду. Ведь стояло лето.

— Киса, я совсем убит, — сказал Кукушкин. — Неужели ты, хотя и не просыхал в могилах по разным кладбищам, не заметил все-таки, что там происходит порой всякая гнусность?

— Ну и что? Бывает. Это известно: пошаливают. Ты думаешь, ты один живой? Трупы тоже живые, только по-своему, у них, может быть, и особая душа есть, душа праха. Трупы живут до поры до времени, пока не разложатся совсем. Но это ведь не душа самого человека.

— А как же мои могилы? Там ведь уже давно все разложились?

— А вот это странно, Боря, — задумчиво произнес Киса. — Чего волноваться-то, если уж от тела ничего не осталось? Думаю, может, дело-то не в могилах, а просто место у тебя на участке нехорошее...

— Продам и пропью, — ответил Кукушкин. — Место и впрямь нехорошее. Знаешь, у меня последнее время ощущение, что мне в душу смотрят...

...Прошло время, не стало ни Кукушкина, ни кукушек, ни людей, ни нечистой силы, ни, что главное, этого мира — все исчезло, провалилось в Бездну, стерлось, осталась одна Всепоглощающая Вечность и ничего, кроме нее. Все миры, все временное исчезло.

Удалось ли Кисе, Кукушкину, точнее, тем, кто ими был, преобразиться за то огромное время, до Провала, которое было им отпущено, и войти в эту Всепоглощающую Вечность, стать ее «частицей», а может быть, и «целым» — это уже другой вопрос. То же самое можно сказать и о бывших обладателях черепов и костей, разбросанных по живому кладбищу Кукушкина на маленькой планете Земля... Но Вечность смела все миры, видимые и невидимые, а нетварный остаток взяла себе.

Все же перед концом этого галактически далекого мира — по воле начавшегося вселенского хаоса — занесло туда ничтожный отпечаток уже погибшей нашей планеты — это был смутный, призрачный образ, вибрации, которые слагались в странное сочетание звуков: «Кукушкин, где ты? Где ты, Кукушкин?»

Но одно титаническое существо, жившее в том далеком звездном мире, внезапно по-своему «услышало» эти вибрации, пришедшие как будто из ниоткуда, и, глубоко погрузившись в себя, решило, что это скрытый эзотерический знак, посланный перед Великим Концом.

Родимов Коля решил, что он умер, родился второй раз, но уже где-нибудь на иной, более пакостной планете, и второй раз сошел с ума, ибо твердь, на которой он якобы лежал, поехала. Точнее, поехало небо, а может быть, и Земля, но только в другую сторону.

«Это конец, — подумал он снова, — или начало новому сумасшествию, но уже после смерти... Что происходит со мной?.. И почему такой грохот сверху? И сбоку что-то двигается, накаляется...»

«...Да, конечно, я умер и попал в ад... Господи, Боже, за что? За что?»

Коля, как ему показалось, пошевелил губами, пытаясь открыть глаза. Когда что-то там открылось, он увидел не бездонное синее небо над собой, а железную стену мрака наподобие черной крыши.

«Мама, я в аду!» — просияла неожиданная мысль.

«Но разве мамы могут вывести из ада? Многие из них, поди, сами в аду», — мгновенно решил Коля.

— Не хочу! — вдруг заорал он и выпучил глаза.

То, что он увидел наконец, не поддавалось никакому пониманию. Голова его будто бы ползла в одну сторону, тело вроде ехало в другую, а над ним с грохотом мчался мрак.

«Что это и когда конец?» —

подумал Родимов. Вдруг стало светло. Над ним ясное утреннее небо. Удаляющийся грохот.

Родимов одиноко лежал между рельсами, а несколько секунд назад над ним пронесся гигантский товарный состав.

Коля приподнялся. Поезд уходил.

«Это же надо так напиться, — с грустью подумал он. — Где я?»

Время напоминало утро, а где он находится — на этот счет у Родимова не было никакого представления. Последнее, что он помнил, — это себя в шумном городе, в ослепительном ресторане, гордо пьющего водку фужер за фужером.

А почему же тогда он здесь — среди этой равнины, между рельсов, и вокруг ни одного домика! И ни одной пивной, и ни одного выпрезвителя, только просторы кругом и просторы, и нет им конца.

Между тем в конце концов мог появиться второй поезд — впрочем, у Родимова возникло ощущение, что над ним уже прошло эдак пять-шесть поездов, — и Коля все же решил отползти в сторону. Это было нелегко: особенно не поддавалась одна нога, тянувшая все тело.

«Эдак у меня начнется депрессия», — подумал Родимов, робко положив голову на рельс.

В уме опять мелькнула мысль о поезде, и, издав звериный звук «у-у-у», Коля встал на четвереньки и пробежал так метров шесть, оставив опасный рельс далеко в стороне. Он упал на спину, как некий герой Трои, сражавшийся с богами.

Отходил часа два, валяясь в траве, то засыпая, то нюхая цветы, то вглядываясь в просторы. Наконец, вглядевшись, он увидел недалеко на опушке леса (оказался все-таки низенький лесок где-то сбоку) сидевшего на пеньке человека.

Коля, приподнявшись, махнул ему рукой, и ему показалось, что лицо человека расплылось в улыбке и сам он стал как белое облако.

Тогда Родимов, путаясь и плутая, побежал к нему (хотя дорога была прямая).

Приблизившись, он увидел мутного толстого человека с одним ухом.

— Где ж ухо-то второе? — тупо спросил он.

Толстяк захохотал:

— Напился? У меня их два.

И он, приподнявшись с пенька, показал второе ухо. Действительно, было два, но потом Родимов увидел, что одно исчезло. Потом опять появилось. И нос сместился вниз.

— Ну ладно, садись на травку, — миролюбиво сказал толстяк со сместившимся носом. — Водочки хошь?

Родимову показалось, что он уже в раю. Кивнул головой: мол, на все согласен.

Услышал бульканье. Отпил.

И вскоре видит: идет он по дороге. С ним одна только его тень.

— До Москвы-то далеко? — спрашивает он у собственной тени.

— Почитай, километров двадцать пять, — бодро отвечает тень.

— Ишь куда занесло нас, — замечает Родимов.

И идет себе, идет и идет.

— Грузовик! — вдруг завопила тень.

Родимов шарахнулся.

Из кабины высунулась красная, чрезмерно блаженная физиономия и спросила:

— Жить надоело?

Родимов ответил:

— Спаси!

И долго потом, ругаясь матом с собственной тенью, тряся в кузове грязной и пыльной машины.

Затем водитель забыл его, а сам ушел. Машина стояла, и Родимов спал в ней, пока не услышал у себя внутри вой собаки.

Тогда испугался и выпрыгнул из машины. С любопытством оглянулся.

— Батюшки, а я в Москве! — вскрикнул он.

— А ты думал, паразит, на луне, — раздался в стороне грубовизгливый бабий голос. — Пшел вон, опохмелись!

Родимов оглянулся, увидел бабью фигуру и вдруг резво побегал. Дворами. И сразу — на улицу.

«А я жив! А я жив!» — кричалось в уме.

И хотелось даже танцевать от счастья.

— Я бегу, бегу, бегу, опохмелиться не найду! — бормотал он, озираясь по сторонам.

Вечерело. Закрывались последние магазинчики. Веяло Москвой.

Но чудо — в одну еще не закрывшуюся пивнушку Родимов успел нырнуть.

— Господи, какой вид! — заорала на него буфетчица. — Что у нас тут, помойная яма? У нас тут пивной зал, между прочим, а не помойка!

Но на полу валялись три человека. Буфетчица — толстая, розово-белая женщина — указала на них:

— Они ведь джентльмены по сравнению с тобой, ирод!

Родимов Коля опять испугался. Подошел к зеркалу, показывавшему его во весь рост. Отшатнулся. Заглянул снова.

«Да ничего особенного, — подумал тихо. — Ну, конечно, глаз как бы нет. Заросли чем-то. Но видят же. Хоть и мутно. Одна штанина словно собаки разорвали, зато вторая-то — глаженная. Рубаха в пятнах. Это, наверное, от лягушек, — смиренно мыслил Родимов. — Помню, что часа два спал в болоте. И было там мне хорошо, на душе как-то светло, духовно!» Нос его будто сливался с губами, волосы в одном месте стояли дыбом.

«Ну и что», — решил он и нетвердой походкой пошел к буфетчице.

— Не забудь, что я человек, — весомо сказал Родимов.

Буфетчица вдруг смирилась, промолчала и налила ему душистого пива. Родимов полез в одну штанину за деньгами.

— Какие с тебя деньги, милоч, — буркнула буфетчица, — пей и иди себе с Богом. И не попадайся никому на глаза. Таких, как ты, не любят даже в могиле.

Коля вспомнил, что оказался между рельсами, потому что хотел поцеловать и даже обнять широко мчащийся навстречу ему поезд, но не вовремя упал. И Родимов пошел из пивной туда — к бреду. Присел на трамвайчик. Минуты на две стало себя очень жалко, но потом забылся. Все время — сквозь полузабытье — думалось о том, что он смертен.

— Нехорошо так, когда смертен, — шептал он, углубляясь на трамвае в Москву. — Не дело это. Что-то не то в этом мире. Не то...

Сделал три пересадки, пугая резвых старушек. И наконец оказался дома. Он временно жил в крохотной двухкомнатной квартирке на другом краю Москвы, в гостях у дальнего родственника — Курганова Валентина Юрьевича, преподавателя эстетики, одинокого мужчины лет сорока пяти. Родимов не понимал его, но любил.

В комнате Коли был хаос, грязь. Родимов зашел на кухню, полез в холодильник, благо Валентин уже спал, выпил полстакана водки, почувствовал в себе трезвость и повалился спать на полу, потому что из каприза до кровати не дошел.

Наутро проснулся в совершенно ясном и трезвом уме. Хотя на душе и в теле было еще довольно муторно.

Между тем в соседней комнате происходило нечто из совсем другой сферы: кот умирал, кот Валентина Юрьевича — Кружок.

Комната эта была более чистая, чем та, в которой лежал Коля Родимов. Все было прибрано, даже аккуратно. Старинный кожаный диван, шкафы с бесконечными книгами на многих языках, даже на санскрите.

Кот, проживший у Валентина всю свою жизнь, лежал на диване, и глаза его были закрыты. Иногда он стонал. Ветеринар три дня назад объявил, что все безнадежно, лучше сделать укол. Но Валентин Юрьевич отказался. Он верил, что Кружок должен умереть сам, тихо и естественно. Котик действительно мучился достойно. Валентин Юрьевич сидел около него и осторожно гладил черную шубку уходящего; женственно и нежно, словно знал, что нельзя иначе касаться того, кто скоро станет невидимым. Он прощался с котом. В ответ котик, становясь тенью, прощально махал хвостиком, но все-таки стонал, и в глазах его был уже мрак. Валентин Юрьевич разговаривал с котом:

— Я был одинок последние годы, ты знаешь это, Кружок. Я любил только тебя. Помнишь, сколько ночей ты спал у меня на груди, пел свои песни, согревая и жалея?..

Кот вдруг открыл глаза. Вряд ли там оставалось понимание, но скорбь прошла.

— Ты боишься смерти? — спрашивал Валентин Юрьевич. — Нет, я вижу, что не боишься, словно ты уже видишь, куда уходишь. Ты спокоен. А я вот нет, во мне нет тишины. Я не знаю, кто я, зачем я сюда пришел и почему я люблю тебя, хотя я человек, а ты пока еще котик.

Кружок застонал вдруг, жалобно и беспомощно, но с каким-то внутренним согласием, что все идет как нужно, что так надо. Он просто плакал, но не придавал этому бесконечного значения.

— Ну, ладно, надо прощаться, — проговорил Валентин Юрьевич, поцеловал кота и, поглаживая своего друга, который дышал все реже и реже, добавил: — Я хотел идти по лестнице вверх, к Богу, но я сломлен, Кружок. Не знаю, что меня сломило окончательно: то ли по плоти моей, то ли распад этого мира, то ли какой-то изъян в моей душе. Все оказалось бесполезным, — и он указал на книги. — А другим это помогало... Ну, ладно... Сейчас я и не знаю, как жить дальше. Я люблю жизнь и ненавижу ее. Зачем надо было такой ее создавать? Что это, сон, галлюцинация? Неужели так может быть?.. Да, бред это все, Кружок, бред, и слезы наши, и радость, и особенно рождение — все бред. Только одна смерть не бред. Она одна есть... Только я вижу, ты с этим не согласен. Ты отрицательно машешь хвостом. Я ведь знаю смысл всех

твоих движений. Единственное, почему я сейчас страдаю, что не увижу больше твои глаза. Что люди? Их можно любить, но от них же и смерть...

...Почему ты не соглашаешься со мной? Ты думаешь, наверное, что ничего страшного с тобой не происходит, что есть только боль, но она пройдет, и ты окажешься там, где будешь опять на месте? Да? Или ты просто покорен высшей силе? Наверное, и смерти нет... Кружок, дорогой, ладно, прощай навсегда... — Валентин на мгновение прикоснулся головой к нему. — Я еще буду жить без тебя, и, может быть, долгие годы, но я не найду то, что искал. Я буду мучиться и терпеть. А тебя я буду помнить до конца. А потом... Потом — я не знаю что...

Последний раз Кружок махнул хвостом и навеки закрыл глаза.

А через несколько дней Валентину послышалось его «мяу-мяу», такое ласковое и отрешенное, что он заплакал...

Коля Родимов слышал весь этот разговор с умирающим котом. Он встал и молча вышел из квартиры. И, проехав на автобусе, оказался в поле, совсем ясный и трезвый, но уже другой. Кругом опять было бесконечное пространство, голубые леса на горизонте, бездонность в небе и бездонность на земле; словом, непостижимая Россия.

И Родимов пошел навстречу этой бесконечности.

...После того как тот мир, в котором мы живем, исчез, после того, как исчезли и многие другие миры и прошел невыразимый поток космического времени, тот, кто был «Валентином Юрьевичем», и тот, кто был «Кружком», встретились снова — «там», где не было уже ни земного времени, ни чисел, ни человеческого ума. И кем они стали — существами ли, бесконечным разумом или посланниками неведомого, — невозможно выразить на нашем языке.

Но все-таки, прибегая к нашей земной символике, можно сказать, что они долго хохотали, глядя друг на друга, ибо в их сознании промелькнула бесконечно далекая картина: Валентин Юрьевич, комната, книги и умирающий котик.

# ПРОИСШЕСТВИЕ

Григорий Петрович Гуляев, крупный мужчина лет пятидесяти, умер. На этом свете осталась от него в однокомнатной квартире жена — Наталья Семеновна, лет на десять моложе его, сынок Вова восьми лет и, кроме того, некоторые родственники, в том числе и такие близкие, как родная сестра — Елизавета Петровна, живущая Бог знает где.

— Зря, зря Гриша умер, — говорила одна такая родственница, старушка Агафья. — Преждевременно, можно сказать...

— А кто же свое время знает? — возразила другая родственница, покрупнее телом. — Нас ведь, паразитов, не спрашивают, когда нам умирать.

Жена Наталья Семеновна ничего и никому не возражала, только вздыхала, думая о грядущем. А мальчик Вова вообще ни во что не поверил и решил, что папа просто уехал — в далекое-далекое путешествие и что он, мальчик Вова, тоже за ним скоро последует — туда, где папа.

Между тем нужно было организовывать похороны. На дворе уже стояли девяностые годы, конец второго тысячелетия, время невероятно тяжелое. Но Григорий Петрович был лицо ответственное, служивое, и организация, где он трудился, помогла. Хуже всего оказалось с могилой: место еле нашли, но зато на приличном, даже веселом кладбище. Верующий ли был Григорий

Петрович или нет — насчет этого никому ничего не известно было, даже непонятно. Но по крайней мере гражданскую панихиду подготовили по правилам.

Она состоялась в клубе велосипедистов — там на первом этаже расположился громадный зал, окна которого выходили в зеленый, уютный и в меру поганенький садик. Гроб поставили у задней стены зала — прямо против входа. Были цветы, даже знамя и не так уж много людей. (Наталья Семеновна решила Вовку своего не пускать и отправила его на дачу к двоюродной бабушке.)

В гробу Григорий Петрович постарел и вместо своих пятидесяти выглядел лет эдак на сто, а то и на все сто десять. Кожа вдруг одрябла, словно провалилась, глаза были закрыты — но с какой-то нездешней уверенностью и даже твердостью, что-де они уже никогда не откроются. Руки тоже были сложены с полной уверенностью, что они уже никогда не разомкнутся.

Плакали — средне, одна только супруга, что вполне естественно, рыдала, да еще сестра. Мамы и отца у Григория Петровича уже давно не было. Двое друзей вообще не пришли. Почему-то появилось человек пятнадцать — из спортивного общества велосипедистов — совсем никому не знакомых людей.

— Шляются тут всякие, — недовольно ворчала бабка Агафья. — Покойник ведь не пьяница был запойный, чтобы знать всю Москву, всех собутельников. Он был человек тихий, ответственный. О семье заботился.

— Безобразие, да и только, — подтверждала другая родственница. — Покоя даже в гробу не дают. Так вот и всю жизнь маешься, маешься, кричишь, ищешь чего-то, а потом и вознаграждения никакого нет, одно хамство. Ляжешь в гроб — и тебе же в морду наплюют...

— И не говорите, — шептала третья родственница, — ребята-то эти, незнакомые, наверняка навеселе...

А на дворике между тем, за кустами, расположились двое соседей Григория Петровича — Николай и Сергей, расположились для выпивки.

— Ну что ж, помянем, — сказал один.

— Помянем, — ответил другой.

Помянули, выпили, а Сергей вспомнил:

— А покойник-то нехорошо себя вел перед смертью...

— Почему нехорошо? — насторожился Николай.

— Дратья все время лез. Чуть что — в морду, хотя и больной уже был, все понимал, к чему дело идет.

— Не может быть, — ужаснулся Николай.

— Факты, — упрямо подтвердил Сергей, потом задумчиво добавил: — Может, жизнь такая пошла, крутая.

— Да чего ж перед смертью в морду?

— В самый раз. Но не думай, что он только хулиганил. Когда один оставался в квартире, криком кричал, я слышал, у нас стены тонкие.

— Людей всех жалко, — проскрипел Николай. — Не мог он, наверное, понять: как это — тело — и вдруг его нет. У него тело было добротное, не то что...

— Помянем, — проскулил Сергей, и они помянули.

Между тем в зале наступило какое-то затишье. И тогда у входа появился сам Григорий Петрович, живой. Незаметно так появился, тихо, как словно вошла потусторонняя птица. Сначала никто и внимания не обратил: ну, вошел человек, наверное, собутыльник, хочет проститься с Григорием Петровичем, который в гробу. Сам Григорий Петрович, или, вернее, Григорий Петрович, который в гробу, и не пошевелился: лежит и лежит. Сразу видно: мертвый человек. Но живой Григорий Петрович все к нему подвигается, медленно, но верно. Наконец жена первая закричала:

— Гриша!

Да, Гриша, и пиджак тот же самый, и, главное, то неуловимое в походке ли, в улыбке, по которой сразу знаешь: это ОН, в данном случае Гриша, Гуляев Григорий Петрович собственной персоной. А другая собственная персона лежит на постаменте, в торжестве, в цветах, тихая.

Наталья Семеновна еще раз расширила глаза и грохнулась на землю: Гриша!

Откровенно говоря, почти никто ничего не понял: бросились к супруге, думая, что у нее инфаркт, а на живого Григория Петровича смотрели только несколько человек, остолбенев.

Сестра его родная, Елизавета Петровна, отличавшаяся вообще жестким характером (иногда она ночевала и под поездом), чуть-чуть подошла к живому Григорию Петровичу и спросила:

— Кто ты?

— Тот, кто в гробу. — И живой Григорий Петрович подошел к мертвому Григорию Петровичу. Похолодевшая сестра его тоже приблизилась. Остальные стояли или возились около супруги. Некоторые в стороне — просто шептались.

Живой Григорий Петрович пристально и, правда, довольно

мрачно вато смотрел на свой труп. Все цепenea и цепenea, Елизавета Петровна спросила:

— А это кто? — кивком показывая на покойного.

— А это я, — сумрачно ответил Григорий Петрович.

— Гриша, но ведь ты говоришь, ходишь, — бормотнула Елизавета, и один глаз ее обезумел.

— Ну и что? — насмешливо проговорил живой Григорий Петрович. Потом, как бы извинительно, кивнул на себя, мертвого, и пожал плечами.

— Как ну и что? — ужаснулась сестра.

— А вот так, — и Григорий Петрович повернулся к ней, готовой упасть. — Ладно, Лизок, ты вот что: передай Наталье — я к ней сегодня вечером попозже приду. Только пусть Вовку не берет обратно. И пускай приготовит ужин: яичницу с колбасой, кефиру, булочек. Водки не надо.

— А я? — нежно прошептала сестра.

— А чего ты? Мы с тобой и так родные.

Живой Григорий Петрович несколько раз важно прошелся около своего гроба, остановился у головы, потрогал цветы, свои поседевшие, уже неживые волосы, тлеющий желтый лоб, незаметно дернул себя за мертвое ухо. Потом взглянул на сестру.

— Вот что, — шепнул он. — Если Наташка боится, то пусть спит, скажи ей, пускай спать ложится, если пугается. Я сам разберусь на кухне, кусну, а потом к ней прилягу...

И Григорий Петрович уверенно, но все-таки скорбно пошел к выходу, повернувшись задом к себе, мертвому. Большинство провожающих не знали его как следует в лицо и к тому же вообще опалели, так что он беспрепятственно вышел из залы.

Правда, какой-то мальчишка, признав в нем покойного, хотел схватить его за руку, но в последний момент не решился.

Три человека, хорошо знавшие Григория Петровича, лежали на полу в обмороке. Один же просто сидел и бил себя в грудь кулаками, как бы в беспамятстве. Другие все еще откачивали Наталью Семеновну. Некоторые бормотали о галлюцинации.

Другие искоса посматривали на мертвого Григория Петровича: не пошевелится ли. Усугубил положение высокий седой старик, видимо сектант: он, пронаблюдав все происходящее, подошел к гробу и плюнул в лицо покойнику, причем плюнул очень строго, как бы пригрозив.

Что тут поднялось!

Родственники, особенно сестра мертвеца, прямо вцепились в

старика сектанта, кто-то дернул его за бороду. Послышались свистки, вроде бы вызывали милицию.

Между тем музыканты, ни на что не обращая внимания, заиграли траурный марш, как и было договорено. А в зале уже дошло до мордобоя. Старикашка сектант, рваный, валялся на полу.

В это время Наталья Семеновна очнулась. С изумлением она смотрела на мир. Мир был ни на что не похож: хотя гроб стоял на месте и лилась загробная музыка, ей сопутствовали мордобой и истошные крики.

Тем временем уже по всему залу распространился слух, что, мол, только что Григорий Петрович приходил сюда сам, живой... и в этих похоронах что-то не то. Уже какой-то рыжий здоровенный мужик вытаскивал покойника из гроба, вопя, что мертвеца подложили. Покойника еле отбили, и события после такого факта приняли какой-то фантастический оборот: дрались все против всех, а остальные вопили.

Наталья Семеновна решила, что она на том свете, и опять упала в обморок.

Из своих кустов выскочили соседи-алкоголики — Сергей и Николай с криками, что они допились, потому что видели Гришу, уходящего из зала по направлению к автобусной остановке. Тем временем подъехала вызванная кем-то милиция. Первым вышло начальство — седоватый грузный лейтенант-оперативник. Но вид дерущихся у гроба поставил его в тупик. Он и его сопровождающие вышли из этого тупика минут через пять-шесть.

— Разогнать надо всю эту похоронную процессию! — заорал наконец лейтенант, подходя к лежащей без сознания Наталье Семеновне, потому что ему сказали, что это супруга умершего. Около лейтенанта вдруг завертелся какой-то человек в штатском, кажется из верхов велосипедного клуба. Наталью Семеновну потрясли, и она открыла глаза.

— Ваш это муж или не ваш?! — закричал человек, указывая на гроб. Наталья Семеновна заплакала. — Вы нам этими дикими похоронами демократизацию общества срываете!!! — визжал человек, чуть не подпрыгивая вокруг Натальи Семеновны.

— Дайте вы ей опомниться-то, — заорала на него старушка Агафья. — Неугомонные! Все вам надо выяснить! Дайте ей разобраться-то, умер у нее муж или жив?!

Лейтенант выпучил глаза. Не в силах больше выносить такие слова и мордобой вокруг гроба, лейтенант вышел на середину зала и гаркнул:

— Прекратите безобразия, не то стрелять буду!

И выхватил пистолет, направив его почему-то на гроб с покойником, но потом, опомнившись, поднял пистолет дулом к потолку. Милиционеры, стоявшие около него, оцепенели. Но слова и грозный вид, как ни странно, возымели позитивное действие. Драка, как уставший синий океан, стала затихать, и, кроме истерических криков, ничего особенного больше не происходило. Человек из верхов велосипедного клуба подошел к лейтенанту и спросил:

— Что делать-то будем, товарищ... господин лейтенант? — опасливо спросил он.

— Что делать? — задумчиво произнес начальник. — Первое: о происшедшем — молчать. Второе: похороны свернуть, музыку прекратить и сию же минуту уезжать на кладбище. Машина ведь есть? Есть. А я прослежу, чтоб все было как следует.

Его приказа послушались.

Гроб перенесли в машину. Но процессия разделилась во мнении: большинство склонялось к тому, что ехать хоронить ни к чему, потому что-де неизвестно, кого хоронят.

Наталья Семеновна сначала наотрез отказалась ехать, но потом, когда гроб уже задвигали в машину, приоткрыла его крышку и возопила:

— Да это же он, Гриша! Он — милый, ненаглядный, незабвенный мой. — И с этими словами она прямо за гробом нырнула в черную пасть траурной машины. За ней — сестра Григория Петровича Елизавета и еще несколько человек.

По дороге Елизавета очень строго и рационально рассказала Наташе о том, что ей говорил Григорий Петрович живой. Под конец рассказа глаза Елизаветы вдруг наполнились каким-то дурманом, точно она уже пребывала в мире ином, но в очень нехорошем, и тогда Елизавета Петровна проговорила:

— Ты посмотри-ка, тут перед нами Григорий Петрович мертвый и в то же время Григорий Петрович приходил живой. Их двое — один мертвый, а другой живой.

После этих слов супруга Григория Петровича заскучала. Похороны закончились совсем мертвенно и отстраненно. Все молчали. Милиция только наблюдала издалека.

Итак, Григория Петровича мертвого быстро похоронили. Никаких двусмысленных и вольнодумных речей не было. И все же таки под конец напроказили: из поредевшей кучки людей вырвался какой-то старикан, побитый в предыдущей драке в зале велосипедного клуба, обтрепанный, грязный и рваный, с развещаю-

щимися волосами, и начал истерично кричать, указывая на могилу:

— Нам туда надо! Туда! Потому что Григорий Петрович — он и мертвый, и живой в одно и то же время. Он и в гробу, он и ходит!.. Туда нам надо, туда! К Григорию Петровичу!

Милиция приблизилась. Старикашке заткнули глотку, и все обошлось гармонично.

Наталья Семеновна задумчиво возвращалась домой. В голове была одна только мысль — Григорий Петрович обещал прийти сегодня вечером. Провожала ее Елизавета Петровна, остальных родственников словно сдуло. Потом сдуло и сестру покойного. Наталья Семеновна осталась одна.

Вошла в свою однокомнатную квартиру, зажгла свет и механически приготовила ужин, как и велел Григорий Петрович: яичница с колбасой...

И стала ждать, почему-то поглядывая на часы. Потом, когда все-таки вышла из своего оцепенения, всполошилась: да что она, с ума сошла? кого она ждет, в конце концов? Григорий Петрович глубоко под землей, в земном крутящемся шаре, лежит и не выйти ему оттуда. Но вдруг она подошла к зеркалу и поправила волосы, подкрасила губки, захотелось накинуть что-то красивое, как будто ждала мужа после долгой командировки. Поймала себя на этом и разревелась от жалости к себе: значит, она и впрямь сошла с ума. Взяла себя в руки, и все дурные мысли прошли. Прибрала комнату, чтоб просто что-то делать, — и решила, что утро вечера мудренее.

— Надо ложиться спать, — сказала она и, выпив полстакана водки, быстро разделась и завалилась в постель. — Завтра будет много забот, и все эти недоразумения забудутся... — И довольно быстро заснула.

Ей приснились глаза Елизаветы, подернутые дурманом. Потом сквозь сон послышалось, как будто ключом открывали дверь. Однако это было не сновидение, она чувствовала ясно. Но не хватало сил открыть глаза, усталость, водка сковали тело, а самое главное — ей уже было все равно. Часть ее сознания была во сне, другая — бодрствовала, и этой бодрствующей частью сознания она все воспринимала. Слышала, как кто-то вошел в кухню, потом различила голос мужа, его чавканье, звон тарелки и ложки. На минуту все затихло. Потом вдруг: мат, опять звон тарелки, шум и голос мужа, что все плохо приготовлено, кругом тараканы; потом опять мат, бульканье воды... Наконец она провалилась в сон, глубокий обморочный сон.

В десятом часу утра Наталья Семеновна проснулась. В поту и ужасе вышла на кухню: яичница была съедена, тарелка побита, вода пролита. Но в квартире уже никого, Наталья Семеновна взглянула на свое тело и закричала дурным голосом: на нем явно проступали следы изнасилования...

— Гриша, родной, как же так? — закричала она.

Словом, Григорий Петрович мертвый лежал в земле, Григорий Петрович живой бродил по этой же так называемой земле и в момент, когда Наталья Семеновна проснулась, был совсем недалеко от ее дома. А бессмертный дух Григория Петровича покинул его — и живого и мертвого, и ушел далеко-далеко от них обоих, к своему Небесному Отцу, скрывшись от дыхания смертных и оставив Григория Петровича живого и мертвого один на один со Вселенной.

Космический бог Арад, в поле духовного зрения которого случайно попала эта история, так хохотал, так хохотал, увидев эти беды человеческие, что даже планета Д., находящаяся в его ведении, испытала из-за его хохота большие неприятности и даже бури на своей поверхности.

Шел 1994-й год. Зарплату в этом небольшом, но шумном учреждении выдавали гробами.

— Кто хочет — бери, — разводило руками начальство. — Денег у нас нету, не дают. Мы ведь на бюджете. Хорошо хоть гробы стали подворачиваться, лучше ведь гроб, чем ничего.

— Оно конечно, — смущались подчиненные. — Стол из гроба можно сделать. Или продать его на базаре.

— Я никаких гробов брать не буду, — заявила Катя Тупикова, уборщица. — Лучше с голоду подохну, а гробы не возьму.

Но большинство с ней были несогласные, и потянулась очередь за гробами. Выдавали соответственно зарплате и, конечно, заставляли расписываться.

— У нас тут демократия! — кричало начальство. — Мы никого не обманем.

— Гробы-то больно никудышные, — морщился Борис Порфирьевич Сучков, старый работник этой конторы, — бракованные, что ли. Ежели что, в такой гроб ложиться — срам.

— А куда денешься, — отвечала юркая энергичная девушка-коротышка. — Я уже на эту зарплату два гроба себе припасла. Случись помру, а гробы у меня под рукой.

— И то правда! — кричали в очереди. — Мы свое возьмем, не упустим.

Борис Порфирьевич покачал

головой в раздумье. Был он сорокапятилетним мужчиной работающего вида, но с удивлением во взгляде.

В очередь набились и родственники трудящихся, ибо гробы, как известно, предмет нелегкий, и некоторым тащить надо было километров пять-шесть до дому, а кругом ведь живые люди, еще морду набьют... мало ли что.

Борис Порфирыч пришел один, без жены и сына, но с тачкой. На тачке он бы мог целое кладбище перевезти. В молодости он грешил пьянством, и тогда его папаша нередко забирал своего сына Борю из пивной на тачке. С тех пор эта тачка и сохранилась, хотя раз ее чуть не разгрызли злые собаки. Но самого Борю не тронули. Теперь тачка служила ему для перевозки гробов. Она и сама напоминала гроб, но с какой-то фантастической стороны.

Нагрузившись (гробы были дешевые, что тоже вызывало у трудового народа подозрение), Борис Порфирыч поехал домой. По дороге заглянул в пивную, опрокинул малость и продолжил путь.

Дома за чаем обсуждали гробы. Припелся даже сосед, зоркий пожилой мастер своего дела Мустыгин.

-- А нам чайниками дают! — крикнул он.

-- Чайниками лучше, — умилялась полная, мягкая, как пух, Соня, жена Бориса Порфирыча. — Как-то спокойней. Все-таки чайник. А тут все же тоскливо чуть-чуть. Вон сколько накопилось их, так и толпятся у стены, словно пингвины.

— Чего страшного-то, мать! — бодро ответил сынок ихний, двадцатилетний Игорь. — Бревно оно и есть бревно. Что ты умничаешь все время?

— Брысь, Игорь, — сурово прервал его Борис Порфирыч, — щенок, а уже твякаешь на родную мать!

Между тем Мустыгин осматривал гробы.

— Гробы-то ношенные! — вдруг не своим голосом закричал он.

— Как ношенные?! — взвизгнула Соня.

— Да так! И использованные. — Мустыгин развел руками. — Порченые. одним словом. Из-под покойников. Что, я не вижу? Да и нюх у меня обостренный. Я их запах, мертвецов-то, сразу отличу...

— Не может быть, — испуганный Сучков подскочил к гробам. — Вот беда-то!

— Горе-то какое, горе! — истошно зарыдала Соня.

-- Молчи, Сонька! Я до мэра дойду! — И Сучков близоруко склонился к гробам.

Мустыгин побрякивал, поддакивал и все указывал рабочей ру-

кой на какие-то темные пятна, якобы пролежни, а в одном месте указал даже на следы, дескать, блевотины.

— Первый раз слышу, чтобы покойники блевали, — взвилась Соня. Сын ее, Игорь, в этом ее поддержал. Но Сучков-отец думал иначе.

— Просто бракованные гробы, — заключил он. — Как это я не заметил!

— А если блевотина? — спросил Игорь.

— Могли ведь и живые наблевать, — резонно ответил Сучков. — С похмелюги и не то бывает. Ну, забрели, ну, упали... Подумаешь, делов-то.

— Да почему ж блевотина-то? — рассердилась Соня. — Что она, с неба, что ли, свалилась?

— Тише, тише, — испугался Мустыгин, — не хаами.

— А во всем Костя Крючкин виноват, — зло сказал Борис Порфирьич. — Он выдавал зарплату. И подсунул мне запачканные. Друг называется! Предал меня!

— Да он тебе всегда завидовал, — вставила Соня. — Из зависти и подсунул.

— Обидно! — покачал головой Мустыгин. — Гробы должны быть как надо... Это же валюта, — и он вытянул губу. — Раз вместо зарплату. К тому же международная! Везде ведь умирают — на всем земном шаре.

— Я этого Коське никогда не прощу, — твердо и угрюмо заявил Борис Порфирьич. — Морду ему вот этим облеваным гробом и разобью.

— Обменяй лучше. По-хорошему, — плаксиво вмешалась Соня. — Зачем врага наживать? Он тебе это запомнит.

— Конечно, папань, — солидно добавил Игорь. — Скажи, что, мол, ты, Костя, обшибся, — трусливо заволновалась Соня. — Со всяким бывает. И давай, мол, по-мирному. Сменяй гробы, и все тут. Эти ведь не продашь, даже самым бедным... Только гроб ему в харю не суй, слышь, Боря?

— Ну, что поделаешь! Сегодня уже поздно, а завтра суббота, — пригорюнился Сучков. — Как неприятно! Вечно у нас трудности. И в профсоюзе я скажу, чтоб ношенными гробами зарплату не выдавали. Наше терпение не бесконечно.

Все опять сели за стол.

— А может, спустишь гроб-то тот самый, бракованный? — мечталась Соня, подперев пухлой ладонью щечку. — А что? Я вот слышала, у Мрачковых только-только дед помер. Они бед-

ные, где уж им нормальный гроб купить. Сбагри им. А с Крючковым лучше не связывайся, что ты — не видишь человека? Да он тебя живьем съест, при первом удобном случае...

— Все равно отомщу, — прорычал Сучков.

И на следующий день пошел продавать тот самый подержанный и, возможно, даже облеваный гроб. К Мрачковым зашел быстро — не зашел, а забежал...

— Дед-то помер, Анисья! — с порога закричал Борис Порфирич.

— Все знают, что помер.

— Ну вот, я с помощью к тебе. Хороший гроб по дешевке отдам! А то жрать нечего. Зарплату гробами нам выдают.

— Слышала.

— Ну раз слышала, так бери, не задерживайся.

Сучков действовал так резко, нахраписто, что Анисья Федоровна в конце концов поддалась.

— Возьму, возьму, — хрюкнула она, — только денег нет. Может, возьмешь чайниками?

— Я тебя, мать, стукну за такие слова, — рассвирепел Сучков.

— Чего меня стукать-то? — защищалась Анисья. — Денег ведь все равно нет. Стукай, не стукай.

Сучков сбегал домой.

— Бери, Боря, бери! — увещевала его Соня. — Не будь как баран. Все-таки чайник лучше, чем гроб. Спокойней. Уютней. Еще лучше — возьми самоварами.

— Какие у нее самовары...

— Все равно бери.

Сучков позвал сына. Вдвоем дотащили гроб, перли через трамвайные линии, сквозь мат и ругань людей. Тачку не использовали, несли на своих.

Мрачковы встретили гроб полоумно.

— Какой-никакой, а все-таки гроб, — сказала сестра Анисья. — Гробы на улице не валяются. Фу, целая гора с плеч.

Сучков набрал мешок чайников: но почти все какие-то старенькие. Правда, были и полуновые. Сухо распроставшись с Анисьей, Сучков (сын еще раньше убежал) с мешком за спиной направился к себе. По дороге выпил, и половина чайников разбилась. Мрачковы гробом остались довольны.

— Выгодная сделка, — решили они.

А вот Борису Порфиричу пришлось выдержать сцену.

— Чайники-то побитые почти все, — взвизгнула Соня. —

Это что же, им побитыми чайниками зарплату выдавали? Не ври!!!

Сучков нахмурился.

— Анисья сказала, что давали новые, но они сами со злости их побили. Да и я разбил штуки две, пока пил с горя. Не тереби душу только, Сонь, не тереби!

Соня присмирела.

— Ладно уж, садись кашку овсяную поешь. Ничего больше в доме нет. А то ведь умаялся.

Сучков покорно стал есть кашу. Соня пристально на него смотрела. Сучков доел кашу, облизал ложку.

— Боря, — вкрадчиво начала Соня, — мне кажется, Мустыгин преувеличил. Я все наши гробы подробно облазила. Ну, правда, тот, что ты сбагрил, был действительно облеваный. А остальные — ни-ни. Чистые гробы, как стеклышко. Один только — да, пахивает покойником и вообще подозрительный.

— Какой?

Соня показала глазами на гроб, стоящий около обеденного стола.

— Его бы хорошо тоже поскорей сбагрить, — продолжала Соня, попивая чай. — Неприятно, правда. Может быть, покойник был какой-нибудь раковый или холерный. Завтра выходной — снеси-ка на базар втихую, незаметно. Хоть на кусок мяса сменяй.

— Да куда ж я его попру на базар?! — рассердился Сучков и даже стукнул кулаком по тарелке. — Что я тебе, новый русский, что ли, все время торговать и барышничать?!

— Ой, Боря, не ори! Подумай, что исть-то будем завтра? Даже хлеба нет.

Сучков задумался.

— Вот что, — сказал он решительно. — Надо к Солнцевым пойти. Немедленно.

— Так у них же гробов полно! — Соня раскрыла рот от изумления.

— «Гробов полно!» — передразнил Сучков. — Без тебя знаю. Но они их приспособили. Вся квартира в гробах, и все пристроены — по делу. Даже корытника своего порой в гробу купают, говорят, что это, дескать, для дитя полезно. Может, и наш приспособят. Один у них гроб — как журнальный столик, другой — для грязного белья, третий почему-то к потолку привесили, говорят: красиво.

— Ну что ж, сходи.

Сучков как помешанный вскочил с места, поднял гроб, что у обеденного стола, на спину и побежал.

Соня осталась одна. Игорь давно исчез куда-то. «Наверное, только ночью придет, — подумала она. — Кошка и та куда-то пропала».

На душе было тревожно не оттого, что назавтра есть ничего не осталось, а от какого-то глобального беспокойства.

— Хоть не живи, — решила она.

Но тут же захотелось жить.

Борис Порфирыч пришел через полтора часа. С гробом. Еле влез в дверь.

— Ну, что?! — вскрикнула Соня.

— Морду хотели набить. Ихняя дочка четырнадцати лет так орала, всех соседей всполошила. Дескать, она уже и так вместо кровати спит в гробу, и ей это надоело! Что нам из гроба, толчок теперь, что ли, делать, кричала, хоть папаня на все руки мастер, но хватит уже! И мать ее поддержала. Как медведица ревели.

Соня вздохнула:

— Слава богу, что ноги унес.

— Так бы ничего, но гроб какой-то нехороший. Избавиться бы от него. Остальные я на неделе обменяю на картошку. Знаю где, — проговорил Борис Порфирыч, садясь за стол. — У самого Пузанова. У него картошка ворованная, он ее на что хошь обменяет. Ворованного он никогда не жалел.

— Да проживем как-нибудь. Игорь уже сам себе пропитание добывает. А что, иначе помрешь. Не до институтов. Но вот гроб этот какой-то скверный...

— Что ты привязалась к нему? Гроб как гроб. Ну да, паршивый. Ну да, бракованный. Но все-таки гроб. Гробы в пивной не валяются. Все-таки ценность.

Соня посмотрела вглубь себя.

— Да ты понюхай его еще раз, Боря. Какой он?

— Ну ладно. Из любви к тебе — понюхаю, так и быть.

Сучков подошел к гробу и стал его обнюхивать и проверять. Даже выстукивать.

— Не стучи — черт придет, — испугалась Соня.

— Сонь, ведь запах от покойника не может так долго держаться. Ну, допустим, пустили этот гроб налево, — наконец сказал Сучков, — но небось почистили его от предыдущего мертвеца-то, да запах и сам должен пройти, ведь не сразу же его из-под покойника — и на зарплату? Запах должен пройти.

— Должен. А вот этот не проходит, — заупрямилась Соня. — В том-то и подозрение. Почему запах трупа так долго держится? Неужели ты не чувствуешь?

— Кажется, чуть-чуть, — остоленело проговорил Сучков.

— Не кажется и не чуть-чуть, — решительно ответила толстушка Соня, подходя к гробу. — Я тебе скажу прямо, Боря, как бы тебе это ни показалось сверхъестественным: от этого гроба прямо разит мужским трупом. Вот так. Я женщина и всегда отличу по запаху мужской труп от нашего, бабьего.

— Заморочила! — вскрикнул Борис Порфирьич. — Не хулигань, Соня. Гроб, скажу резко, дерьмо, а не гроб, но трупом почти не пахнет. Что ты законы химии нарушаешь?

— Останемся каждый при своем мнении, Боря, — спокойно ответила Соня. — Пусть Игорь придет и понюхает. Он человек трезвый.

— Он по уму трезвый, а придет пьян. Чего он разберет? Давай лучше в картишки сыграем, — предложил Сучков.

И они сыграли в картишки.

Темнело уже; Соня поставила самовар, достала из-под кровати запас сухарей. Кошка не приходила. Часам к восьми постучали. Борис Порфирьич открыл. Всунулось лицо Мустыгина.

— К вам гость, Соня, от дядюшки вашего.

— От Артемия Николаевича! Из Пензы! — вскрикнула Соня.

Из-за спины Мустыгина появился невзрачный старичок, рваненький, лохматенький, совсем какой-то изношенный, потертый, весь в пятнах.

— Проходите! — откликнулась Соня.

Сучков вопросительно посмотрел на жену.

— Да, дядюшка всегда был чудной, — рассмеялась Соня. — И люди вокруг него были чудные. Вы проходите, старенький!

Старичок оглянулся, высморкался. Мустыгин исчез за дверью: ушел к себе.

— Отколь ты такой, дед? — немножко грубовато спросил Борис Порфирьич.

Старик вдруг бросил на него взгляд из-под нависших седых бровей, сырой, далекий и жутковатый. И вдруг сам старичок стал какой-то тайный.

Соня испугалась.

— Из того гроба я, — сурово сказал старик, указывая на тот самый пахнувший гроб.

Супруги онемели.

— Мой гроб это. Я его с собой заберу.

И старик тяжело направился к гробу.

— Чужие гробы не надо трогать! — жестко проговорил он и, взглянув на супругов, помахал большим черным пальцем.

Палец был живее его головы.

Потом обернулся и опять таким же сырым, но пронизывающим взглядом осмотрел чету.

— Детки мои, что вы приуныли-то? — вдруг по-столетнему шушукнул он. — Идите, идите ко мне... Садитесь за стол. Я вам такое расскажу...

Сучковы сели.

Наутро Игорь, трезвый, пришел домой. Дома не оказалось ни родителей, ни гробов. Все остальное было в целости и сохранности. Потом появилась милиция.

Супруги Сучковы исчезли навсегда.

## КРУТЫЕ ВСТРЕЧИ

В глубоком отдалении от Москвы, в домике, затерянном на лесистом участке, но поблизости от шоссе и деревни, собралась небольшая компашка.

Один — урод с двумя головами, точнее, то были слипшиеся братья, но слиплись они до такой степени, что представляли, пожалуй, одно тело с двумя головами. Второй оказался просто трупом, и он неподвижно полулежал в кресле. Третий был человеко-мужчина с виду нормальный, но на самом деле выходец из другого мира, весьма жутковатый дух, вселившийся в человеческое тело. Четвертый (он угрюмо ходил по комнате) — медведь, бывший когда-то в предыдущем воплощении и в других мирах существом, наделенным разумом, но преступником, прошедшим через ад и вышедшим оттуда в обличье медведя.

И вот все они собрались в комнатухе средних размеров, обитой дорогой вагонкой, с выходом на террасу. Одно окно смотрело в сад с роскошными кустами сирени. В саду лихо пели птички. Был полудень, полувечер.

В углу комнаты приютился телевизор, старый, чуть ли не хрущевских времен, и на его экране отражалось какое-то научное заседание. Толстый академик бубнил что-то о человечестве. Но звук был приглушен, так что он не мешал нашим себе-

седникам. Они сидели за старомодным круглым столом в центре комнаты, на столе пыхтел дедовский самовар, рядом — чашечки, блюдечки и варенье. Кресло медведя пустело, а он, как уже было упомянуто, мрачновато ходил вокруг стола, поворачивая морду в углы. У входа протянулся книжный шкаф. Книги были в основном по философии.

Человек, мужчина «с виду нормальный» (его называли Павлуша), вынул потертую колоду старинных карт — они были весьма необычные.

— Ну что ж, погадаем, господа, — произнес он.

Все вдруг замерли. А из уст трупа раздался свист, в котором различимы были слова:

— О чем будем гадать? О прошлом или о будущем?

— Заглянем сначала в прошлое, в предыдущие жизни в других мирах, ибо здесь повторений не бывает. Может быть, кто-нибудь серьезно подзабыл их... Тогда напомним, — улыбаясь, произнес Павлуша.

Урод неодобрительно покачал одной головой, другая же его голова, напротив, согласилась. Медведь чуть-чуть привстал на задние лапы, но на это никто не обратил внимания. Труп засопел и вздрогнул.

Павел начал раскладывать свои нечеловеческие карты со странными фигурами на них и звездным небом.

Наступила тишина. Медведь покорно опустил лапы и застыл.

— Сначала гадаю о прошлом Арнольда и Эдуарда, — промолвил Павлуша, указывая на урода. — Хотя речь идет не о нашем мире, буду говорить в человеческих выражениях и формах, иначе ничего не понять... Начинаем... Так... Да... Да... — тихо продолжил он и погрузился в себя. Потом пробормотал: — Космический указатель идет направо... Богиня звезды... Над головой... Цвет ада... Хорошо, хорошо... Круг голодных духов... Так, так... Ну, молчу, молчу... А теперь все ясно... Говорить? — обратился он к уроду.

В ответ два глаза на лицах того наполнились слезами, третий остался равнодушным, а четвертый смеялся нежно-голубым дымчатым смехом.

Павел оценил этот смех как согласие.

— Дорогой друг, — торжественно обратился Павлуша к двухголовому, который даже похорошел на одно мгновение, — напоминаю вам вашу предыдущую жизнь. Повторяю, буду выражаться по-человечески, насколько могу. Вы, Арнольд, — обратился он к

левой голове, — были по земным понятиям плотоядным чудовищем, но в реалиях того мира, где вы пребывали, вполне нормально-заурядным существом. Даже милым, не без слезы. Эдик, — гадатель бросил взор на правую голову, — жил там же, в той же реальности, что и вы, Арнольд. Вы полюбили друг друга с невиданной вселенской яростью. Все было забыто ради этой любви, даже поклонение богам бреда, которым вы обязаны были поклоняться, живя в том мире, и что соответствовало вашей природе тогда. Вы также отказались от помощи высших чудовищ. Ваша любовь не знала конца, и теперь — здесь на Земле — вы пожинаете ее плоды, вы неразлучны, вы слились, вы слились, — вдруг взвизгнул Павлуша. — Такова ваша карма.

Вдруг левая голова вспыхнула, покраснела и плюнула в правую голову, но, поскольку тело было, по существу, единым, левая голова, Арнольд то есть, почувствовала, что плюнула в самое себя.

— Bravo, bravo! — захохотал труп. — Вот ведь как все мудро устроено во Вселенной.

— Не ерничайте, мой ангел, — прервал его Павлуша. — Не думаю, что вам будет приятно выслушивать ваше прошлое.

Труп присмирел. Был он синеват, в каком-то диком мундире, и трупные пятна явственно виднелись на его лице. Но некая сила вдохнула в него то, что в просторечии называется жизнью, и труп мог рассуждать, даже покрикивать. Глаза медведя вдруг осмыслились, словно сквозь звериность глянул призрак его прежнего преступно-разумного воплощения. Арнольд и Эдуард смутились и, сдержавшись, приступили к чаепитию. Одна голова подносила ко рту чашку, другая откусывала сахарок. И была во всем этом какая-то тайная гармония.

— Ну-с, с вами пока все, — вздохнул Павел. — Мне, господа, действительно жутко бывает вспоминать некоторые свои жизни — и волосы у меня встают дыбом при этом. Внутрь кожи причем. В отличие от вас я их прекрасно помню, без всякой магии и гадания... Ну-с, приступим к трупу, — он посмотрел на синеватого в человечьем мундире. (Условно будем называть труп Евгением. Имя благозвучное.)

Павлуша, то есть жутковатый дух, воплощенный в человека, стал испытывать свои карты.

Минут через двадцать он облегченно вздохнул.

— Ну что ж, подведем итоги. Женя, — обратился он к трупу. — Что ж ты так сплоховал-то, а, Женя? Рассказать? Что красне-

ешь как рак, а еще труп? Валерьянки, что ли, поднести? А то, я гляжу, в обморок скоро упадешь. Милый...

Труп захрипел, из рта выползла черная, как смерть, слюна, один глаз закрылся, другой обезумел, и из прогнившего рта раздался испуганный хруст:

— Не говори, не говори...

— Как это не говори? Многого хочешь! — Но Павлуша все-таки задумался.

Глаза у Паши были совершенно нечеловечьи, при общей нормальности всей фигуры и телодвижений. Ненашесть глаз выражалась в отсутствии всякого выражения в них, кроме одного бесконечного и непонятного холода, отрицающего все живое.

— Не говорить, — засомневался тем не менее Павел. — Тебе жалко себя? Ну-ну... А тебе понятно твое настоящее, понятно, кто тобой управляет? Каков твой хозяин? Не дай Бог даже мне с ним встретиться. И почему он с тобой, с таким трупом, связался? Зачем ты ему нужен? Вот это для меня тайна, Евгений, правду говорю, тайна... Не хрипи, не хрипи... Не скажу я о тебе ничего, и так уж помер, хватит с тебя. Хочешь незнания — бери его. Мне не жалко. Мне, Женя, на все эти ваши страдания наплевать. Не этого я хочу от вас.

И Павел внезапно замолчал.

Вдруг в тишине раздался голос одной головы (вторая молчала):

— А чего же ты хочешь от нас?

Дух помедлил.

— Ну хорошо, я скажу, чего я хочу от вас, — проговорил наконец Павел и произнес дальше очень четко и ясно в напряженной тишине: — Я хочу, чтобы вы признали всем сердцем, что Бог жесток и несправедлив.

Медведь рывкнул, другие остолбенели, даже труп. Опять наступило молчание.

— Но ведь жизнь-то от Него, — робко прошипел труп.

— Ну и что? — ответил Павел. — И смерть тоже от него.

— Что вы нас в угол загоняете! — вдруг закричали сразу две головы. — Что вы здесь, в конце концов, богохульством занимаетесь? Мало того, что вы и так нас опозорили, меня — Арнольда и Эдуарда, да еще на труп нагнали страху... Да что же это такое, на Земле мы или в аду?!

— Да на кого же нам теперь надеяться?! — вдруг завыл непонятным голосом медведь, к которому внезапно вернулся прежний,

уже как будто умерший разум. Только Павлуша мог понимать его речь. — Я лет восемьсот, наверное, — продолжал вопить он, — по здешним меркам провел в аду, под Вселенной, в крошечной тьме и ненависти, все сны мои были в крови, я не знаю, где я и что со мной, и боли много было нетленной, вот что я выстрадал. И все-таки я Его люблю, ибо от Него жизнь. Люблю, и все... И теперь люблю.

Павел побледнел и ничего не возражал.

Медведь по-прежнему ревел:

— Да, я могу и ревом славить Его. Я ничего не понимаю о творении, но я есть, даже в аду, и не сбивайте меня с толку, черт вас всех возьми, я был беспощадный преступник, да и пострадал за это, все идет по правилу, логично, а не по произволу, как хотите вы доказать, гадатель...

— Но вы страдали больше, чем сделали зла, — зная, что медведь поймет его слова, сухо ответил Павел. — Больше!.. Справедливости нет. И кроме того, вы получили высший дар — жизнь, бытие, но если в конце концов, при завершении жизни и циклов вы потеряете этот дар, уйдете в Ничто, растворитесь... как это назвать?! Одарить бесценным — и отнять его, это ли не высший садизм?

— Вы богоотступник и дьявол, — прохрипел труп. — Я мертв и подчиняюсь призракам бреда, но впереди у меня миллионы воплощений в разных мирах, и, возможно, я достигну того, что перестану быть все время превращающимся в труп и обрету вечное бытие и сверхжизнь в единстве с Богом, которое уже не потеряю.

— Мало кто достигает этого, — ухмыльнулся дух, оставаясь, однако, в своем холоде. — От трупа до бессмертия — далек и тяжел путь.

Медведь вдруг успокоился и опять ушел в свою звериность; прежний разум, вышедший из ада, пропал, и он стал монотонно ходить вокруг стола.

Труп потрепал его за ухо.

Обстановка немного разрядилась, неизвестно почему.

Двухголовый умилился, особенно одной головой, которая у него все время кивала в знак согласия.

Труп замер.

Павлуша встал, и вид у него — у древнего духа — вдруг стал почти полууголовный.

— Ох, ребята, ребята, — проговорил он сквозь зубы. — Шалуны вы все у меня. Чем же мне позабавить вас, развлечь? — Он вы-

шел в кухню, откуда донесся его голос: — Ну вот икорочкой, что ли. Рыбкой вкусенькой. Коньячком — но строго в меру, без ба-ловства. Эх, гуляем...

Труп даже приподнялся от удовольствия. Павлуша вошел с подносом.

— Ох, поухаживаю я за вами, ребята, — завздыхал он. — Бедолаги вы у меня... Ну, ладно... О Боге — молчу, молчу, — быстро проговорил он, заметив пытливый взгляд трупа. — Сами потом в тишине подумайте. А сейчас — веселье.

Весьма приличная, даже с точки зрения живых, закуска мигом оказалась на столе.

— Бог с ним, с чаем, — приговаривал Павлуша, но глаза его, несмотря на появившуюся в голосе игривость, не меняли своего прежнего жуткого выражения. — Садимся и забудемся.

Коньячку сначала лихо отхлебнул труп. Дозы, впрочем, были маленькие, точно для нежилецов. Потом выпили другие, кроме медведя, который вел себя теперь как ученый зверь.

— Павлуша, — оживившись, обратилась к духу одна голова двухголового, а именно Эдик, — расскажите теперь уж вы нам, пожалуйста, кто вы, такой всеведущий? Кем вы были в этом, как его, в прошлом?

Павлуша захохотал.

— Для меня время значит совсем другое, чем для вас, — наконец прохрипел он. — Не задавайте серьезных и дурацких вопросов — ни к чему... А впрочем, кое-что расскажу как-нибудь.

— Нет, теперь, теперь, — заголосили сразу две головы. — Мы обе такие любопытные.

Труп поежился.

— Хватит о сурьезном, братцы, — просюсюкал он, глядя на двухголового. — Чево вспоминать-то. Я и то плохо помню, как умер и как мной стали помыкать.

Павлуша хохотнул.

— Хорошо, скажу. Кровь, кровь и страдания других существ были мой кормильцы когда-то, — умилился он. — Но это было так давно, так давно. Теперь я не занимаюсь такими пустяками. А когда-то они поднимали мой тонус. Ух, как вспомнишь некоторые мои жизни, свое детство по существу, но какой размах при этом, какой размах! Я натравливал этих существ друг на друга через контроль над их сознанием, а сам был невидим для них и пил их энергию, которая освобождалась в момент их гибели.

Павлуша вдруг заговорил почти философским языком, и этот

переход с полууголовного языка на возвышенный ошеломил даже медведя, у которого опять вспыхнул угасающий ум ада и желание выхода из него. Он владел праязыком и потому понимал Павлушу.

Но Павел видел его мысли. Вдруг какой-то искрой в уме медведя прошло воспоминание о смягчении мук в аду, об этом, как он считал, неизменном подарке высших сил обитателям ада. И тогда медведь заревел.

И это было расценено как знак, как сигнал к подлинному веселью.

Павлуша искренне хохотал, вспоминая жертвы своих действий, ибо многим жертвам в последующих жизнях везло, пусть очень по-своему, но везло. Павлуша чистосердечно — правда, некоторые сомневались, что у него есть сердце, — радовался за них.

— А я попляшу! — закричал труп, карабкаясь на ноги.

И он все-таки пустился в своеобразный пляс, вдруг почувствовав, что его хозяин немного отпустил путы своей магии над ним, неизвестно, однако, почему. Но труп и не задумывался (вообще, задумчивостью он не отличался): он просто стал вдруг самодовольным (точно почувствовав полусамостоятельность) и плясал так лихо, как никогда не плясал, будучи живым. Подплясывая, он еще пел песню, но поневоле трупную, про гниение в нежных могилах.

— Ох, Женя-то наш, Женя! — то и дело охал Павлуша, хлопая в ладоши.

Двухголовый тоже вышел на орбиту, но как-то более застенчиво и скромно. (Труп же разгулялся вовсю.) Вышедши, одна голова его, Эдик, бесшабашно поцеловала другую голову, Арнольда. Та подмигнула. И потом, перебивая труп, обе головы разом запели. Это была долгая, заунывная песня про снега.

— Люблю жизнь, — пришептывал про себя Павлуша, наливая себе рюмку за рюмкой и поглядывая на окружающих.

Медведь положил морду на стол и мигом слизнул полкило ветчины.

— Пусть мишуля кушает побольше, — ослабилась Павлуша. — После ада-то ему и надо поправиться и подвеселиться. Мишуль, — обратился он к медведю, — а были ли у тебя в аду-то друзья? Расскажи о них, хоть ревом. Или в аду друзей не может быть, а? — и Павлуша громко захохотал. — Ну тогда о соратниках! — Он посмотрел на мишу: тот уставился на духа своими добрыми звериными глазами. — Ну что, нет членораздельной речи, так подумай, а воспоминания твои я увижу и перескажу нашему обществу, — и Павлуша подмигнул трупу.

Медведь моргнул своими двумя глазами.

— Ну вот, миша, миша, вспоминай ад, тогда дам колбасы, — и Паша встал, держа в руках батончик колбаски.

Медведь потянулся к ней.

— Нет, нет, вспоминай!

Двухголовый и труп, взявшись за руки, в экстазе веселья и забвения, подошли поближе, чтоб послушать.

— Вспоминает, — проурчал вдруг Павел, придерживая колбаску. — Но смутно, смутно... Вот вспоминает существо одно... Детоеда... Да, да, — развеселился Павлуша, — именно детоеда... В огне утроба его... Миша, миша, не возвращайся... Сник, не хочет вспоминать: больно. Ну ладно, жри, — и Павлуша бросил в пасть медведю колбасу.

И тут все совсем обалдели и закружились от прилива счастья: медведь вошел в круг, чуть не приподнялся на две ноги, и все они трое так и заходили кругом, подплясывая. Двухголовый запевал, но только одной головой.

Вдруг Павлуша посерел и резко, хлопнув в ладоши, произнес:

— По местам!

Все кинулись на места.

Труп в свое кресло, двухголовый на стул, а медведь прилег в стороне.

Глаза Павла зловеще загорелись.

— А теперь о будущем вашем буду гадать, — произнес он. — О судьбе вашей жизни.

Воцарилось сумасшедшее молчание.

Павел совершил какой-то ритуал. Глаза его устремились в созерцание.

— Ну вот и все, — громко сказал он потом. — Все три участи как на ладони.

И он обратился сначала к двухголовому:

— Твоя судьба, драгоценнейший, такова: тебе отрежут одну голову.

Потом он повернулся к медведю:

— Твоя же участь, миша, другая: тебя весьма скоро убьют и зажарят в лесу.

Павел посмотрел на труп.

— Женя, а у тебя рок особый: твой хозяин через месяц сойдет с ума и будет с твоей трупной жизнью выделять такое... что ой-ей-ей... Твоя судьба всех ужасней. И умереть снова, второй раз, не дадут.

Гости оцепенели.

Первым опомнился медведь и зарычал. Слюна потекла у него из пасти, и он бросился на Павлушу, чтобы вгрызться в него. Но Паша, волею своею нарушив контакт между светом и зрачками нападавшего, сделался невидимым для него и, переместившись в другой угол, посмеялся.

— С мишей надо серьезно, — хихикал он в углу. — Забыл вам сказать, господа, что у миши нашего одна небывалая особенность: он умеет грызть привидения. Это у него от ада. Он бегаёт по лесу, так что обычные медведи разбегаются от него, и он уже много... очень много... загрыз привидений в лесу! — и Павлуша поднял палец.

Но двухголовый в тоске бросился на него. Павлуша переместился. Тогда за ним погнался труп, стукнувшись мертвым лицом об стену.

— Бей его! — завопили сразу две головы, Арнольд и Эдик. Они даже не знали, кто из них будет отрезан, и вопили вместе, вне себя от ужаса. — Бей его! Он клеветает на судьбу, он хочет накликать ужас! — визжали они.

Павлуша оказался вдруг наверху, невидим, и с потолка раздался его звонкий голос:

— Да смотри ты на вещи проще, Арнольд-Эдик. Ну, отрежут тебе одну голову, а может, и две — ну и что?

— Идиот! — две головы подняли взор к потолку.

— Помоги, помоги, Павлуша, — запричитал все же Арнольд. — Ты многое можешь. Не накликавай. Я боюсь!

— Да как же я перемену твою судьбу... Что я, Бог, что ли? — возразил голос с высоты. — Сам расплачивайся...

— А ты мягчи, мягчи судьбу-то! — закаркала голова Эдика. — Это ведь ты, конечно, можешь. Мягчи!

Вдруг из пасти медведя вырвался дикий вой, в котором различимо было одно желание: не хочууу!

Потом медведь бешено подпрыгнул вверх, целясь в пустое пространство, откуда доносился наглый голос чародея и предсказателя. Однако всей своей мощью он долетел до стены, стукнулся головой, посыпалась штукатурка, и мишуля рухнул на пол, давя ступню, опрокидывая стол с закусью.

Тут поднялось нечто невообразимое. Свет то возникал, то гас. То из одного угла, то из другого раздавался сочный голос Павлуши, порой с хохотком, но мрачным:

— Поймите, ваш ум, ум совершал эти ваши прошлые преступ-

ления, за которые вы сейчас расплачиваетесь, но страдает ваше бытие, а не ум, простое и нежное бытие, которое невинно и по своей сути ничего не совершало... Вот она, высшая справедливость, какой оказалась! А на самом деле произвол!

— Света жизни хочу, света, света! — благим матом орал труп, бросаясь на раскиданные медведем стулья.

— Мама, мама! — вопил двухголовый, носясь по комнате.

Медведь с рычанием накидывался на пустоту, видимо, он уже весь мир принимал за привидение и хотел перегрызть миру горло.

Труп упал на пол и в истерике, как баба, стал дрыгать ногами. Двухголовый повернул одну голову к нему (другой искал неуловимого Павлушу) и вдруг бросился к трупу. Тут же они сплелись в непотребной ласке, одна голова впиалась в проваленный рот трупа, другая же поникла у него на плече, и труп синей и разлагающейся рукой поглаживал эту голову, словно любящая мать, когда успокаивает не в меру нервного ребенка.

Медведь выл около них, как волк на луну, подняв голову вверх. Один зуб у него сломался и, выпав из пасти, валялся в тарелке.

Голос Павлуши исчез, и его присутствие было почти неосязаемо.

Вдруг распахнулось окно, и в окне прогремел голос духа, голос Павла, но уже резко измененный, иной, более суровый, но с еле уловимым потоком тайной грусти:

— Что вы все воете и извиваетесь, как призраки на дне... Неужели вы ничего не поняли?.. Ведь провоцировал я вас, провоцировал, говоря о Божьей несправедливости, искушал... слабосильные... и увидел, как вы мучаетесь в неразрешимой попытке понять то, что понять человекам невозможно... Прыгайте, пляшите... Вам ли понять Бога... Непостижимо все это, непостижимо!.. Прощайте, дорогие.

Вася Куролесов был человек очень странный. Главная его странность состояла в том, что у него до двадцати пяти лет вообще никаких странностей не было.

— Ненормальный он просто, — говорила про него соседка по коммунальной квартире Агафья. — Ну, ты хоть я не говорю зарежь кого-нибудь, но похулигань вволю. Ну, морду коту набей или на свое зеркальное отражение бросься. Нет же, всегда все в порядке, ничего такого вообще, ну, значит, там в башке не в порядке, — и она многозначительно покачивала головой.

Но зато после своего двадцатипятилетия Вася Куролесов вдруг развернулся. Трудно даже описать, что он стал вытворять. Когда ему стукнуло тридцать два, оказался он уже не в коммунальной квартире, а в своей отдельной, пусть однокомнатной, уже дважды разведенный (одна жена сошла с ума, другая уехала), помятый, капризный, с осололевшими глазами.

Вася тогда так пел про свое бытие:

У меня на кухне лягушка живет,  
Сыро и тьмно — так чего ж ей не жить...

На кухне и правда кто-то жил, не из челоуеков, конечно.

Друг его, пузатый Витя Катюшкин, не раз говорил Куролесову:

— Лови, лови минуты, Вася. Из минут и жизнь состоит. Лови их, лови и держись за жизнь, а не то пропадешь.

Вася, оно и действительно, не раз пропадал: точнее, исчезал надолго. Никто не знал — куда он словно проваливался: искали, правда, по пивным, но он обычно сам внезапно появлялся. И продолжал свою странную жизнь.

Катюшкин тогда уговаривал его:

— Смирись!

Но Вася почти никогда не смирялся.

Так продолжалось довольно долго. Но однажды шли они летом в глубоком раздумье, Вася Куролесов и Витя Катюшкин, по тихой улице своего провинциального города.

Впереди них шла баба, мощная такая, еще в соку, ну просто телесное торжество. Вася возьми и скажи своему другу Катюшкину:

— А ты думаешь, Вить, слабо мне вскочить на эту бабу, как на лошадь, и чтоб она побежала со мной наверху? Я ведь в душе кавалерист.

Катюшкин выпучил глаза, обернулся и ответил:

— Может, и не слабо, но каковы будут последствия, а, Вась?

— А вот мы и посмотрим, какие будут последствия, — сурово ответил Куролесов и лихо, можно сказать на скаку, всеми своими движениями доказывая, что перед ним не баба, а лошадь, прыгнул на спину этой бедной, но мощной женщины.

Дальше произошло уже нечто невообразимое. Вместо того чтобы упасть под тяжестью молодого мужчины и обложить его матом, женщина, к полному изумлению редких прохожих и самого Вити Катюшкина, понеслась. Побежала то есть, и довольно быстро. С Васей Куролесовым на шее, словно он был дитя. Ноги его свисали к полным грудям и животу бабы. Сам Куролесов совершенно ошалел от такого поворота событий и, вместо того чтобы обнаглеть, завыл.

«Да он и вправду кавалерист», — тупо подумал Катюшкин, а потом, опомнившись, побежал за бабой с Васею на спине, пугая ошеломленных прохожих.

Куролесов, однако, вскоре стал приходить в себя, но до определенной степени, потому что у него наполовину отнялся ум. Он обнаружил, что баба цепко держит его за ноги, не отпуская, и сама бежит уверенно. Этого он испугался больше всего.

«Я ведь тяжел на вес, — подумал он. — Как же она летит так со мной?»

Наконец от страха и непонятливости у него отнялась вторая половина ума, и он забылся.

Катюшкин между тем еле успевал за бабой, надеясь все-таки снять Васю с нее. Баба вдруг завернула за угол.

Когда Витя Катюшкин тоже завернул, он увидел неподалеку ровно стоящего на земле Куролесова. Бабы не было, точнее, она забегала уже за следующий угол и, обернувшись, показала Катюшкину большой увесистый женский кулак. Потом скрылась.

Катюшкин подошел к Васе.

— Ну как, кавалерист? — тихо спросил он.

Куролесов как-то отсутствующе посмотрел на него.

Витя присмирел.

Возвращались молча, точно с похорон, Катюшкин под конец запел.

На следующий день чуткий Витя почувствовал, что Куролесов изменился и перед ним уже не совсем тот Василий Куролесов, который был.

Главное, пожалуй, состояло в том, что если раньше Вася Куролесов издевался над предметами существования (бабами, котами, мужчинами, собаками и т.д.), то теперь он стал издеваться над самим бытием.

Именно так утверждала Катя Заморышева, дикая девушка лет двадцати трех, которая дружила с Васей последнее время. Чуть-чуть приоткрыв свои бездонно-болотные глаза, она говорила Вите:

— Сдвиг, сдвиг у Васи произошел. Внутри него. Еще не то скоро будет.

Но на поверхности (первое время) ничего уж такого катастрофического не происходило. Ну, правда, становился Вася временами как бы лошадь. В том смысле, что бегуном стал, подражая в мощном беге той неизвестной женщине, которая пронесла его на себе. И также в том смысле, что во время такого бега Вася ржал иногда ну ровно конь, видимо полагая в душе своей, что он на какой-то период им и становился. Кончив бег, он плакал не раз в своей постели.

Катюшкин пугался, не отходил тогда от него и твердил Васе на ухо, что он, Вася, даже на мгновение не может стать лошадь.

Катя Заморышева являлась на следующее утро после таких эксцессов и проникновенно, тихо, расширяя болотные глаза, уверяла мальчиков, что все идет «крайне хорошо».

Вася к утру обычно опоминался, а с приходом Заморышевой веселел и даже вспоминал былое, ворчливо напевая свое любимое, куролесовское:

У меня на кухне лягушка живет,  
Сыро и темно, так чего ж ей не жить...

Друзья соображали крепкий чай на троих (после эксцессов — насчет водки ни-ни), рассаживались на кухне (где было сыро и темно) — и задумывались.

Катя Заморышева тревожно все-таки посматривала на Куролесова. Он похудел, постарел, и в лице его появилась несвойственная ему «экстремальная серьезность», несмотря на то что временами он становился как бы лошадю и ржал совершенно по-лошадиному. Это сочетание серьезности с лошадиностью совершенно убивало Витю Катюшкина.

Тем не менее Заморышева продолжала твердить, что все идет «крайне хорошо». И через месяц лошадиность пошла на убыль. Вася Куролесов, правда, бегал по-прежнему, но не ржал, не считал себя временами лошадю и говорил Кате Заморышевой, что он теперь бегаёт, чтобы сбросить с себя тело.

— Надоело оно мне, Кать, — скулил он ей по ночам, — я знаешь, когда бегу, тело как бы скидываю. Нету его во мне — и все!

Катя приподнимала голову с подушки, чуть высовываясь из под одеяла, и мутно отвечала:

— Пробуй, Вася, пробуй. Далеко пойдешь...

— Опротивело оно мне, тело. Сколько в нем забот и препятствий, — добавлял Куролесов утрюмо.

Заморышева с радостью чувствовала, что Вася уже почти перестал быть человеческим существом.

Но бегал он теперь еще интенсивней.

— На звезду только не забеги, Вася, — плаксиво жаловался Катюшкин.

Но вскоре Вася стал поглядывать именно на «звезду».

Слом произошел неожиданно — Катя сидела за чаем на кухне, а Куролесов вдруг вытянулся (он сидел на стуле) и завыл. Потом бросился на Катю и слегка оттрепал ее, как кошку.

Заморышева после этого чуть с ума не сошла от радости. Она опять присела у стола и стала рассматривать Куролесова своими вдруг возбужденно-чудесными глазами, словно он превратился в некое потустороннее чудовище.

И взаправду, даже внешне за эти мгновения Куролесов переменялся: глаза сверкали, волосы встали дыбом, и он в пространстве стал казаться (для глаз Заморышевой по крайней мере) больше, чем на самом деле.

Наступала пора превращений.

Заморышева захлопала в ладоши от счастья.

— Ты, Вася, не бойся, — сказала она, подойдя к своему чудови-

шу. — Теперь тебе будет легче. Будешь летать к звездам. Не в теле, конечно. А того, что теперь внутри тебя, не бойся.

И Заморышева ушла, исчезнув навсегда.

— Уехала, видно, ангел наш, — задумчиво говорил Витя Катюшкин, углубляясь в себя и поглядывая на водку.

— Уехала, и ладно. Исчезла, скорее, — сурово ответил тогда Куролесов. — Одной высшей дурой на этой земле стало меньше...

Катюшкин икнул и выпучил глаза:

— Не понял, Вася. Повтори.

— Кто бы она ни была на самом деле, не твоего это ума, Витя, — оборвал его Куролесов.

Но Катюшкин уже стал побаиваться своего друга.

— С тобою теперь дружить трудно, Вася, — как-то сказал он ему на прощание. — Хоть и люблю я тебя, старик. Иногда буду заходить. Ты ведь уже и не напеваешь свое, заветное:

У меня на кухне лягушка живет,

Сыро и темно — так чего ж ей не жить...

Неужели с этим кончено, Вась, а? — жалостливо спросил Витя на пороге.

Через месяц после этого «прощания» Катюшкин заглянул все-таки к Куролесову. Ахнул, не узнал его — и хотел убежать.

Куролесов тем не менее успел заключить его в свои объятия.

— Не уходи, друг, — сказал он, странно дыша в лицо Катюшкина.

Ошалевший Витя спросил только:

— Почему?

— Вить, прошу тебя, может быть, ты будешь моим домашним котом, а? Я тебя гладить по спинке буду, рыбку давать... Не обижайся лишь...

Катюшкин взвизгнул, вырвался из Васиных объятий и утек.

А Куролесов стал часто, задумавшись, глядеть на небо и звезды, сидя у окна.

Но что поразило Катюшкина особенно, так это не просто внешний вид Куролесова, который вроде бы оставался почти прежним, а его глаза, радикально изменившиеся и ставшие безумными без сумасшествия, сверхбезумными, можно сказать. После такого посещения Катюшкин уже не решался даже видеть Куролесова, и вообще его мало кто теперь видел.

Предлагаем теперь некоторые записи, точнее, отрывки из записей Куролесова.

## ЗАПИСИ ВАСИ КУРОЛЕСОВА (В ТОТ ПЕРИОД, КОГДА ОН БЕГАЛ, КАК БЫ СКИДЫВАЯ С СЕБЯ ТЕЛО)

Я бегу, бегу, бегу... во время бега вот что мне ндравится: во-первых, мира нет, одно мелькание, во-вторых, тело как будто, хоть на время, сбрасывается. Я ж бегу, как лошадь, все сшибаю по пути, надысь девчонку, дуру, почти затоптал. Она, говорят, долго ругалась мне вслед.

Тошно. Тошно на земле мне, ребята. И лошадью когда был — еще тошнее было. Хотя я бабы той до сих пор боюсь. Кто она была? Куда она меня уносила? Заморышева Катька, та знает, та все знает, только молчит... Рта не откроет, затаенная. А мне-то какво — все беги, беги и беги... На тот свет или еще куда, что ли, разбежаться и... разом!

Но смерти я боюсь. Умрешь и не тем станешь, кем хочешь. Я, Вася Куролесов, может, хочу звездным медвежошкком стать (и луну обоссать, как в стихах сказано) — а глядишь, мне и не дадут.

Катька, Катька — кто ты? Ну, та баба — ладно, понесла меня в ад и исчезла. А ты, Катька, ведь рядом (на ту бабу и внимания не обратила, когда я тебе рассказал), слова страшные и непонятные говоришь, а сама как невидимая...

Я бегу, бегу, бегу... Вчерась долго бежал. Думал, тело свое сбросил. Нет, возвратилось, падло. Не люблю я ево. Точно оно мою волю стесняет, да и вообще не шуба боярская, а так, дырявая шкура, из всех дыр низость одна идет, а душа у тебя, Вася Куролесов, чудес просит.

А какие уж в теле чудеса. Одно дерьмо, болезни и скорби. Сегодня целое утро кулаком по гвоздям стучал, телевизор поганый выключил, кулак в крови и в ржавчине — а покоя мне все равно нет. Осерчал тогда и головой по второму телевизору — бац! Телевизор вдребезги — а я живой, при теле.

Не так с телом борешься, Василий Петрович Куролесов, значит!

Мамочка, мама моя! Родила бы ты меня божественно, без смерти, полетел бы я на звезду, но скажу тебе, мне и в смертном теле моем иногда хорошо бывает! Вот так. Вася Куролесов понимает жизнь. Вдруг тепло-тепло становится и в груди райский покой наступает, сердце почти не бьется, все хорошо, одно бытие.

И думаешь тогда: и чего тебе, Васек Куролесов, попрыгун ты эдакий, надо? Сидел бы и спал внутри себя — а ты все, мол, звездный медведь, трупы, луна, существа неведомые, бесконечное...

Куда со свиным человечьим рылом-то прешь? Ведь наколешься, а... Буду завтра бегать до тех пор, пока кого-нибудь не шибу — туда, с этого мира, в пропасть невидимую...

## ЗАПИСИ ВАСИ КУРОЛЕСОВА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАМО- РЫШЕВА ОТМЕТИЛА, ЧТО ОН СТАЛ «ПОТУСТОРОННИМ ЧУДОВИЩЕМ»

Кто я теперь? По виду еще, конечно, Куролесов Васька все-таки. Милиционер вот случайно приходил, я ему паспорт в морду сунул, он посмотрел, честь ни с того ни с сего отдал и ушел... Два дня назад был на невидимую планету...

...Внутри меня растет скрытое тайное существо, и я, Вася Куролесов, постепенно им становлюсь. Существо это и есть, может быть, подлинный Куролесов, а тот, который был простым человеком, потом лошадью, затем бегуном, — тот исчезает. А я вхожу в того, тайного, что внутри меня. И ум мой входит в него, уже умом не становясь. И описать его для меня нет никакой возможности. Страшен он, страшен! Кто он? Неужели это я сам?!

...Все свершилось! Чудо произошло. Потерял я, Вася Куролесов, смертный облик свой, и теперь мне Вселенная как лужа.

Я стал Им.

Вчера навсегда простился с прежним Куролесовым... Тело мое лежит на кровати, само по себе, а я, новый Вася Куролесов, вышел из него и путешествую. Хи-хи-хи! Иногда буду возвращаться и записывать что-нибудь, чтоб прочитавший с ума (низшего) сошел. А потом хорошо для смеха побывать с виду смертным дурачком таким и пройти по улице, зная, что ты — вне смерти, как боги. Ишь ты!

И кто со мной такое совершил? Или то существо внутри, я сам то есть?! А другие?!

Облетаю я, Вася Куролесов, Вселенную, видимую и невидимую, как все равно она поле какое-то для конька-горбунка. Сколько рыл перевидал, сколько существ! Это же надо, Вселенную так раздвинуть, столько миров и существ наплодить! А мне-то что — мне миры не миры, я теперь и любому миру могу мазнуть по его сути, как все равно раньше по морде какой-нибудь лошади! Гуляй, Вася Куролесов, гуляй, все миры для тебя открыты, все срезы, вся Вселенная!

Я в вечную суть любому духу наплюю!

Сколько их, сколько, матушка моя покойница, если б ты зна-

ла, а то пищишь, наверное, где-нибудь внизу, и никто тебя не видит!

А могущества-то сколько во мне, могущества! Скажу прямо: этого я, Вася Куролесов, от себя не ожидал! Чтоб так запросто, пусть и в духе, меняя свое сознание, сигать от одного мира к другому, от одного уровня к третьему — да если бы даже Заморышева меня раньше в этом убеждала, я бы ее просто потряс, как лягушку, чтоб не капала на мозги.

А теперь, вот надо же, все, что она говорила, сбывается. Но о многом, Катя, однако, умалчивала...

Хохочу, хохочу, хохочу!

Мысль моя и мое «я» облетают все эти поганые, пусть и блаженные, миры. Всюду-то я заглядываю и подглядываю, всюду сую свой нос, неутомонный, как тот Васенька, что бегал по улицам расейского городка, навевая на прохожих мысль о сумасшествии.

Я и здешних обитателей пугаю. Потому что я как бы все космические законы — по воле Невидимого — перескочил и пугаю всех своей нестандартностью.

О звезды, звезды! Хохочу, хохочу, хохочу!

Тут недавно я в один пласт заглянул: время-то у них, матушка покойница, длится не как у нас, а медленно-медленно, и живут они, паразиты, до нескончаемости, по-нашему если считать, по-глупому, то миллионы и миллионы лет. Все такие блаженные, самодовольные, боги, одним словом. Тела из тончайшей субстанции.

Ну я по могуществу своему одного пнул как следует, он даже ошалел от такой необычности. А я праязыком Вселенной шепнул ему: лягнуть бы вас, паразитов, богов то есть, лошадиной мордой, предсмертной такой, со слюнями и обезумевшей, сразу позабыли бы про свое блаженство, индюки.

Они, маманя, вроде олимпийских богов. Очень осерчал тот, кому я шепнул. Но со мной не справишься, защиту я знаю: не дурак.

И на прощание ему сказал: и на вас управа будет, не думайте, что всегда духовными пузырями такими бесконечными будете раздуваться, и вам конец придет.

И чего они нашли хорошего в этой бесконечной своей радости и блаженстве? Одна тупость и никакой Бездны. Сиди себе и радуйся миллионы лет. У нас бы все с ума посходили от таких надежд.

Полетел дальше — то вниз, то вверх.

Но демонов я тоже не люблю, между нами говоря, они еще

хуже небожителей. Сволочи. Только под себя работают. Но в основном: они Главного боятся. А Главного бояться, значит, Бездну не знать, значит, самое глубинное мимо себя пропустить. Те, небожители, особенно которые повыше, выются вокруг Главного по глупости, дескать, и мы в Свету, а самой великой тайны не знают, а эти, демоны, трясутся при мысли о Духе Главного, думают, что исчезнут при ем. Боятся!

А я Главного не боюсь, потому что... Ха-ха-ха! Хохочу, хохочу, хохочу!

И все эти звезды, все эти миры, все эти галактики и боги — как горошинки в моем сознании. И не я от них зависим, а, уж скорее, они от меня.

Маманька! Понимаешь ты теперь, кого ты родила?

Если увижу тебя сквозь все эти бесчисленные сверкания и рыла, помогу, ей-Богу, помогу выбраться!

А у нас на Руси все-таки хорошо, все миры обсмотрел, обнюхал, время тут ни при чем — и прямо скажу: невероятно хорошо у нас на Руси! Почему? Поймете, может быть, в свой срок. И Русь-то, кстати, есть не только на нашей грешной Земле.

Я бегу, бегу, бегу! ...Звезды милые, богами руководимые, не обижайтесь, я вас тоже по-своему люблю.

Я ведь хам хамом, а от любви никогда не отказывался. Бывало, шикнешь на кого-нибудь, а потом как приласкаешь! Ласку мою люди на весь век помнить будут, как не забудут они Ваську Куролесова, если хоть раз заглянули мне в очи.

Я теперь по вселенным гулять люблю: они для меня как закоулки стали. Где померзее, где поблаженней — а суть одна. Для меня что ад, что рай — одна потеха. А ведь страдают существа, страдают, иной раз долго: ах, как долго! — или это их тени? Грустно мне от этого, и не хочу я до конца все понимать...

А главного — насчет страданий во Вселенной — и спрашивать не надо: ни-ни, не тревожьте! Не так все просто, как во сне кажется.

Бывает, что я и хаос приму: ум мой первозданный так и забьется, как сердце от влюбленности первой, при мысли о хаосе, точно в ем, в родимом, сокрыто, но не проявлено то, о чем я, Вася Куролесов, всю жизнь мечтал!

Во Тьму, во Тьму ухожу, на поиски Непостижимого и несовершенство еще!

А для отдыха: гуляй, Вася Куролесов, по всем мирам: туда плюнь, там нахами, там руку пожми, там начуди на все оставшееся до конца мира время!

Гуляй, Вася, гуляй!

Я и на Землю не прочь иной раз заглянуть.

Тут, к примеру, генералу одному, великобританчику, показал я существо некое во сне, можно сказать, приоткрыл просто завесу, так великобританчик этот, а ведь атомным флотом командовал, так трясся во сне, что, когда проснулся, незаметно для самого себя с ума сошел. В сумасшедший дом его посадили.

Я порой люблю смертных щипать. А существо то, которое генеральчику этому явилось, я потом сам пригрел: и вправду страшен, таких во Вселенной нашей не так уж и много... А затем, после посещения Земли, взмыл я вверх и демиургу одному план подсунил сотворения мирка: но изрядно жуткий и перевернутый. Я ведь похулиганить люблю. Даром, что ли, при жизни на бабе, как на лошади, скакал. А демиург тот — сбеги, больно мирок этот, предложенный мной, показался ему не в меру, не вместил он, в общем, его.

Боже, боже, сколько чудес на свете!

Я тут, между прочим, Заморышеву узрел: после смерти земной невиданной такой и своеобразной монадой взвилась. Барыней, одним словом, стала. А ведь на Земле была так: побирушка убогая. Много у нас на Руси таких «убогоньких», не дай Бог... Но я ведь предупреждал: девка была не простая!

С ней у меня какая-то связь есть.

Бедного Витю Катюшкина я все-таки не удержался — попужал: подсунил ему в полусне, в момент его пробуждения, видение, а был это образ самого Витеньки — каким он будет в очень отдаленном, даже по звездным масштабам, будущем. Не знаю, уразумел ли Витька, что самого себя встретил, но только после такой встречи он долго-долго плакал, малыш, а потом запил. Непонятливые все же эти смертные, тугодумы беспомощные, дальше своей планетки, и то ее маленького среза, ничего не видят, но, может быть, это даже к лучшему. А Витьке этот образ его самого, чудика с бесчисленными головами, я подкинул, чтоб подбодрить Витю. А он, точно курица бессмысленная, закудахтал да и запил со страху. А чего самого себя бояться-то?

Ухожу, ухожу.

От всей Вселенной, от богов и демонов, от людей и лошадей и от всего прекрасного тоже.

А себя я все-таки до конца не пойму.

Из Вселенной я вроде вышел в Неопишваемое, в Божественное, в Абсолютное — все на месте, как надо, Бог есть Бог — и все рав-

но, даже после этого, я все бегу и бегу! Куда ж мне теперь-то бежать, после Божественного? И покой вечный в меня вошел, но я покой не люблю до конца и силою воли его отрек. Почему ж я покой-то высший не жалую, Вася, а?

Ну что ж, вся Вселенная — миг в моем сознании, а парадоксов много.

Да, вспомнил... Я ведь тело-то свое земное забыл в труп превратить, позабыл кинуть его насовсем. Я ведь иногда в него входил для смеха. А теперь пора, пора... И записки свои кончаю. Ухожу я, Господи, или к Тебе, вовнутрь, в себя, или в такую даль, что ее и никаким знаком не обозначишь, никакой Пустотой не выразишь.

Я бегу, бегу, бегу-у-у!..

...Тело Васи Куролесова захоронили при содействии его верного друга Вити Катюшкина. Провожających было немного. Был ветер. Витя Катюшкин все время шептал: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Василия с миром...» Но самому в какие-то мгновения виделся чудик с бесчисленными головами.

# ЛЮДИ МОГИЛ

Человечек я уже совершенно погибший, даже до иступления. Мира я не понимаю, Бога тоже, так что же после всего этого остается на мою долю?

О, теперь я понимаю, что осталось на мою долю: одни могилы.

И я хорошо помню, с чего все началось. Собственно, началось именно с моего рождения: ибо точно с этого момента я перестал понимать и мир, и Бога, и это продолжается до сих пор.

Но начну все по порядку. Отца и мать своих я не помню. Я даже не уверен, были они у меня или нет. Говорят ведь, что можно рождаться по-всякому, еще Платон, грек такой, об этом писал.

Где я родился, я тоже не помню. И даже не хочу знать. От этих знаний вся и беда. Но очнулся я, когда уже жил в одном из наших южных городов. Половину своего детства я пребывал в сиротском доме, другую половину у старушки, которая называла себя моей бабушкой (хотя я считал ее своей прабабушкой). Она-то однажды ночью, распивая чай, сказала мне, что моя мать похоронена недалеко, на невероятном по размеру кладбище, где нашли покой все: и славяне, и местные восточные люди, и многие другие... Кладбище это оказалось всего в получасе езды от нас на трамвае...

Я сначала ей не поверил

(ведь мне было тогда всего одиннадцать лет, несмышлелышу), но, плюхнувшись лицом в комод, отыскала она мне засаленную бумажку, где обозначалось имя, по ее словам, моей матери и картинка, как ее найти, в смысле могилы. Я сунул бумажку в свои ободранные коротенькие штанишки.

Бабушка, однако, сказала, что моя мама — это не ее дочь.

Я и не возражал: я ведь и сам не знал, чей я сын, чего ж мне было судить о моей бабушке. Я, возможно, бы и забыл о могиле, если б мне не подбили глаз. Били три здоровенные девочки лет по шестнадцати. Я тогда и решил пожаловаться маме. Глаз распух. Кровь текла, сопли мешались с нею. Я достал чертеж и поехал к маме. Копейки у меня нашлись.

Был уже вечер. Солнце, которое, как говорят, является виновником жизни, уже заходило. Я пролез в дыру в заборе и порыскал часа два среди могил. Солнце, однако же, еще светило, словно не хотело исчезать.

Я нашел мамулю. Могила была плохая: без креста, без мусульманских знаков и вообще без ничего.

Я заплакал: что дальше?

Сижу, гляжу в могилу и думаю. И вдруг — хватъ, какая-то холодная рука (клещи скорее) схватила меня сзади за голую ногу.

Я замер и взглянул на солнце. Где оно? Солнца уже почти не было, оставались только косые лучи на бездонном небе. Почему я не заорал сразу? Да потому, что от ужаса голос ушел внутрь, в утробу. А взглянул я на солнце, потому что хотел туда улететь. Но только голос стал восставать из утробы ужаса, чую ногой: отпустило. Тогда глянул: Боже мой, Создатель мира сего, то была жаба!

Огромная, склизкая, она облапила мою голую детскую ногу, взяла свое и отпала. Я помню ее большие, нечеловеческие глаза — и разум мой охолодел от ее величины. Никогда потом, прожив многолетнюю беспокойную жизнь, я не видел таких жаб: и по величине, и по выражению. Словно она выскочила изо рта бедных покойников.

Я не стал больше плакать над мамой и ушел. На следующую ночь мне снились непомерные водянистые глаза этой жабы, но они были в слезах, почти человеческих. Но, может быть, то была просто могильная вода?

Второй раз в своей причудливой жизни я был на этом кладбище с девочкой, было мне уже лет четырнадцать и ей тоже, и это была первая, абсолютно невинная любовь.

Я хотел быть с ней один на один. Потому и затащил ее в этот памятный вечер на кладбище.

Мы шли и шли. Крутом мелькали имена, кресты, звезды, полумесяцы, как будто эти люди находились уже не в земле, а на небе. Огромные кусты заслоняли нас от их трупов. Над нашими детскими головами было бездонное звездное небо, глубинное, как сам Бог.

Мы примостились между двумя могилами: одна мусульманская, другая христианская, хотя вообще это кладбище было поделено на части как раз между нами. То ли это была граница, то ли здесь все смешалось. Слава Богу, возле нас не было могилы атеиста (но об этом я подумал уже потом, спустя десять лет)...

Мы улеглись в траву на наши мягкие животики. Она положила головку на свою ручку (тоненькую, но уже в жирке), а я стал просто ласкать светлые волосы девчонки, думая о ее головке, в которой гнездились сны обо мне.

Мы жили внутри себя молчанием. И наконец ей стало так нежно, что она заснула.

Тревожное и бессмысленное блаженство овладело мной.

«Лишь бы ее не убили», — подумал я.

И вдруг всей своей махонькой, детской спинкой я почувствовал взгляд. На нас смотрели.

Повлажнел я, а сердце билось. Девочка спала. Я обернулся. Два глаза, с могилу величиной (так мне показалось), глядели на меня из кустов, как шары небытия.

Что-то ударило мне в ум, свет возник в нем, я схватил камень, сам не зная почему... Два глаза метнулись в сторону (увидев не камень, а свет, я понял это потом), и жуткая туша огромной кошки прыгнула на соседнюю могилу. Обернувшись, шары небытия стали зелеными, кошачьими... существо мякнуло и скрылось в тьме близлежащих могил...

Моя милая подруга (кстати, она давно уже погребена на этом кладбище) ничего не слышала, она спала ангельским сном.

Я проводил ее, сбереженную, домой, а на следующее утро потянуло меня к воротам этого парка мертвых. И тогда я увидел этого старика. Он сидел, седой, тихо себе и таинственно на камушке. Вдали виднелась церковь у ворот в христианскую часть. Я, как младенческий искатель, трижды обошел вокруг старика, в которого сразу поверил. А потому присел на землю и спросил его:

— Я вчера ночью у могилы Хасана Сулейманова видел кошку с глазами как шары.

Старичок вынул из своего нищенского мешка кусочек хлеба и накормил меня.

— Дурачок ты с ногтей, — сказал он и погладил меня по кудрявой головке. (Я и вправду был мал.) — Оборотень то был, а не кот... Но не бойсь, в твоих глазах свет, оттого он и не съел тебя. У их тоже свой предел есть. — Старичок уважительно развел руками.

— А я еще некрещеный, дедушка, — я вдруг заплакал. — И сирота...

— Так ты крестишься, когда Бог даст. А свет в тебе все равно есть. Для Бога-то преград нет...

— Я к маме хочу.

— Смирися, сынок, — лизнул мою голову дедушка. — Добро то ведь на свете еще осталось.

Я почему-то хихикнул в ответ. Подошла бабуся (не моя бабушка, а другая) и тоже накормила меня черным хлебцем.

Верочке, моей любимой девочке, я ничего обо всем этом не рассказал. Только потом, когда в этом добром мире прогремели гигантские войны, я пред смертным одром Веры поведал ей о том случае.

— Ты и похорони меня на этом кладбище. Я уже ничего не боюсь, — прошептала она.

Но самое поразительное — по крайней мере на этом кладбище — произошло раньше, когда мне было двадцать лет.

Я тогда часто норовил петь, например, такую песню:

...Но я могилы не боюся,  
Кого люблю, и с тем помру.

Однажды осенним днем подходил я к кладбищу и пел свою песню, и тогда из ворот кладбища вдруг вышли они. Старичок мой тоже был на месте, но в стороне. Я как-то сразу почувствовал (замогильный холод прошел от спины вниз), что они не совсем люди, было их несколько, как бы нищих, в основном старых людей, но около одного из них шла девочка (может быть, лет тринадцати). Но недетская это была девочка совсем. Меня поднесло к ней поближе, и я заглянул в ее глаза: не буду имя Создателя употреблять, ибо даже его именем нельзя выразить то, что я увидел...

Нищие обычно жмутся к церкви — кто ж еще может сейчас подать, кроме Бога? Но эти церковь обходили стороной, как несуществующее. Но, однако, не по-сатанински обходили, а совсем по-другому, без значения. Потом люди эти встали ровной струйкой около ограды, точно просили милостыню. Так и закаменели как будто. Я тоже, по существу, закаменел, глядя на них. Смотрю, обычные люди обходят их стороной, но некоторые подают, но как-то напряженно-осторожно, не касаясь их рук, как бы изда- лека.

Через некоторое время я решил подойти к ним. Подошел и спросил девочку (эту недетскую, черную такую, как черный огонь):

— Откуда ты родом?

Она молчит, словно и не слышит ничего.

— Хочешь, пойдем ко мне?

Нет ответа.

— Тогда, может быть, пойдем к тебе?

Опять одно молчание.

И вдруг словно осветило мой разум тогда: да ведь за все время, что я на них смотрю, с того момента, как увидел их впервые, ни одного звука не было ими произнесено. Ни одного звука. Лишь бесконечное молчание.

Как только я это понял, то сразу отошел от них. Взглянул опять: по сравнению с ними даже совы разговорчивы. Мне захотелось закричать, громко так, на весь мир! Чтобы не только Господь, но и мышка какая-нибудь поганая, на Луне или там на Марсе или на другой планете живущая, и то услышала бы меня! Но сразу познал: эти не услышат. А если услышат, то никогда ничего не ответят. Никому.

Еще три-четыре минуты я, обалделый, пытался поймать взгляд девочки, но не мог. Странно, люди эти совершенно не обращали внимания на мое вполне нелепое поведение.

Тогда я закрылся душой. Повернулся и пошел к моему старику, который почему-то скрылся за углом. Только клюка его виднелась со стороны.

Я припелся за угол. Напротив — пивная, наша, расейская, родная и безобразная.

— Дедусь, — говорю старику. Мы ведь с ним были уже знакомыми. — Кто это?

Старик мой на этот раз смотрел на меня неласково, враждебно даже.

— Что ты все хочешь знать? — утрюмо спросил он, перекрестясь. — Жаб да оборотней тебе мало. Иди-ка ты своей дорогой.

Я и ушел. Запил дня на три, на четыре. Все глаз этой девочки не мог забыть. Жгли они меня даже во сне — и во сне особенно. Я собак, свирепых и огромных, отродясь не любил, но теперь я, после тех глаз, даже таких собак полюбил по-настоящему. Мол, все-таки твари; значит, Создатель к ним руку приложил и прочее. А глаз девочки полюбить не мог — какая уж там любовь, просто приковали они меня к себе своей черной пустотой. И никак я не мог понять: эта девочка — дитя человеческое или потустороннее. Но по виду была девочка как девочка.

Пил я в эти дни по-черному, стараясь заглушить взгляд из Тьмы. Две бутылки за день были для меня ничто. О вечере я уже не говорю. Пил я с бродячею собакою: она тоже пила. Лохматая такая дворняга. И выла потом.

Дня четыре я опохмелялся, отходил... Немецкие стихи для дурасти читал.

Потом двинулся на кладбище. «Их» уже, конечно, не было. Даже намеков. Я три дня хожу, четыре. Ничего. Но потом слышу среди верующих шепоток: «Ушли они... исчезли... Но скоро опять придут. Без кладбища они не могут». Я сразу понял, о ком речь. Другой раз слышу: «Живут они по тыщу лет... по тыщу лет... но живут ли? Не по-нашему, наверное, живут».

Стал я вечерами по этому кладбищу шляться. Все-таки мать здесь похоронена. И в сердце кольнуло: они ведь здесь бывают, и раз мать моя тут лежит, то и я, наверное, тоже буду лежать здесь. Значит, надо про них все узнать.

И вот — вечеров через семь — вижу я их цепь на могилах. То ли тени, то ли живые идут — нет, нет, живые они, совсем живые, но не по-нашему. Видел я их издалека и девочку мою видел (зрение у меня, правда, после этого немного попортилось, умственно). Прошли они цепью и остановились возле одной обшпирной могилы. Видно, целое семейство там похоронено. Я, крадучись, скрываясь, подошел поближе, и словно стоны мне из могилы той почудились. А люди те присели возле могилы, образовав круг.

Я тогда закричал — но внутрь себя закричал, тихо так и потаенно. Потом вскочил и, не оглядываясь, чувствуя на своей спине их слепые взгляды, побежал...

На следующий день пришел к своему старикану. Взял буханку черного хлеба и четвертинку.

— Дедуль, расскажи, видел я их.

Присели.

Старик посмотрел на меня ласково так, с сожалением:

— Ну чево ты свой нос не в свои дела суешь? Неужели ты не знаешь о людях могил? Они живут группами-племенами на больших кладбищах — у нас, на Юге, и на Востоке, в исламских странах, в Индии. Не человечество уже они. Мы их стороной обходим. Прикасаться к ним нельзя. Как они живут — никто не знает. Они то появляются, то исчезают, а куда — непонятно. И говорить они уже давно перестали. А чего говорить-то? О чем? Что они знают — о том не скажешь. Мир наш для них — смешон.

Я посмотрел на старикана, на окна, на дерево.

«Да, и взаправду смешон», — подумал я.

— А как они существуют? — вслух спросил.

— Иногда милостыню просят. Когда у нас, у живых, а когда и у мертвых. Те ведь тоже подают, но свое. А иные еще говорят, что договор они заключили: не то с мертвыми, не то еще с кем... Так и живут... Хе-хе.

Не посветлело у меня на душе от таких объяснений.

— А что тебе в них, парень? — глядя вдаль, спросил у этой дали старик.

Я помрачнел, ничего не ответил и скоро ушел к себе, в конуру.

Человечество это могильное я, может быть, и смог бы позабыть, но ту девочку — никогда. Или нет — ни людей могил, ни девочку (законную, ихнюю) не мог бы забыть. Всех вместе. Но девочку — особенно.

Через месяц совсем меня тоска взяла — и не наша, не райская, а другая, могильная. Звала она меня к себе, наверное. От этого мой ум даже изменяться стал. Все меньше я мог думать, особенно о смерти, точно сам ум мой становился смертью.словно возник в нем черный луч, и я этим лучом нащупывал невидимое, и вел он меня в какие-то немислимые подвалы Вселенной, где жила моя девочка. Хорошо жила, сама ни в каких Вселенных не участвуя. Как будто жила без грез, и без жизни и смерти, и безо всего, что наполняет душу. Ибо душа у нее уже была другая, если это была душа. Даже хохота у нее не было.

И вот я ее встретил. У булочной, что около кладбища. Просила она молча, глазами. Да как родилась она? — одно не пойму. Они ведь уже не как мы. Может, она от мертвецов рожда-

лась или из гробов? Подошел я к ней. И вдруг заговорил! А на каком языке — не знаю! Не человеческий это был язык и не животных. Далекий такой, далекий, и звуков в нем почти не было. А о чем я говорил — не мог познать, только луч во мне черный все расширялся и расширялся, заполняя ставшее мертвым сознание.

А потом внезапно девочка посмотрела в мои глаза. Взгляд этот был тяжелый, несоизмеримый бытию. И она коснулась меня рукой. Прожгло меня черным светом изнутри, и, влекомый им, я пошел. Девочка за мной. Понял я — ничего во мне не осталось, только где-то в глубине прежнее «Я» содрогалось, а внутри — полоса иного мира постепенно возрастала. Больше я ничего не помню, кроме того, что я шел, а девочка следом, упорно и не подетски. Идем и идем. И ни улыбки от нее, ни смеха, одно бесконечное молчание. Но верность какая-то в ней появилась. Только верность не мне, а тому миру, который поднимался со дна моей души.

Вышли на помойку. Вдруг вдали я увидел светящийся шар.

«Вот оно, “антиспасение”», — холодно подумало мое прежнее «Я», еще остававшееся во мне. Что это был за шар? Проекция мсей тайной внутренней религии? Тень посланного ангела или монстра?

Шар все возгорался и возгорался.

И я пошел туда — возможно, к своему будущему «Я», которое настанет после многих и многих смертей. Я уже ничего не понимал. Смутно вспыхивало в сознании, что я, кажется, катался по земле и хохотал, нечеловечески хохотал, словно в меня вселились раздирающие меня в разные стороны силы. Маму видел во сне, но почему-то в смешном виде.

Очнулся я у дерева на помойке — ни девочки, ни шара. Проща, видимо, ночь, и наступило раннее утро. Глупо лаяла собака. И еще более глупо восходило солнце на горизонте.

Сознание и ум были при мне. Встал я помятый и, извиняясь перед собой, словно с похмелья, пошел вперед. Дворничиха приняла меня за полупьяного и пожалела. А я понял, что вернулся в прежнее, обычное состояние. Не увела та девочка с тяжелым взглядом меня — а то бы и увела, далеко-далеко, куда и мертвым нет пути. Но, видно, перебежал ей кто-то эту дорогу. И решилась, таким образом, моя судьба без меня самого. Какие же мы после этого творцы?

Больше я уже эту девочку никогда не видел. И людей с могила тоже.

Институт окончил. Пить стал, есть, петь.

А через много-много лет, даже десятилетий, оказался я вдали от своей Родины, от своей страны в большом городе на Западе, в шумном мире, среди машин. Весь этот Запад я изъездил и познал его.

И вот однажды, бредя по широкому проспекту с рекламами, с огнями и с бесконечным потоком людей, вспомнил я вдруг мое человечество могил, и мою девочку, и мой ранний опыт. Вспомнил — и стал вглядываться в лица людей, идущих мне навстречу. О, как хорошо я знал эти лица людей Запада, и что поражало меня — это отсутствие света в этих глазах. Словно они стеклянные, но с умом.

И вот, вспомнив о человечестве могил и взглянув на лица прохожих, вдруг почувствовал: а ведь я среди трупов нахожусь, духовных трупов, и их бесчисленное количество здесь, сотни миллионов, почти все.

Так чего же я боялся человечества могил? Вмиг понял я, что на самом деле те, с могил, были живыми, пусть по-особому, а эти вот, которые нескончаемым ужасающим потоком маскообразных лиц идут на меня, и есть мертвые, по-настоящему, вечно мертвые. И не осознают сами, что перешли уже навсегда ту грань, которая отделяет мир, предназначенный к жизни, и мир, медленно и верно опускающийся на дно тьмы, где уже не будет никогда ничего и откуда нет возврата.

И вся их автоматическая жадность, слабое мелькание похоти в глазах, мрачное и рациональное слабоумие (как будто высшего ума уже не существовало) — не что иное, как медленный поток смерти.

И не от человечества могил мне нужно бежать, а от этих — с их машинами, роботами и румянцем на щеках.

А ведь дунут когда-нибудь на них или затопят — и мир станет совсем другим. Пусть даже люди с могил останутся. Восток есть Восток, и он не скоро перестанет быть Востоком. А вдруг перестанет? Ну что ж! Пора, пора... Тогда уж закрывать надо будет — высшим-то — эту смешную планетку... Но нет, нет, нет!

Потому что остается — Россия. И хотя я сам не знаю, где и когда я родился, но Россия останется для меня тайной навсегда. Все ведь она включает: и человечество, и Восток, и священные чары, и даже идиотизм западный, и раздолье метафизическое, и

монастыри, и трепет трав, и гнозис — но самое высшее в ней ускользает от человеческого взгляда и от ума. Значит, ведет это русское высшее в нечто такое...

В одном я уверен: пора нам с нашим человечеством, точнее, с современной цивилизацией кончать. Ведь от нее одно только название осталось. А название это — труп, огромный и жадный. Зачем же с таким названием дело иметь? Только в преисподнюю и угодишь.

Может быть, было бы лучше — пусть и невозможно это пока — нам на свою планету перейти, и назвать эту планету — Россия, и жить бы на ней одним, без этого так называемого человечества. И сотворить окончательно наш мир, собственный, непостижимый, дальний, захватывающий всю душу, чтоб песня русская сверхглубинная, как музыка сфер, звучала... Вселенную расейскую сотворить... И чтоб рядом со звездами одни тайные наши березки сияли... А то ведь пропасть можно на этой теперешней планетке. Не годится она никуда.

## ДОРОГА В БЕЗДНУ

— Старичка Питонова, который помер, знаешь? — спросил во тьме глухой голос. — Так вот к нему и идем.

Двое двигались по кладбищу, к глубине. Уже заходило солнце.

— Большой богохульник был, — раздался тот же глухой голос. — Я его историю через одного человека как бы изнутри знаю. Но главное — людей притягивать к себе его труп стал.

— Экая планета, — пробормотал другой, поменьше ростом, почти невидимый, и споткнулся.

— Я вот знаю: его друзья совсем дошли от его трупа, особенно старушки, — оргию тут устроили месяц назад, тело разрыли тайком...

— Каково тело-то?

— В себя впилось. Руки прижаты к груди, и голова свесилась, точно лижет их. А посредине — черная дыра.

— И что друзья?

— Глаз не могли отвести. Выли, плясали, пели, а реализовать связь свою с трупом не смогли. Звал их этот вцепившийся в себя труп куда-то, а куда — понять не могли... Может быть, мы пойдем. Пойдешь?

— Я с тобой, Сережа, хоть куда пойду, — ответил который поменьше, звали его Витя Филимонов. — Если застучает начальство — в тюрьму пойду, если туда, — и он махнул рукой по направлению к звездам, — так пусть...

— Начальство куплено, — успокоил тот, кого называли Сережей. — Среди друзей старичка важный чин был. А лопаты в лопухах. Он неглубоко погребен, нарочно...

Показалась луна, и две мужские фигуры — молодых мужчин лет тридцати с лишком — окончательно прояснились. Шли словно по ночному небу.

Могила Питонова была свежа. Уединенное кладбище это укрывалось в самое себя своей заброшенностью. Друзья остановились около надгробья, зажгли карманные фонарики, последний слог «ов» был почему-то стерт, и четко различалось только «Питон».

— Ты его видел при жизни? — спросил Виктор.

— Сумасшедший чуть-чуть был старичок, — кивнул Сергей. — Очень Бога боялся. А себя любил. Потому и спятил перед смертью.

— Так чего ж с него взять? — усомнился Филимонов. Выглядел он старше Сергея, и тело его было внутренне скрючено, только глаза смотрели вдаль.

— Не в нем дело. Это только повод, — ответил Сергей. — Вот видишь эту книгу? Она поможет нам улететь и понять. Улететь с возвратом.

Книга была положена на камень.

— Спокоен ты очень, Сережа, — засуетился Витя, неловко держась на одном месте, — ишь, неутомонный. Все тебя несет и несет... А куда? Здесь ведь тепло... — заскулил, сомневаясь, Филимонов.

— Садись, старик, около камня. Мы сделаем первый шаг. Разрывать ничего не надо. Я все беру на себя, а ты слушайся.

— Ну, сядем, сядем, — трусливо отговаривался Филимонов.

Присели. Вдруг раздался шелест. Сразу из кустов возникло существо, совершенно невнятное, нелепое и вместе с тем уверенное и страшноватое. Выглядел он помято, словно его жевала потусторонняя вселенская челюсть. Глаза светились, но светом другого сознания.

— Ребята, ни-ни, — издал он вполне человеческий звук и приблизился к ним.

Филимонов упал. Но Сережа (фамилия его была Еремеев) только побледнел и впился глазами в существо.

Оно еще больше очеловечилось.

— Нельзя, ребята, — хрипло сказала оно, — не тревожьте... Закурить есть? Зовут меня Коля Климентьев.

И он как-то по-уголовному, по-земному подошел к Сереже, во-

прошая. Но тут же ловким и артистическим движением ноги сбросил книгу с камня. Она упала на могилу.

Сереза встал. Был он строен, где-то даже красив, но слишком значителен изнутри, чтобы его внешняя красота ослепляла.

— Есть, — ответил снизу, с земли Филимонов.

Климентьев закурил, тут Еремеев заметил, что на незнакомце короткое пальто, хотя стояло жаркое лето.

— Нам нельзя, а им можно раскапывать? — спросил Сергей, показывая на могилу.

— Друзьям-то его? Они же пустяшные, — хмыкнуло существо. — А вам — ни-ни... Не туда лезете.

— Кто ты? — спросил Еремеев.

Этот вопрос совершенно ошеломил Климентьева. В ответ он вдруг стал подпрыгивать (как бы вокруг себя) и дико хохотать. Он так трясся от хохота, что с него стали падать какие-то насекомые. Лесная мышь сбежала с могилы.

Сергей остолбенел.

Филимонов тем не менее неуклюже поднялся с земли, бормоча:

— Ведь говорил же я, говорил, не бери книгу...

Хохот существа делался все пространнее и пространнее. Казалось, хохотала Луна или сама Вселенная. Ничто не могло его остановить.

Климентьев внезапно оборвал смех.

— Пойдемте со мной, — миролюбиво предложил он. — А этот, — он указал на могилу, — пусть. В глубь пошел, но не в вашу сторону. Не мешайте ему.

Друзья (Филимонов и Еремеев) поплелись с кладбища. Прихватили и книгу. Впереди шел Климентьев.

Тенями выскользнули из ворот.

В стороне, на отшибе, стояло другое существо, по виду женщина. Она просила милостыню — но у кого? — кругом была пустота и ночь. Словно чего-то ждала.

— Лизанька, — улыбнулся Климентьев. — Из моих.

И он помахал ей ручкой.

— Чудные вы, смертные, — верещал по пути Климентьев, словно стал бабою. — Даже самые умные из вас — такими порой бывают глушцами, — сплетничал он. — Недотепы...

Филимонов угрюмой тенью молчал, подавленный, а Сереза бесконечно улыбался. Синие глаза его совсем уплыли.

— Вот и хвартера! — вдруг прокричал Климентьев серьезно.

И распахнул калитку в маленький дом. Вокруг был одинокий поселок — безразличный в своей пустоте.

«Затянул он нас», — подумал Сергей.

— Проголодались вы у меня, проголодались, — шутил Климентьев в комнате, сбросив пальто и бегая чуть не по стенам.

А потом вдруг — как бы с потолка — сказал:

— А ведь вот вы не боитесь меня, Сережа. Знаете — вы защищены...

И тут же оказался рядом, за столом, с бутылкой водки в руках. Керосиновая лампа освещала влажно-мрачную теплую комнату с невидимым по углам.

— Варя! — окликнул Климентьев через плечо.

Никто не появлялся. В комнате зияла тишина. Картошка как бы дымилась на столе.

Филимонов тупо уставился на сундук, крышка которого вроде шевелилась...

— Верьте нам, — дружелюбно осклабился Климентьев.

Филимонов как-то угодливо (особенно по отношению к себе) опрокинул стаканчик водяры в нутро, которое потеплело. Филимонов оживился.

— Вот вы какие, — хихикнул он, глядя на Климентьева и расхрабрившись. — Не ожидал, не ожидал...

— Вы, смертные, много чего не ожидаете, — поучительно согласился Климентьев, хрустнув огурцом.

Сережа смотрел на него, пламенея, и что-то шептал.

«Не бес это, даже особый, а труп человека, покойник, ставший божеством», — почему-то подумал он.

— А вот вас я не понимаю, — стукнув вдруг стаканом об угол стола, резко сказал Климентьев, обращаясь к Сереже. — Вы очень русский человек, как и ваш великий друг Андрей. И вы слишком многого хотите для этой маленькой Вселенной. А я устроился хорошо... благополучно!

— Кто ты?! — закричал Еремеев.

И опять, как в замкнутом круге, раздался нечеловеческий хохот. Водка была выпита, Филимонов снова упал, хохот продолжался, но в нем уже был выход — в какую-то Вселенную за окном.

Сергей неожиданно стал что-то быстро говорить Климентьеву. Тот, хохоча, отвечал, и его хохот был более серьезен, чем ответ. Вся комната наполнилась мраком и смехом. Хохотал даже воздух.

— Ничего, ничего не спрашиваю! — отчаянно выкрикнул Сергей.

И внезапно — или ноги сами пошли — их вынесло на улицу. Существо осталось внутри. Но потом дверь в этот маленький дом отворилась, и появился пляшущий Климентьев, а за ним тень — чья непонятно. Лицо Климентьева было при этом каменно-холодным и даже надменным.

Он прокричал друзьям (Филимонову и Еремееву) на прощанье:

— Питонова забудьте, его сам Бог забыл!

— Бежим отсюда, Витя, — проговорил Сергей. Нервы у него вдруг сдали.

— Куда?! — истерически крикнул Филимонов.

— В Москву. В пивную.

Пивная оказалась не пивной, а живой ночной квартирой, где собирались московские любомудры. Была она особенная, с низким потолком, но вместительная, и скорее напоминала огромную единую, связанную коридорами келью, как в древних русских дворцах, но современную. Встретила Сергея и Виктора хозяйка — Ульяна Родимова — их возраста, с золотистыми волосами.

Круглый стол, за который сели втроем, превратился в единство.

— Не можешь ты, Сереня, не можешь, — говорила Ульяна, — глянь в небо: утонешь умом. И те миры такие же, всего не облептишь, даже с нашей душой.

— Пусть, — ответил Сережа.

— Даже Андрей не может тебя остановить.

Андрей Артемьев был лучший друг Сергея. Мало кто знал его во всей глубине, но, соприкасаясь с ним, многие видели в нем своего Учителя. Проповедовал и практиковал он древнее и традиционное учение (Веданту), возникшее еще в Индии, но прошедшее через его огненный опыт и освещенное им чуть-чуть иначе, в русском пламени.

Учил он, согласно адвайте-Веданте, что абсолютное, высшее начало — вечное и надмирное, его многие называют Богом, — «содержится» внутри нас, а все остальное — страшный сон. Каждый человек может открыть в себе это Высшее «Я», или Бога, отождествить себя с Ним, уничтожив ложное отождествление себя со своим телом, психикой, индивидуальностью и умом, перестав быть, таким образом, «дрожащей тварью». И тогда человек станет тем, кто он есть в действительности: не Николаем Смирновым, например, не человеком даже, а вечной абсолютной реальностью, которая невыразима в терминах индивидуального бытия, времени, чис-

ла и пространства и которая существует, даже когда никаких миров и вселенных нет.

Секрет (один из секретов) лежал в формуле «Я есть Я», в особой медитации и созерцании, в проникновении в Божественную Бездну внутри себя, и «технику» всего этого Андрей создал свою. Высшее «Я» — учил он каждого своего последователя — и есть твое вечное, не подверженное смерти «Я», все остальные твои «я» (маленькие «я») — его тени, даже антитени, которые неминуемо исчезнут. Их надо как бы «устранить» еще при жизни путем истинного знания и реализации этого скрытого «Я».

Не нужно никуда стремиться и бежать в потустороннее, как на луну, — главное, вечное, бессмертное рядом и внутри тебя (оно и есть ты), но его нелегко открыть и «осуществить», «реализовать».

Еремеев видел правоту всего этого, но чувствовал: душа его последнее время уходит в какую-то пропасть. Он все больше и больше называл себя «метафизическим путешественником», загробным летуном. А некоторые знания у него уже были.

— Надоела мне эта жизнь, — говорил он Ульянушке. — Она ведь просто насмешка какая-то. А высшее бессмертное Я от меня все равно не уйдет. Куда Оно денется, если Оно было, есть и будет. А я хочу в иную Бездну заглянуть. А если пропаду, так...

— Сереженька, — восторгалась Ульянушка, волосы ее вдруг разметались, и сама она стала стремительной, — нас-то не покидай. Неужто Россия тебе не бесконечна?!

Она быстро включила что-то, и потекла невероятная, таинственная, запредельная народно-русская музыка, от которой можно было с ума сойти.

— Ничто истинно ценное не будет потеряно, — ответил Сергей. — Да и вернусь я. Мир мне надоел, а не то, что выходит за границы мира. К тому же видения все время...

— Ой, как бы не пропал ты, Сереженька, не пропал. Гляди: какие мы уютные и вместе с тем бесконечные...

— Все останется, — повторил Сергей. — Ты сама: и хранишь меня, и зовешь в беспредельное... Мы вместе...

Все вдруг соединилось и стало почти космическим в этой комнате. Это почувствовал и Витя, который молчал и плакал, слушая этот разговор...

Сергей, уехав от Улиньки, попал в какой-то загробный запой. Собственно, запою в буквальном смысле не было — он не брал в рот ни грамма водки, — но были внутренние видения, знаки, сим-

волы... Самое существенное и сокровенное происходило в момент между сном и явью, когда он просыпался утром.

Он чувствовал: что-то будет, кто-то придет.

А внешняя жизнь шла своим путем, и он часто оказывался в центре, на пересечении многих странных историй, случавшихся вокруг. Вот одна из них, довольно забавная. Состоялось знакомство с черепом некой дамы — старой профессорши, любившей науку и отрицавшей бессмертие души.

С ее трупом действительно произошло что-то серебряное. Сразу после смерти обнаружилось завещание, по которому ученая отдавала свой скелет и «все, что останется от моей личности», в пользу научных исследований. Одно учреждение почему-то воспользовалось этим, скелет попал в шкаф. Потом он много раз бродил по рукам студенток, пока его не сломал пьяный доцент, уснувший после буянства в шкафу. Остатки решили выбросить, но череп попал на дачу к приятелю Сергея Антону, который взял череп, приговаривая, что «ее душе теперь будет хорошо».

И череп ученой мирно отдыхал на даче у Антона, пока не приехал туда — тоже для отдыха — Сергей.

— Череп убери, — вздохнул он. — Закопай и молись о ней в церкви, пусть найдется хотя бы один шанс из тысячи облегчить ее душу — молись... Закопай череп, но только не рядом с твоей собакой.

Антон послушно закопал несчастный череп несчастной души.

...А Сергей тем временем, передохнув, вернулся в Москву. Он тут же позабыл об Антоне, чувствуя: наконец, наконец что-то произойдет. Свое собственное тело (и человеческое тело вообще) стало его раздражать. «Как это все чуждо внутреннему “я”, — говорил он самому себе, — все эти ноги, руки, кишки, пальцы, волосы — надоело, надоело, и какие они все странные, чужие, даже фантастические, и это несмотря на то, что мы к этому так привыкли... Долой! Долой! Все это ненужное! Долой!»

Свое тело казалось ему телом отчужденного чудовища.

— Не с моей планеты эти мои руки, глаза и рот, — заключал он.

Но он не ожидал того, что случилось. Это возникло внезапно, словно в нем открылись другие, нечеловеческие уже слух и зрение, или «шестое» чувство, и он просто увидел, что рядом с нашей реальностью проявилась другая, а он ее «видит» и «слышит».

Сначала это был просто странный намек, довольно абстрактный, возникло какое-то поле, точнее, «облако» и в нем безликий

космос в миниатюре (как на фотографии метагалактик), словно отражение иного мира, собранное в горсть.

Он сразу на всякий случай проверил себя (он знал как): нет, это не галлюцинации, не проекция собственного подсознания, это — «оттуда».

И с этим облаком, несмотря на всю его абстрактность, а может быть, именно благодаря ей — в его душу и тело вошел ужас, так что выступили капли пота, может быть, даже внутри.

«Облако» исчезло, но потом стало опять появляться — на короткое время, иногда в самый неподходящий момент, когда он возвращался к себе домой, в одинокую комнату... Словно кто-то поселился у него и он уже стал сам у себя гостем. С бьющимся сердцем подходил теперь Сергей к своему дому.

...Будет ли там чудовище? На письменном столе, на стуле или — с неба — прямо в окне... Его ужас стал понемногу подавляться непостижимой огромностью происходящего. Словно то был знак легкого привета из бездны... В центре «облака» всегда что-то чернело, точно желая выделиться из пустых орбит инобытия.

Сергей все-таки решил посоветоваться. Он признавал не столько учителей, сколько «советчиков». Конечно, лучше всего было бы найти Андрея — этот, невероятный, мог бы, наверное, все распознать. Но Андрей, как назло, исчез из Москвы. Оставались другие. Он пришел к ближайшему и лучшему ученику Андрея — Валентину Боровикову. Тот заключил:

— Если не хочешь всего этого, уходи в высшие сферы «Я», там, где ничего, кроме твоего чистого и вечного «Я», нет. Технику мы знаем, а духовно ты готов.

Сергей ответил:

— Я хочу принять вызов.

— Тогда соберись в один центр, в один свет, стараясь понять. Важно отсутствие страха и всех эмоций. Все это тебе известно.

Но потом опять произошло то, что все переменяло.

Он брел домой, объединившись в себе. Медленно поднимался по грязной, оплеванной лестнице. И знал — «жилец» там. Осторожно открыл дверь, вошел в коридор и сразу увидел в своей комнате старичка.

Тихий такой был старичок и с виду обыкновенный, только лица не видеть, точно оно было неуловимо. И позади него — исчезающее облако, как будто он из него вышел, из самого центра, и «облако» теперь уходит.

Сергей пытался уловить и понять его лицо, познать необъяснимое. И все же он остановился, замерев, не в силах пойти туда, в объятия...

Облако исчезло, и поле сверхмира возникло вокруг старика. Он был как бы в рамке, почти невидимой, внутри картины из других миров, появившейся спонтанно и созданной не красками, а неизвестной духовной энергией.

Но тихий такой, очень тихий был старичок. Неожиданно, пытаясь разглядеть его лицо, Еремеев почувствовал страх. Он был настолько чудовищен и огромен, что не мог вместиться в человеческий ум. Может быть, только дети знают отдаленно похожее на это...

Но вместо того чтобы сковать все его существо, этот сверхстрах произвел иное перевернувшее все воздействие.

Он как бы очистил все внутреннее полярным холодом далекой и абсолютной планеты. Он был настолько несовместим с возможностями человеческого ужаса, что стал пустым, невоспринимаемым, хотя то, что стояло за ним, как-то потаенно чувствовалось.

И Сергей медленно и чуть-чуть изменился внутри, оставаясь в то же время самим собой. Застрах действовал иначе, чем страх.

«Когда мужчина берет девочку-ребенка — это ужасно, но когда он соединяется с камнем или с планетой — это уже иное, это вне всего» — такая странная аналогия мелькнула в уме Сергея.

Старик исчез так же внезапно, как и появился. «Это конец, это знак, — подумал Сергей. — Чудовище прилетело».

Вечером он оказался у Валентина Боровикова.

Вместе они проанализировали старичка, назвав его «тихим».

— Это было невероятное сочетание фантома и реальности, — повторял Сергей.

И вместе они заключили: да, «чудовище прилетело», то есть и «метagalактическое облако», и «старичок» — вероятнее всего, создания чьего-то Потустороннего Ума. Может быть, какое-то великое существо из невидимых, высших вселенных спустилось и посылает сюда, в земной мир, свои ментальные фантомы, образы своего космического Ума, или чудовищные сигналы, странные шедевры, неразгаданные проекции своего бреда или величия.

— Они могут это делать, — успокоительно сказал Валентин. — Посылать к нам свои ментальные образы, как бы полувещества их. Но это не дьявол, знаки совсем другие.

Может быть, это был Потусторонний Ум, который Сам создавал вселенные, находясь в центре их, по слову из древних индуист-

ских текстов, что в силе абстракции, в силе высшей медитации лежит ключ к созданию миров, которые потом облекаются в плоть.

— Но зачем Он здесь, что Ему нужно в нашем земном мире? — бормотали они.

Ни Валентин, ни Сергей не были в силах ответить на этот вопрос. Ничего, кроме предположений. Но присутствие великого Потустороннего Ума — точнее, Его проекции — Сергей внутренне ощутил на самом себе...

Вскоре старичок опять пришел, но уже совсем странно. Сергей, в полном одиночестве, писал письмо своей сестре — она уехала в Индию — и почувствовал: кто-то сидит на кухне. Влекомый, он заглянул: старичок пусто, как труп, сидел на кухонном столике, рядом с газовой плитой, и, кажется, болтал ногами.

Сергей чуть не закричал, но вырвался лишь стон. Однако молниеносной духовной концентрацией он убил в себе страх. Тут старичок мертвенно почернел, и вокруг него точно образовалось темное поле сознания — как сеть от паука. Сергею показалось: старик взглянул на него. Взгляд этот исходил не из глаз — глаз, по видимости, вообще не было или они смотрели внутрь, а чуть виделся лик: не маска, не человек, не дух и не зверь.

Повеяло холодом, который убил бы лед, вместе с тем старик стал совсем черен, как обугленный труп, но с невидимым взглядом... Вдруг Сергей почувствовал зов — таинственный, безличный, полярный — без человеческого горя, без страсти, без зла и добра, надчеловеческий, словно ведущий в непонятно-запредельную, но полную особой жизни вселенную...

Потом все исчезло, и Сергей ощутил только стук своего сердца, ставший единственным, как биение всей его жизни.

Он глянул в комнату. Там был опрокинут стул.

Вскоре приехал Андрей.

Втроем — с Валентином — они решали, что делать. Приезд Андрея внес во всю ситуацию какую-то чудовищную ясность. Зов повторился. Некий Великий Ум, или просто Иная Реальность затаилась у входа в земную жизнь, давая о себе знать. Слово кто-то дуло в сознание Сергея как в Ухо.

Возможно, это «существо» могло бы спонтанно воплотиться здесь на Земле — без отца и матери, — как «они» делают в других мирах, но такой «въезд» разрушил бы слишком многое...

В следующий раз старичок завыл. Это было так неожиданно, что Сергей замер, как остановившаяся звезда. «Таким воем, его подтекстом, его подсмыслом — сам вой был тихий, почти ше-

пот — можно было бы, наверное, испугать самого Творца», — подумал Сергей. Потом шепот прекратился. И снова возник зов, холодный, неумолимый...

Однажды Сергей в последний раз собрался поговорить с Андреем. До этого он — неожиданно для себя — познакомился с небольшой группой людей, которые в совершенстве знали технику ухода в другие миры, практику духовных путешествий при сохранении тела здесь, на Земле, и при обратном возвращении души. Точно это была судьба: надо было сделать решающий шаг.

Андрей считал такие путешествия излишним безумием, метафизической роскошью, так сказать... И к тому же, зачем?

Он говорил и учил:

— Все проходит пред лицом того, кто таится внутри человека, но кто уже не есть человек. Нет сладостей этого высшего бессмертного «Я» — твоего истинного Я, человек! — ибо что может быть лучше себя, бесконечного, неразрушимого и живущего Собой в вечности.

— Все миры — лишь дым по сравнению с этим «Я».

— Когда вы углубитесь в созерцание по формуле «Я есть Я», то вас охватит такое счастье, такое блаженство от чистого высшего бытия Себя, что по сравнению с этим все земное счастье и все неземные путешествия — мелкий миг, проходящий отблеск, крик, визг.

— Ищите прежде всего Себя (или Бога внутри Себя), ибо, найдя Это, вы обретете и победу над смертью, и вечную, освобожденную жизнь...

Поздно вечером Сергей пришел к Андрею и рассказал ему о своей встрече с группой «практиков» и о том, перед каким поворотом он стоит. И что он уже выбрал: он пойдет в эту дверь, в миры, к «чудовищам».

— Они «сожрут» тебя, Сережа, — ответил Андрей. — Конечно, в принципе можно научиться сохранять себя, как древние йоги, и возвращаться сюда или, наоборот, уйти... Если овладеть тем, чем владели они, то можно делать со своей душой все, что захочешь... Но это невероятно трудно, фантастически трудно — всего лишь одна ошибка может стать роковой... Хотя я знаю этих ребят, они прошли инициацию у индусов... Но ведь в полной мере все это было доступно высшим древним йогам, а не теперешним... И выбирали-то они, в конце концов, Абсолют, вечное «Я», а не эти миры... И ты так легко можешь погибнуть...

— О чем ты говоришь?! Я все это знаю... и я сделал выбор.

— Хорошо. Но, предположим, ты действительно оградишь себя, обезопасишь... Зачем, зачем тебе эти миры, эти путешествия, когда только в вечности, в Абсолюте наше спасение. И оно лежит рядом, здесь, в нашем человеческом воплощении мы можем достигнуть этого...

— Я знаю пути в Вечное. И я не потеряю Себя. Кроме того, может быть, в мирах, в творении есть что-то тайное, чего нет в Абсолюте в Первоисточнике, как бы абсурдно это ни звучало...

— Это спорно. Но сначала реализуй абсолютно полностью, до конца это Высшее «Я» в самом себе. Тогда ты действительно Его уже никогда не потеряешь, и в этом случае можно путешествовать...

— Но я в объятиях Зова и того, что происходит внутри меня...

— Тогда иди. Но без полного абсолютного знания ухода не делай ничего: иначе погибнешь. И все-таки мой последний совет: иди не туда, а в собственное вечное божественное «Я». Ведь человек ищет своего, своего спасения. В чем смысл всего, если ты сам погибнешь? Что будут значить тогда для тебя все миры? Ничего.

...Сергей ушел, поцеловав на прощанье Андрея. На другой день вечером он должен был идти к «практикам» — начиналось преддверие.

Утром он увидел Ульянушку, на улице, около сада.

Он сказал ей про свое решение.

И вдруг словно молния свыше пронзила его существо. Он увидел (или это было «внутри», или это было «вовне») что-то тайное, великое, непостижное и в то же время родное, вечно-русское, что составляло его сокровенную жизнь, но было скрытым. И теперь оно внезапно с ужасающей ясностью проявилось перед его сознанием.

— Я вернусь сюда, — сказал он ей, а она заплакала. — Эти миры не поглотят меня.

## СЛУЧАЙ В МОГИЛЕ

Костя Пугаев, мужчина лет тридцати пяти, выпить не очень любил. С женой он разошелся, но на другой почве. Обожал звезды, грибы и сновидения.

Снилось ему обычно что-то несуразное, в чем никакой логики нельзя было найти. То штаны с медведя снимали, то будто не на Земле он, а на Луне, то корона на нем сияла. Пугаев за чаем так объяснил однажды своей давней любовнице Глаше:

— Неумный я какой-то во снах. А ведь наяву я мужик хороший.

Глаша, пухленькая и славненькая, как пирог, возразила ему:

— Лучше бы ты наоборот был. Я люблю неумных и бесшабашных, которые наяву. А хороших людей мне и даром не надо, я, Костя, плохих люблю. Ты ведь и сам, Костенька, в сущности, плох.

Костя открыл глаз:

— Сколько лет я с тобой, Глаша, живу, а все удивляюсь тебе. Откудова ты такая? С виду аппетитная, а в душе у тебя — одни тучи и сомнения.

— В чем же это я сомневаюсь, Кость? — хихикнула Глаша, откусив жирный кусок пирога.

— Как в чем? — выпучил глаза Костя. — Насчет мира всего сомнения у тебя, Глаша, вот в чем дело. Я тебя все-таки знаю. Не веришь ты в него, в мир-то в этот. А учти, — он поднял па-

лец, — ежели уже бабы перестанут в мир этот верить, тогда всему нашему роду человеческому конец.

— Туда ему и дорога, — нахально ответила Глашка.

— Это ты брось, — нахмурился Костя. — Нешто тебе неприятно чай пить?

Глашка расхохоталась и поцеловала его.

— Какая ты вся белая, сладкая, настоящая русская баба, — умилился Костя, — только душа у тебя чересчур огромная.

— В этом и вся беда, — улыбнулась Глаша.

А дней через десять, когда Костя по обыкновению плелся к своей любовнице, оказалось, что ее нет. Соседи толком не могли объяснить, но в конечном счете выходило так, что Глашуня вдруг ни с того ни с сего уехала на край света, в Сибирь-матушку, к кому неизвестно, и затерялась там для Кости безвозвратно.

Пугаев долго-долго ничего не мог понять. Потом запил — первый раз в жизни. Через месяц-другой немного полегчало, хотя плакал во сне. Он и сам не мог разъяснить себе, почему стал плакать во сне. Ведь не до потери же сознания он любил свою Глашу. Тем более в конце концов он оправился от своей утраты. И вроде бы жизнь вошла в колею. Но, с другой стороны, через год появилась тоскливость. Первопричиной ее был случай пропажи его отца — отец ушел утром и больше никогда не приходил. В милиции считали, что ему отрезали голову, — перестройка уже шла вовсю, и в районе появилась очень специфическая банда.

Но Пугаев в отрезание головы не очень верил, думал, что папаша пропал, и все. Мамы у него не было — вернее, была, но он уже давно не считал ее матерью.

Работу он то бросал теперь, то начинал опять, но в целом перестал как-то обращать на детали существования свой ум.

Вело его куда-то, не то вперед, не то в сторону. Завел новых друзей, совсем уже странных. Те любили пить на могилках, среди них и девочки с такими глазами, точно их будущие женихи были ангельского свойства. Одна только была задумчива, но не в отношении ангелов, а внутрь себя. Ее и любили больше всех.

А Костя Пугаев терялся среди них. Он тоже теперь полюбил выпивку на могилках — понемножечку. Некоторые же из его новых знакомых действительно упивались так, что их с могил почти невозможно было стащить. Так и ночевали порой, конечно летом.

Прошло два года.

Костя Пугаев стал вообще упоенный. Но здравый смысл не терял: наоборот, укрепился на работе.

...Году в 1992-м бродил он в начале лета по кладбищу. Пить к тому времени он почти бросил, но и при трезвости могилки любил. Шел он, шел и присел однажды на скамеечку у одной невзрачной могилы, в центре кладбища, в зеленеющем месте. Кругом одни деревья, кусты и соседи, пусть даже и мертвые.

Сидел он так в некотором оцепении полчаса и вдруг явственно слышит: из могилы поют. Из той самой, около которой он сидит. Костя Пугаев вообще-то был непредсказуемый человек, но здесь он затих. Подумал, не спяну ли, а может быть, просто галлюцинация? Как проверить? Пьян он уже с полгода не был, а галлюцинации, они, конечно, у всех могут быть. Костя тогда отскочил немного в сторону. Слышит — поют, но уже тише, помирней. Костя взял да и отбежал подальше — пение прекратилось. Прошелся по другим могилам — ничего. «Значит, не галлюцинации слуховые это — они ведь от места не зависят», — подумал Костя. И решил подойти обратно. Как только подошел, слышит: опять поют. Оттуда, из-под земли, из-под могилы. Костя от огорчения даже сел на землю. Капельки пота выступили на лбу. «Все понятно», — пробормотал он про себя, хотя ему ничего не было понятно. Пение было заунывное, но со значением, хотя и странным. Пугаев стал прислушиваться: слова были понимаемы, но в общий смысл не укладывались, и про что были песни, Пугаев не мог осознать.

Вдруг темный ужас, особенно в брюхе, овладел им, но вместо того, чтобы бежать, он упал животом на могилу. Пение стало раздаваться явственней. Пугаев различал слова: про какие-то незабудки (цветы, значит), про пустоту и про горе, но все же общий смысл был выше (или ниже) его понимания.

Ошалев, Пугаев подскочил и бросился бежать. Никто его не преследовал. Выбежав за ограду кладбища, дал по морде трезвому мужику. Тот упал. Пугаев скрылся и два дня не выходил из дому. На третий день поехал на кладбище — сначала трамваем, потом метро — и в конце концов оказался на той скамейке. Сразу же услышал пение — приглушенное, жуткое, но исходящее из души. Отскочил, погулял, пришел опять. Поют. Все равно поют. В кармане своих широких брюк Пугаев принес бутылку водки — так, на всякий случай, — а сейчас сообразил: «Ба! Да, может, от водки все пройдет, клин клином надо вышибать, выпью вот, и все на свете протрезвеет», — подумал он.

Недолго думая, присел на травку около злополучной могилки, откупорил бутылку, нашелся даже заплесневелый сырок, а пить пришлось из горла. По мере питья Костя становился все веселее и веселее,

но пение не прекращалось. В конце концов, когда выпита была уже половина бутылки, Костя решил: «Ну и пусть себе поют. Мне-то что. Наверное, тут артист какой-нибудь из Большого театра похоронен».

Еще раз внимательно, но хмельно посмотрел на надписи на могиле. Их была целая стая. «Да хоть сто, — расхрабрился Костя. — Я-то живой. Раз пью — значит, жив. Так-то». И он поднялся с земли. Но сомнение продолжало мучить его. «Если из каждой могилы будут петь — так хоть в театр не ходи. Вот ведь дело какое», — покачал он головой. И отошел все-таки от опасного места. А на следующий день решил поговорить со всеми приятелями — удалцами по кладбищу. Но те и слышать ни о чем не хотели — и действительно ничего не слышали, а один из них, пришедший со стороны хмуро-серьезный подросток, внашал Косте:

— Ты нам мозги не пудри, отец. Мы только начинаем здесь пить. А ты охоту отбиваешь своими бреднями. У меня мамаша во сне поет — это факт, и с меня этого хватит. А чтоб покойники пели, это, папаш, уже революция в естествознании. Нас этому в школе не учили.

Другие и слышать не хотели про такое, чтоб переть на какую-то могилу и слушать там песни. Они очень обижали Костю своим неверием. И все-таки нашелся один старичок, который клюнул на предложение Пугаева. Это произошло уже через месяц после первых признаков пения из могилы. Пугаев частенько, но с большою опаской туда заглядывал, и то только днем, при свете; вечером, в темноте, он и думать не хотел о том, чтобы сидеть около такого места. А заглядывал он туда, потому что его стало тянуть. Тянет и тянет. «Ну и что ж такого, — думал Пугаев, — я песни всегда любил. Правда, смысл не понимаю, но, наверное, так и положено, если поют из могилы. Они ведь “там”, а мы “здесь”».

Старичок этот, клюнувший, был совсем плох, слаб, и Пугаев еле дотащил его до могилы. Старикашка прилег на землю и стал внимательно слушать. И вдруг пугливо и с ребячьей резвостью вскочил на ноги.

— И вправду поють... Слышу, но еле-еле, — проворботал он.

— Про что поють-то? — спросил Пугаев.

— О звездах, — сказал старик.

Пугаев приник, и действительно, пение было про звезды, но тихое-тихое.

— Хорошо поют, — прослезился вдруг старичок.

— Ну вот, — сказал вставший Пугаев, — значит, на самом деле все это, раз не один я слышу...

— Конечно, на самом деле. У меня слух хороший, — прошептал старичок.

— Но не все могут это слышать, — заметил Пугаев.

— Конечно, не все, — согласился старичок. — И петь не все могут. Особенно среди покойников.

— Не боишься, дед? — строго спросил Пугаев.

— А чего мне бояться? — опять прослезился дедуля. — Я скоро сам среди них буду. Родня они мне станут, значит.

— Ну, пойдем, родимый, домой, а то заслушаемся, — грустно промолвил Пугаев.

Через неделю Костя нашел еще одного человека, подтвердившего пение. Но на этот раз Пугаев заскучал. «Небось на самом деле много нас с таким тонким слухом, — решил он. — А я думал, что я исключительный».

Но на могилу ходить продолжал. Не теряя при этом работы. Одним словом, социальную жизнь тоже соблюдал.

Однажды, уже во второй половине дня, он пришел на свою могилу. Прислушался. Теперь пели о любви. Как все равно в каком подземном храме. Выпил на этот раз крепко. И под это пение о какой-то несбыточной любви стал засыпать.

Тем временем мимо проходил Саня Плюев, немного никудышный парень лет двадцати семи. Увидев спящего на могиле Пугаева, Плюев удивился. «Ну и ну, — подумал он. — Уже могилы оскверняют. Он бы еще наблевал тут. Ну да ладно, его дело, а пошарить в карманах не мешает», — оживился Саня. О себе Плюев всегда говорил, что он и мухи не обидит, и сам верил в это. Но тут решил, что для верности надо спящего грохнуть по башке бутылкой, чтоб крепче спал, а потом уж пошарить. Бутылка валялась рядом, и Саня к ней потянулся. В карманах оказалось всего ничего. «Мне на водку с пивом и сеструхе больной на курицу хватит», — удовлетворенно промышчал про себя Плюев. Уходя, оглянулся на Пугаева. На душе стало тоскливо. «Чтой-то он не шевелится, — подумал Плюев. — Я ж его по башке-то тихонько. Пора бы ему вставать».

Решил даже подойти и поднять его, может, помощь нужна. Но, поколебавшись, смотался.

Между тем Пугаев умер. Произошло это потому, что Саня не рассчитал свой удар и, вместо того чтобы ударить тихо, до обморока, ударил чересчур, до самой смерти. Сам Плюев в этом себе не признался и, когда нес курицу сестре, утешал себя, что-де этот неизвестный, лежавший на могиле, уже, мол, давно опохмелился.

«Наверное, со смехом рассказывает своей жене, что его стукнули и обчистили, — умиленно думал Плюев. — А я ведь и правда муху не обижу», — решил он самодовольно.

Но Пугаеву было не до смеха. Хоронили его очень серо, на весьма отдаленном от города кладбище, и то благодаря содействию сердобольной и зажиточной тетушки. Бывшая жена не пришла.

Сначала все шло как будто бы нормально. Ну, серый обыденный день. В стороне от кладбища заунывная пивная. Нет ни музыки, ни особых плачей. В общем-то, скучно, но допустимо.

Началось же все с того, что Костя запел. В гробу. Его еще не донесли до могилы, а он запел. Правда, никто тайное пение это не слышал, кроме... прежде всего странного, пришедшего со стороны старичка с седой головой, белого как лунь. Дед этот совсем не походил на того слабого старичка, которого Костя притащил к могиле. Глаза у этого провожающего гроб деда были наполненные, мудрые, но с сумасшедшинкой, правда, не с человеческой сумасшедшинкой, а с какой-то другой, словно он был чуточку иное существо, но уже наполовину обезумевшее — в лучшем смысле, конечно. Таково было впечатление. К тому же одежонка на нем была грязная, рваная, лихая, и величественность ему придавала только голова. Вот он-то — может быть, благодаря своему неземному слуху — распознал первый, что Костя Пугаев запел. Вторым это услышал интуитивный мужик Павел, лет сорока, давний сосед Пугаева по детству.

Дедуля сразу понял, что Павел «услышал», до того глупый у Павлуши стал вид. Он подмигнул этому интуитивному мужику и поманил его к себе.

Павлуша подошел.

— Ну что, слышишь? — улыбнулся дед.

— Слышу. Поет, — угрюмо ответил Павел. — А как же другие, те слышат? — и он кивнул на маленькую, понурюю процессию.

— Им еще не дано, — осклабился дед.

— Почему же он поет? — Павел посмотрел на деда наполовину остановившимся тяжелым взглядом. — Что ж он, птица какая-нибудь, чтобы петь, да еще после смерти? Выходит, мы птицу хороним, да? — и Павел харкнул на землю.

— Птицу не птицу, — засуетился дед, — а, скорее, Костю...

Павел пошел рядом с дедом, опустив голову. Дедуля вдруг указал на тетушку:

— Смотри, сынок, как тетка евойная задергалась. Это она от-

дельные слова из Костиной песни слышит. Урывками. Оттого и психует. Эх, люди, люди... — Дедуля горько развел руками.

— Ты, дед, про все знаешь, — утрюмо начал Павел. — Так скажи, что с Костей будет?

Дед посерьезнел.

— Тебе не понять, — ответил. — Но все же я скажу. Вишь, Костя, он до конца мира петь будет. Как те, которых он слышал из могилы. Но у Кости, — и дед поднял свой старый палец, — судьба особая даже от них. Костя петь будет до конца всех миров вообще, а не только до конца этого вашего мира. Такой уж он здесь получился. — И дед опять развел руками с некоторым даже недоумением и продолжал: — И таким вот поющим при конце всего творения войдет он обратно в Первоначало, в Бездну, значит, и как бы растворится в ней... — осторожно проговорил дед, — скорее заснет сознанием своим... надолго, ох надолго... Если по-нашему, так и не сосчитать ни на каком, сынок, компьютере, сколько он будет петь до конца мира и особенно — сколько будет поживать в этом Первоначале. Вечность-то не считаешь...

— А потом? — тупо спросил Павел.

Дедуля вдруг оглянулся. Одежка на нем как будто даже еще больше разорвалась.

— А потом, — вздохнул дед, — при новом сотворении мира, Пугаев этот наш из Первоначала, из Бездны, таким выскочит... существом, значит... таким жутким, таким одичалым, что ни словом, ни мыслями, ни молчанием его нам уже никак не описать. И жить долго будет, — дед горестно вздохнул...

Павлуша утрюмо молчал. Процессия смиренно шла к цели. Константин пел. Вдруг Павлуша оглянулся: а деда нет. Словно провалился на небо. Павел туда повернулся, сюда, обежал вокруг гроба (одна старушка даже цыкнула на него), но деда нигде не было. Исчез он.

«Наверное, сбег в пивную», — подумал Павел, а потом нахмурился.

«А как же я-то теперь останусь один... — и он недоуменно махнул рукой в сторону процессии. — Они вон идут, как гуси глупые, ничего не слышат, а мне-то каково?»

Полуэмигрант Коля Фа торговал один-одинешенек в маленькой лавке разных вещей на окраине Парижа. Лавка представляла собой совсем маленькую комнатушку на первом этаже, за ней — в глубине, отделенной занавеской, — совсем крохотный закуток (своего рода офис Коли Фа) с кипятивильником. За закутком — серьезный клозет, окошко которого выходило во двор. Вот и все торговое заведение.

Коля Фа иногда поднимал морду вверх, на бесконечно-голубое и женственно-скучное парижское небо. «Ишь, безмятежное», — думал он, погружаясь в себя. Он уже давно превратился в камень и свою работу выполнял автоматически. (Автоматически и ел, боясь наслаждения.)

Но все-таки что-то человеческое еще копошилось в нем. Например, оживлялся он, когда ел каких-нибудь рыбешек или иных гадов живьем. Но глаза стекленели при этом, а не наполнялись наслаждением. Ничего не поделаешь — много абсурда в жизни! Была в нем и другая слабость: порой он принимался считать звезды на небе, особенно когда их почти не было. Где-то в глубине души не переставал любить деньги.

А вообще-то ему на все было наплевать. Не любил он (частично) женщин, зато любил, например, лягушек. Засыпая, читал справочники. Не обожал он и

свое тело, ставшее препятствием к бесконечной и вольной жизни после смерти. Часто засматривался на облака, плывущие мимо к какой-то своей, непонятной для него цели.

Как же такой в этом западном мире, хищном и псевдозагадочном, вообще существовал? Но и здесь бывают исключения: к тому же работал Коля Фа хорошо, хотя внутренне не соображая, что к чему.

К тому же Коля Фа был герой: он никогда не плакал. Он даже исключил из жизни такое понятие.

Любил ли он женщин? И даже не один раз, а трижды. Первый раз, когда ему было пять лет, второй — когда восемь, а третий — когда девять. Больше он женщин никогда не любил, хотя и скотоложествовал с ними бесчисленное количество раз.

Вообще, в нем еще много было жизни. Он даже участвовал в национальных выборах.

Единственно, что он не понимал: куда это движется его жизнь? Официально считалось, что к смерти, но он ее не признавал. Но если не к смерти, то куда же? К облакам, что ли, поющим в небе о чем-то невысказанном? Или, может быть, просто в курятник, потому что Коля Фа еще с детства обожал кур, считая их не курами, а умудренными тварями, спустившимися с неба. В остальном он признавал значения слов, считая, например, что гуси — это и есть гуси, а не что-нибудь иное.

К Божеству тем не менее он относился просто: он его и не отрицал, и не признавал.

В этот день Коля Фа поработал на славу: отдал дань своему автоматизму. Но и поглядел на облака тоже: не без мечты, ведь человеком был. Солнце — так называемое античное божество — ату его, ату! — уже заходило за, если так можно выразиться, горизонт. Коля Фа не мешал ему, солнцу, он вообще никому не мешал.

Обтер пыль, заглянул в закуток-офис и вдруг — дверь в клозет была полуоткрыта — увидел карлика, сидящего на толчке.

Карлик был не то чтобы уж совсем карлик, но маловат, до дикости маловат. Впрочем, и это бывает с людьми.

Коля Фа несказанно удивился. Никогда еще люди, пусть и карлики, не выпрыгивали через заднее окно к нему в клозет. (Через дверь карлик не мог прийти — все-таки у Коли Фа были глаза.)

Коля Фа оцепенел. Карлик на толчке хоть и тужился, но тоже оцепенел. Так и цепенели они некоторое время. Коля не решился прерывать, а просто ушел в другую комнату, где товары, и закурил. Когда вернулся, карлик исчез.

Коля Фа в эту ночь спал беспокойно. Все ему чудились боги, античные герои, ангелы и прочие существа.

На следующий день, как раз под вечер, он заглянул в клозет. Карлик сидел на толчке как ни в чем не бывало. Лица его Коля не видел. То ли карлик его спрятал на груди, то ли вообще оно отсутствовало.

Фа, однако, не заорал. Походил, походил и закурил.

Прошло три дня. Карлик не появлялся. На четвертый опять сидел на толчке.

Коля Фа с ним смирился.

Через неделю начал его кормить. Но карлик признавал только древнюю пищу, а Фа не знал, что это такое. Но все же кормились. Коля ставил миску на границу клозета и отходил. Карлик не то ел, не то смотрел. Иногда, когда карлик сидел на толчке, Фа садился рядом и чего-то ожидал. Странно, они ни о чем не разговаривали. Но общение было. Глаза карлика — да, да, у него были глаза — все время смотрели в одну точку, слева, Коля стал тоже смотреть в эту точку слева, напряженно следя, чтоб направления взглядов сходились там. Так и сидели они часами, глядя в эту точку.

Коля Фа тем не менее выполнял свои обязанности хорошо. А то, что он смотрел потом в одну точку, это ведь почти никого не касалось.

Карлик регулярно приходил. Фа даже не удивлялся этому. Он вообще потерял в себе это качество: удивляться. Их молчание один раз прервала заскочившая не вовремя покупательница, но отпрянула, потому что Фа захохотал. Правда, это был почти неслышимый хохот.

С тех пор Фа перестал заниматься скотоложеством. Он вообще перестал чем-либо заниматься. А между тем дела шли сами собой. Видно, ему помогал Бог.

Коля вдруг как-то почувствовал, что по отношению к внешнему миру он уже стопроцентно автоматизировался и ему теперь — после карлика в клозете — на все окончательно наплевать. Да, все, что положено, он делал — ел, спал, работал, ходил по нужде, — но совершал это не то чтобы во сне, а, скорее, как в золотом сне.

А карлик по-прежнему сидел на толчке.

Фа никак не мог понять своего отношения к карлику: они ведь никогда не разговаривали, несмотря на то что сидели вместе. В общем, вся эта ситуация становилась со временем скорее положительной, чем отрицательной, но хорошего от этого было мало.

Впрочем, Фа и не стремился ни к чему хорошему.

С появлением карлика на толчке многое стало ему все равно — бесповоротно все равно. Единственное, что осталось, — это желание смотреть в одну точку.

Иногда местный пастор — был и такой, ко всеобщему изумлению, похлопывал Колю Фа по плечу и звал в приход. Но приход, и весь мир, и все, что бы в нем ни находилось, Коля Фа уже не мог воспринять как реальность, тем более на толчке сидел молчаливый карлик, прыгавший в окно.

Захотел Фа выйти на улицу, но кругом пустота. Захотел он даже с тоски своей великой священные книги читать — все равно пустота.

Хоть петухом кричи.

Все складно вроде выходит в мире, кроме того, что никакого мира-то и нет. Да и Творца, следовательно, нет.

Месяца через три Коля Фа заглянул в клозет (карлика уже три дня не было). А теперь он опять сидел, молчаливый.

«Ну вот и все, — подумал Коля. — Вот и все. А что все?»

Мало того, что мира и Творца для Коли не стало, для него вообще ничего не стало, что ни придумай или во что ни проникай.

И вот он, как леший, один. Да и не один, ибо какой он один?! Запел тогда Коля Фа и пел так три дня и три ночи.

И вдруг вместо пустотной картины мира этого, которая внезапно провалилась, увиделось ему то, что никаким словом нельзя было выразить, но что убило его, покончив даже с пустотой и с его собственным существованием.

Теперь не было и единственной реальности — карлика, сидевшего на толчке.

И Коля Фа ушел туда, где его не стало.

Миллионер Майкл Харрис обанкротился, то есть средства для жизни у него, может быть, оставались, но как миллионер он исчез с золотого небосклона Америки. Произошло это, как нередко бывает, довольно неожиданно.

Майкл был, как почти все американцы, непробиваемый прагматик. Несмотря на все свои миллионы, он, например, никогда — даже в мечтах — не предполагал войти в тот круг финансовой олигархии, которая правит западным миром. Он отлично понимал, что это невозможно, что он никогда не потянет на это, так как знал все тайные механизмы и суть этой олигархии и не смел даже в мыслях на такое претендовать. Но относительная власть и солидный социальный статус, которые связаны с умеренно большими деньгами, — это у него всегда было при себе. Не считая все прочие немалые привилегии: например, даже ему вполне было доступно омолодить себя подходящим жизненным органом, взятым у какого-нибудь экспроприированного мальчика из третьего мира, из Южной Америки например, и связаться по этому поводу с ребятами, которые организуют такие дела для тех, кто принадлежит к миру «выигравших».

И теперь все это рухнуло.

Через два дня после краха Майкл сидел в своем кабинете на

пятьдесят первом этаже в Манхэттене и раздумывал. Собственно, думать о чем-либо, кроме денег, он не был в состоянии никогда, и это был первый случай, когда Майкл думал не о деньгах: он думал о самоубийстве. Все кончено. Без больших денег жизнь не имела смысла. Отчаяние и тайная злоба были слишком велики, чтобы их все время выносить. Майкл был прирожденным оптимистом, он терпеть не мог даже тени страданий.

В углу его кабинета тихо бормотал телевизор. Как из рога изобилия сыпались новости и мелькали глаза, все до странности одинаковые тем, что в них не было даже тени какого-либо выражения. Лица иных манекенов в больших магазинах были чуть-чуть выразительней. Эти до странности одинаковые физиономии энергично-монотонно и без всякой разницы говорили и о марках машин, и о противозачаточных средствах, и о педофилии, и о Боге — все укладывалось в один ряд. Майкл никогда не обращал внимания на эти лица, он фиксировал только факты, относящиеся к его бизнесу. Но теперь и это стало бессмысленным. Социальный статус, власть, блага, которые дают всемогущие деньги, ушли от него. Взгляд его сосредоточился на окне, откуда он решил выпрыгнуть. Этаж пятьдесят первый, значит, шансов остаться в живых не было. (Обычно, падая с такой высоты, умирают до удара о землю.)

Несмотря на то что Майкл не колеблясь решил выбраться сейчас же, ну, минут через шесть-десять, в его мозгу то и дело мелькали данные бизнеса, бесконечные столбцы цифр и комбинаций, и это мешало осуществить решенное. Мысль о чем-либо, кроме денег, все-таки давалась ему с трудом.

Харрис смотрел на часы. Вдруг сознание его полностью освободилось, он вспомнил случай, рассказанный ему знаменитым психоаналитиком Чарльзом Смитом. Этот психоаналитик лечил другого миллионера, который одно время был даже кандидатом в президенты США: то есть, в общем, был человеком иного ранга. Звали кандидата и миллионера Б.У. Он страдал неизлечимой смертельной болезнью и нанял Чарльза Смита, чтобы тот подбодрил его психическое состояние.

Чарльз Смит прикидывал, прикидывал и, так как смерть довольно быстро приближалась (несмотря на миллионы и бывшее кандидатство), решил следующее.

— Б. У., — сказал он своему подопечному, оставшись с ним один на один. — Самое лучшее в вашем положении — это отождествить себя с мухой. Понимаете, чем проще будет существо, с ко-

торым вы себя отождествите перед смертью, тем легче умереть. Соображаете?! Тем более мы, американцы, вообще тяготеем к более простому, даже в сфере теологии. Вам легко будет это сделать. Да, вспомните вашу деятельность, ваши выступления, снимите с них покров человеческой речи, и что получится: жу-жу-жу. Ну, я не считаю там факты, а по внутренней сути вам легко перейти к этому жу-жу-жу. Я, конечно, чуть упрощаю, но ведь сейчас мы все упрощаем, даже Платона и Шекспира. Вот какой метод я вам советую: сидите в кресле, ни о чем не думайте и считайте себя мухой. Причем как можно более искренне и полно. Жу-жу-жу. Вам будет комфортно, и смерть вы встретите без проблем. Жу-жу-жу.

Б.У. тут же согласился. Идея показалась ему блестящей и даже благородной (Б.У. был весьма набожен).

Под наблюдением Чарльза начались сеансы преобразования. Б.У. иногда жаловался на монотонность своего нового существования, но Чарльз изобрел (вот оно, творчество!) новый метод: он велел Б.У. включать телевизор, особенно культурные программы, и, глядя на них, внушать себе свое тождество с мухой. Чарльз считал, что программы так подавляют высшие нервные центры, что у зрителя тождество с мухой или подобными ей существами пойдет эффективней и как-то бодрее.

Б.У. действительно вскоре совсем преобразился в муху, хотя формально вид по-прежнему имел квазичеловеческий, и в конце концов он даже не заметил, что умер.

Всю эту тихую историю и вспомнил Майкл, пока в оцепенении сидел в своем кабинете.

Но что-то в ней ему не нравилось. «Зачем мне становиться мухой, — думал он. — Раз — выпрыгну, и дело с концом. Вечно эти психоаналитики усложняют...»

Майкл уже подошел к окну, как в дверь постучали. Он ответил, вошел сотрудник за бумагой.

— Are you fine?\* — неожиданно спросил тот.

— I am fine\*\*, — широко, во всю мощь своих белых зубов, улыбнулся Майкл.

Сотрудник ушел.

Майкл выпрыгнул.

До того как он умер, в его мозгу вдруг мелькнула мысль: Деньги. Бог. Бог. Деньги.

---

\*С вами все в порядке? (англ.)

\*\*Все хорошо (англ.)

Мгновенно Майкл вспомнил (он где-то слышал об этом), что после смерти должен быть Свет. Он верил в это, Майкл был добрым христианином, правда почти не делал различия между Богом и Деньгами. Смерть его была безболезненна. Майкл умер до удара. И он ожидал увидеть Свет. Но увидел Тьму, точнее, туннель Тьмы, а в конце ее непонятную кругообразную фигуру, мохнатую...

«Ад», — мелькнуло в его сознании.

Но вдруг тьма исчезла, исчезла и дикая фигура в конце.

Вместо этого навстречу душе Майкла — или внутри его души — летела огромная черная Муха. «Жу-жу-жу. Жу-жу-жу», — жужжала она. Душа Майкла с радостью превратилась в эту муху. А в его кабинете остался покрикивать только огромный телевизор, где монотонно мелькали марионеточные личики президентов, лауреатов мировых премий, шефов корпораций и других «выигравших».

# ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Человек я в общем неудачный. И неудача моя состоит в том, что я не стал богом. Да, да, богом, бессмертным, внечеловеческим. Жить мне осталось всего дня два (таков уж научный прогноз), а за сорок восемь часов не выучишься стать богом.

Два дня. А на остальное мне наплевать.

Все кончено.

Сажу я в маленьком ресторанчике в Мюнхене и коротаю это время, все-таки два дня, самые последние, тянутся безумно долго. Ну что ж, потерплю. Заказал я себе салат и три мюнхенских пива. Я люблю мюнхенское пиво, от него веет простотой. (Я и сам, в сущности, прост.)

А с миром — черт с ним. С этим Мюнхеном, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорком и прочей чепухой.

Пусть моя жизнь не удалась (по причине, которую я объяснил), но у этих существ, людей, так сказать, жизни вообще не было. Так что не было даже что выбирать, кроме сосисок, салатов, машин и пива.

Но где-то я их люблю.

Особенно женщин. Все-таки я принадлежу к их роду, то есть роду человеческого. В этом и вся загвоздка. Во всех буддийских писаниях, например, написано, что родиться человеком — это величайшая удача, один раз такое бывает за миллионы бо-

лее низших воплощений — от бесчисленных похотливых насекомых (это, конечно, символика) до демонов, орущих в пустоту.

А я вот не согласен.

И на кой черт нужно это человеческое воплощение, если для девяносто девяти процентов людей оно проходит даром: поспал, поехал, попибался, потрудился и в гроб. Чем это лучше насекомого? Хотя вся современная западная цивилизация на этом и стоит (на физиологии то есть). Впрочем, ну ее к черту, такую цивилизацию, — все равно она скоро издохнет, как крыса, задохнувшаяся от собственного бытия.

К сожалению, теперь меня уже ничто не интересует.

Ибо у меня осталось только два дня.

И за это время я не смогу стать богом. А человеком мне быть противно.

Тем не менее повторяю: я где-то люблю этот поганый род, в котором черт меня угораздил родиться.

Особенно люблю женщин.

Здесь они — в этой пивной — такие странно сентиментальные, почти живые, в отличие от остальных многотысячных жителей этого города.

Или мне в бреде так кажется?

Я уже выпил две кружки этого красивого пива.

Женщина тут сладкая, мягкая, в мясе, с большими грудями.

Что в душе у них — и есть ли вообще у них душа, — я не знаю.

Но некоторые современные западные теологи решительно отмечают это средневековое суеверие о душе и ее бессмертии вообще. Они отмечают и самого Бога, оставаясь при этом профессорами теологии.

Ну, Бог им в помощь. Они делают то, за что им хорошо платят.

Лично мне простые бабы в пивной нравятся гораздо больше, чем эти богословы.

Опять повторяю — то, что мне не удалось стать бессмертным, планетарным божеством хотя бы, это только потому, что я воплотился не там, где хотел, а среди уже деградировавшего человеческого рода.

И пусть древние тексты говорят о человечестве иное — они же имеют в виду других людей и другое время.

Ну-с, с этой комедией покончено.

Я опустил яд в мою последнюю кружку пива и предвкушаю...

Но это поганое, гниющее, смрадное человеческое тело... Я опять-таки приобрел его в связи с рождением в этом человеческом роде — Господи, как он мне надоел. Я тупею при одной мысли о нем.

Кажется, скоро — если Бог даст — я уже не буду принадлежать к нему. Я сделал все необходимое, чтоб хоть после смерти не принадлежать к нему.

И все-таки, и все-таки...

Я гляжу вот сейчас на них, жующих, глядящих, пьющих свое пиво. На их женщин, у которых глаза лучше, чем у мужчин.

Ну и что? Пусть немного лучше. Ну и что? Господи, как они мне надоели, со своими книгами, со своим пивом, со своими религиями... Скажут, что я — духовный эмигрант. Одна моя бабка была русская, из России, другие предки — здешние. Но ведь я родился тут, на Западе. И не знаю Россию. К чему этот разговор? Через час или раньше я стану настоящим эмигрантом. Пора, пора!

И все-таки. Один только раз я был в этой стране, в России. Но мало ли стран на земле — Япония, Италия, Люксембург, Бельгия. Но Россия совсем иная. Она не просто страна. Я почувствовал это, как только приехал туда. Я был там всего одну неделю. Одну неделю посреди десятков лет своей жизни.

Ничего, ничего я там не понял. Ну, люди, ну, города. И вдруг один страшный момент. Я был за городом, в лесу. Природа эта поразила меня своей тоской, но какой-то высшей тоской, словно природа эта была символом далеких и таинственных сил. И вдруг из леса вышла девочка лет четырнадцати. Она была избита, под глазом синяк, немного крови, нога волочилась. Может быть, ее изнасиловали (а такое случается везде) или избили. Но она не испугалась меня — здорового мужчину лет сорока, одного посреди леса. Быстро посмотрев в мою сторону, подошла поближе. И заглянула мне в глаза. Это был взгляд, от которого мое сердце замерло и словно превратилось в комок бесконечной любви, отчаяния и... отрешенности. Она простила меня этим взглядом. Простила за все, что есть бездонно-мерзкого в человеке, за все зло, и ад, и за ее кровь, и эти побои. Она ничего не сказала. И пошла дальше тропинкой, уходящей к горизонту. Она была словно воскрешая Русь.

Я огляделся вокруг. И внезапно ясно почувствовал, что в этой бедной, отрешенной природе, от одного вида которой пронзается душа, в этих домиках и в храме вдалеке, в этой стране таится намек на то, что никогда полностью не понять и что выходит за пределы мира сего...

Ну ладно, с этим конец. Потом, вернувшись на Запад, я завертелся в обычном человеческом колесе: деньги, бессмысленная работа, слабоумный вой по телевидению, алкоголь. Стресс. Где-то в стороне гомосексуализм. Счета. Метро. Стресс. А потом — эта болезнь. Осталось всего два-три дня, я думаю; и так еле двигаюсь. А теперь — здравствуй, пиво с ядом! На этом ставлю точку и пью... Вот и буквы расплываются... Я уже почти не могу писать.

Прощай, нелепый мир!

Семен Ильич, или попросту Сема, как звали его в узкой среде нью-йоркских русских эмигрантов, почти умирал. Впрочем, он уже несколько раз почти умирал; три раза от безработицы, четыре раза потому, что ушла жена, раз пять потому, что не было денег. А деньги в Нью-Йорке, и на Западе вообще, — это, как известно, эквивалент божества.

Следовательно, он умирал из-за отсутствия божества. Он отлично понимал, что такая цивилизация — рано или поздно — обречена.

Но ему было в высшей степени наплевать на судьбу современной цивилизации. Единственное, что его интересовало, — это его собственная судьба. Какое дело ему, в конце концов, до этого проклятого мира, проклятие которому давно произнесено ясно и свыше.

Он ко всему этому не имел отношения.

...Семен Ильич жил в какой-то труппной комнатке в районе для бедных в Нью-Йорке.

Как и почему он продолжал существовать? Это для него было совершенно неясно, более того, абсолютно не интересовало. Он существует и продолжает существовать — а почему, одному Богу известно.

В его труппной комнатке почти не было мебели, если не

считать мебелью два-три ободранных сумасшедшими котами стула. На самом деле вовсе не сумасшедшие коты драли их: в его странную квартиру заходили и правда сумасшедшие, но люди обездоленные, так называемые проигравшие.

Согласно официальной точке зрения этого общества, все люди в нем разделялись на «выигравших» и «проигравших».

Действительно, его стол и стулья уносили так называемые проигравшие. На то они и проигравшие, нищие, презираемые. Но, как ни странно, сам Семен Ильич не считал себя проигравшим.

Посредине комнаты висело огромное черное зеркало.

В этом черном зеркале, в котором ничего не отражалось, он видел свою судьбу. Ту судьбу, что интересовала его больше всего.

Ему было страшно. Неужели его судьба сконцентрировалась в одной точке и суть той черной точки заключается в абсолютной неразгаданности? Ибо он ничего не видел в черном зеркале своей судьбы.

Он чувствовал только свою связь с Эдгаром По и с мейстером Экхартом.

«Кто я?! Кто я?! Кто я?!» — вопил Семен Ильич посреди черного нью-йоркского неба с сатанинскими знаками вместо звезд. Кровавое нью-йоркское зарево на горизонте погружало все в низше-человеческий закон. «Я хочу познать только одно: кто есть я?» — кричал Семен Ильич в черное зеркало, а черное зеркало не отвечало ему. В нем он не видел своего отражения — скорее, последней тайны, которую он надеялся увидеть на дне своей высшей тени.

«Да, именно когда я увижу в нем — в черном зеркале — что-нибудь разгадочное, и только тогда я пойму, почему я воплотился в этом дегенеративном мире, в котором лучше вообще не воплощаться, — думал Семен Ильич. — Вот когда появится в черном зеркале мое отражение, точнее, моя тайная суть, — тогда я пойму, почему я проклят — иными словами, почему я воплощен».

Потом мой герой переходил на шепот — но шептал он самому себе.

«А вы знаете, — шептал он, — как умирают старушки — смех смехом. А я, будучи в провинции, видел, как одну раздавили, собственно, она раздавилась сама, просто легла под местную электричку, в центре западного мира. И вы думаете, от траге-

дии, мол, дети покинули или там восьмидесятилетняя лесбиянка отказала? Как бы не так! Просто от скуки положила она седую голову под колесо — именно от скуки, чтоб получить хоть какое-нибудь реальное развлечение: чем не развлечение, действительно, быть без головы?

Ибо скука — это суть современной цивилизации, ибо если нет Бога внутри, то что остается? Одна скука и ничтожество. Вроде как у той старушки.

Но я-то, я-то, Семен Ильич, я вам не старушка какая-нибудь западная. Как бы не так. Ну, положил семидесятилетний цивилизованный человек голову под колесо, ну, очутилась она в аду на неопределенно вечные времена. Ну и что? Таких мух — видимо-невидимо.

И стоит ли проклинать этот мир, который и так проклят (как известно) самим Творцом. А что значит человеческое проклятие по сравнению с Божьим?

Увы, никаких даже сравнений на этот счет не может быть. Но мне, я повторяю, плевать на все. В том числе и на проклятие по отношению к себе. Меня интересует только моя собственная суть. Кто я? Кем я буду после смерти? Кто встретит меня там? Кто придет и поцелует мой труп? Мне кажется, что в черном зеркале, которое пока хранит вечное молчание, заключен ответ!»

И Семен Ильич прекращал шептать самому себе. Кругом были только одни крысы — их было много, уютных, в его нью-йоркской каморке.

Не получив ответа в черном зеркале, Семен Ильич запивал на несколько дней.

Он жил в кошмарных нью-йоркских пивных, где не было даже пьяных, ибо все не замечали собственного небытия.

Семен Ильич и сам не мог уловить их существования.

Он просто пил несколько дней, ни на кого не обращая внимания. Пил, отражаясь в кружке своего пива. Он пил собственное отражение. И где-то был счастлив этим.

И наконец, свершилось.

Пять дней он пил, десять дней отдыхал. Однажды после десяти дней отдыха пришел в свою комнату, один — он всегда был один, хотя вокруг были люди. Зажег свет, подошел к зеркалу... И вдруг отпрянул. Тьма отошла, исчезла. Он явственно увидел бесконечную чистоту своего зеркала и какую-то странную картину в ней, а не чье-либо отражение. Это был убийственно-бездонный странный пейзаж, такого в окружающей реальности вовсе

не существовало. Неужели зеркало может отражать то, чего не существует? Немыслимая картина привиделась ему!

Зиял жуткий провал, словно в иное пространство, средневековый пейзаж с мистическими деревьями и замками, а посреди существа, все время изменяющиеся, точно у них не было определенной формы. Может, и люди — но какие! Неужели люди могут походить на не людей?! Они казались существами многоглавыми, многорукими, и формы их были подвижные. Все это «человечество» и текло мутным вихрем посреди божественно-средневековых замков и гор...

Семен Ильич присел на стул. «Все кончено, — подумал он. — Кончена и моя жизнь на Родине, и эта эмигрантская жизнь — все кончено. Теперь можно спокойно запить, лечь в гроб или в сумасшедший дом — все равно — или устроиться на работу учителем».

Между тем картина в зеркале изменилась: на передний план выдвинулся огромный человек с двумя головами. Одно ухо — из четырех — висело совсем по-собачьи. Но выражение всех глаз было добродушным, хотя и чуть-чуть беспокойным.

Казалось, человек не понимал, почему Семен Ильич смотрит на него с недоумением.

Семен Ильич оглянулся: может быть, где-нибудь позади него, в каком-нибудь скрытом углу притаилось это четырехухое существо, отраженное в зеркале. Но в комнате никого не было.

Когда Семен Ильич, оглядевшись, вернулся в прежнее положение и взглянул в зеркало, то никого там не увидел, а четырехглавый сидел уже около него на стуле в полном ошеломлении и задумчивости. Точно он вышел из зеркала, оставив там тем не менее свой след. Семен Ильич завыл. Он и раньше любил выть: от тоски, от одиночества, от всемирной обреченности. Но теперь он завыл, чтобы заглушить в себе любовь к потустороннему.

Двухносы́й высморкался и стал осторожно поглядывать на воющего Семена Ильича. В глазах его появились четыре разных выражения. Одна рука потянулась к чаю.

Говорил он, наверное, телепатически или на ангельском языке, во всяком случае, в уме Семена Ильича просто возникал вопрос, как бы задаваемый постороннею силою, и он на него отвечал или силился отвечать. Первый вопрос: «Что вы воете?» В ответ Семен Ильич замолчал, и рука его тоже потянулась к чаю.

— Кто вы? — был следующий вопрос, заданный Семену Ильичу.

Этот вопрос вдруг взбесил его. Ему захотелось швырнуть в незнакомца чайник.

— А кто вы? А кто вы? Черт возьми!!! Кто? Кто? Кто? — закричал он, брызжа слюной и устремив взгляд на четырехшекого.

— Кто я? — прозвучал ответ в уме Семена Ильича. — Такой же, как вы. Сами-то вы лучше ответьте, почему у вас одна голова?

— Почему, почему!!! — заорал Семен Ильич. — Такой уж родился, извините...

— Извинять не буду. Тогда не надо было рождаться, милейший, раз у вас одна голова. Вот у меня, например, одну голову можно отрезать, а другая все равно останется. Потом и третья вырастет... На мне, дорогой, головы могут расти. И уши.

И двухголовый обмакнул одно ухо в блюдце с чаем.

— А все другое расти не может, — гавкая, пробормотал он.

Семен Ильич уже не понимал, где раздается чуждый голос: вовне или внутри.

— Обделенный вы, милейший, обделенный. Скажу вам прямо: совсем вы с вашей одной головой захиреете... На черта вам все это нужно. Рождайтесь во многих формах. Крикун!

И «отражение» потянулось схватить Семена Ильича за ушко. Один его глаз смотрел в небо, два других устремились на Семена Ильича, а третий, казалось, глядел в ад.

Семен Ильич упал. И спасительно потерял сознание.

Когда пришел в себя, лицо болело, ему показалось, что где-то у него сбоку, на плече, невидимо пытается вырасти вторая голова, шумливая и беспредметная.

Дня три он был в полуобмороке. Все-таки ходил в библиотеку, по привычке просил милостыню (хотя никто не подавал), пугался небоскребов. Две ночи читал «Божественную комедию».

А потом стал хохотать. Собственная форма тела показалась ему на редкость смешной и нелепой. Особенно смешило наличие только одной головы.

Тьмы в зеркале уже не было, но не существовало и пугающего многообразия форм.

Зеркало стало как зеркало.

Теперь Семен Ильич ясно видел собственное отражение. Но отсутствие второй головы доводило его до отчаянного хохота. Только один язык, всего два глаза, один нос. Было над чем хохотать!

«К тому же, — думал он в черном, как подвал забытого ада,

ню-йоркском метро, — одну голову действительно отрубят — и все. А если две головы: как приятно! Две не сразу отрубишь, — пугливо бормотал он в себя, всматриваясь в дикие фигуры полувооруженных пассажиров. — А там, глядишь, и третья вырастет».

Прошло еще два дня, и он вернулся как-то к себе домой совершенно обескураженный отсутствием второй головы. Призадумался. Попил чайку. Пока его не было, в квартирку к нему, видимо, заходили уголовнички — и вынесли шкаф.

Но зеркало осталось неизменным.

И вдруг Семен Ильич опять увидел там нечто. Сердце его забилось. Не было свечей, не было заклинаний — все было так просто. Только сгушались черно-синие тени в зеркале.

И потом оттуда выскочил слабоумный.

Да, да, но двух голов не было, и форму он имел, с точки зрения Семена Ильича, необычную, то есть одну голову.

Но дело было отнюдь не в форме, а в душе. Это сразу чувствовалось: существо явно слабоумное. У Семена Ильича сначала даже полегчало на душе.

Ох, и парень это был! То верещал, то трепался о выборах, о политике, без остановки, без умолку, вынимал пачки долларов, смеялся, целовал их, плакал, разглядывая каждую пачку, а потом опустился перед ними на колени. Звали его Джон. Пиджак был куплен на Бродвее. Вид у него был крайне обычный, как у всех. Единственное, чему он поклонялся, — это доллары. Больше во всем мире он ничего не признавал, даже не верил в существование чего-то иного на Земле. Эдакий был монотеист.

Проговорил он с Семеном Ильичом целых четыре часа, не умолкая, хлопал его по плечу, скалил белые зубы и все время спрашивал:

— How are you?\*

Семен Ильич только собирался ему ответить, как он себя чувствует, но Джон опять заверещал о выборах, о делах, о времени — его, как всегда, нет, — и не в последнюю очередь о деньгах, о том, что деньги походят на мед.

А потом снова спрашивал:

— How are you?

И, не ожидая ответа, осматривал пространство пустыми глазами. Потом вдруг взглядывал на «Нью-Йорк таймс», лежащую на столе.

\*Как поживаете? (англ.)

Впрочем, иногда на Джона нападали приступы странного оцепенения, он неожиданно замолкал, сидел не двигаясь, и взгляд его устремлялся в одну точку.

Сначала Семен Ильич не понимал, в чем дело, но потом, когда Джон опять оцепенел как-то по-вечному, надолго, Семена Ильича осенило: Джон-то ведь умер. То есть не то чтобы умер безвозвратно, а просто на некоторое время, уходя своею простою душою в ад.

Таким и созерцал его Семен Ильич.

Но на этот раз действительно было нехорошо: Джон так оцепенел, что не стал походить сам на себя, элементарные черты его изменились, приобрели inferнальный вид, даже доинфернальный, если можно так выразиться.

Потом вдруг стал шептать. Обычное бессмысленное выражение на его лице исчезло, и появилось нечто тревожное и почти сознательное. А в глазах застыл непонятный ужас — какой бывает у повешенных, наверное.

Семен Ильич попытался его разговорить, принес чайку, но Джон не подавал признаков оживления.

Наконец он вышел из этой зоны смерти и опять стал прежним Джоном: улыбающимся, с пачками долларов, хлопающим по плечу и неизменно спрашивающим:

— How are you?

Семена Ильича стошнило от его существования. И, забыв все приличия, настолько банален был Джон, он вытолкнул его за дверь. Странно, что Джон вполне спокойно спустился с лестницы, а не возвратился в зеркало, откуда он якобы вышел. Зеркало, напротив, было на этот раз вполне нормально; отражало все, что положено, а Джона Семен Ильич увидел в окно: он быстро смешался на улице с толпой ему подобных.

Виденье Джона как-то успокоило Семена Ильича.

Последующие дни прошли довольно обыкновенно. Семен Ильич как будто вошел в строй этой призрачной жизни.

Но шок приближался. Он почувствовал его дня за два. Но все произошло внезапно и уже по-иному... Тени в зеркале сгущались, мелькали, исчезали, опять возникали с какой-то злоеющей настойчивостью. Истомленный ожиданием, Семен Ильич уснул.

А когда проснулся, в комнате творилось черт знает что. Из зеркала, которое стало получерным, как будто высовыва-

лись потусторонние щупальца, из его великой глубины раздавался хохот, оттуда все время кто-то вываливался, темный и бесформенный, тут же растворяясь в воздухе, и... хохот, хохот, хохот.

Точно невидимый мир теперь отражался в этом зеркальном пространстве, выходя из него в наш мир.

Семен Ильич сам стал хохотать от ужаса, приподнявшись на подушке. В постель к нему сыпались какие-то твари, полуосозаемые, норовили лизнуть...

Жажда сумасшедших ласк обьяла его...

Потом на стул сел такой темный и огромный, что Семен Ильич присмирел. Глаза его смотрели в упор на Семена Ильича, выражая абсолютно-непонятное. Кот, каким-то чудом оказавшийся в комнате, дико визжал, будто превратился в свинью, и метался из одного угла в другой, нигде не отражаясь. Голова у огромного кота вдруг отвалилась, и на ее месте появилось сияние: жуткое и безличное. Кот почти заплясал, завертелся в поле этого сияния. Качалась лампа, два беса целовали друг друга на стене.

Поток времен выливался из зеркала, словно океан крови, в которой купались планеты, города, страны и люди. И вокруг этой гибели и оазисов рая в ней кружились и безумно хохотали какие-то юркие существа и бурно аплодировали всему мирозданию.

Мухи то и дело залетали в рот Семену Ильичу. В углу выла труп его сестры, погибшей под поездом, протягивая Семену Ильичу свои желтые руки.

На столе оказался козел с плакатом.

— Кто я?! Кто я?! Кто я?! — кричал Семен Ильич на своей постели.

И вечный луч абсолютно-непонятного был направлен на него, задающего такой роковой вопрос.

Прихлопывал ладошками черт — но черт из других метасистем.

И вдруг Семен Ильич понял.

И как только это случилось, все таинственно исчезло.

Объективный бред, навязываемый Вселенной, приутих, как будто Вселенная зависела от его сознания. Но комната казалась обычной, и зеркало стояло неизменно: но оно уже было, как вначале, абсолютно черно, и эта тьма, ведущая в бездну, была непроницаема, как смерть всего существующего.

Семен Ильич тихо встал и опустился на колени перед черным зеркалом. Он познал, что напрасны его искания, направленные вовне.

Что сущность его глубинного «Я» так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в за-абсолютное, невидимая глубина этого зеркала — лишь проекция его собственного «Я».

Познав все это до конца, Семен Ильич заплакал — один, перед зеркалом.

Потом встал уже совершенно иным существом, может быть навеки успокоенным, только промелькнула улыбка, которая была выше всего земного и всего небесного.

И поскольку Нью-Йорк и тому подобное потеряло для него всякое значение, больше его там никто не видел.

Коля Гуляев ничем особым не был наделен; все было в меру — и красота, и ум, и глупость, и отношение к смерти. По жизни он шел тихо, как по болоту, и взгляд его глаз был тоскливо-неопределенный, точно все ожидалось впереди — там где-то, после смерти или даже после многих смертей. Жизнь он любил, но как-то осторожно: мол, ну ее, жизнь-то, как бы еще не пристукнули. И даже тайна, наверное, в нем присутствовала где-то глубинно-внутри, и он часто забывал поэтому, что у него есть тайна.

Домашних у него не было, кроме лягушки, жившей на кухне, невероятно просыревшей. Гуляев и сам по себе просырал и во сне удивлялся не раз, почему по его ногам не ходят ночью лягушки.

Кроме лягушки, с которой он любил молчать, был у него еще друг закадычный, по школьным годам, Никита Темнов.

Школьные годы для них давно миновали, прошли и студенческие с их боевыми песнями. Друзья женились, развелись, и шел им тридцатый год, точнее, Никите тридцать первый, а Коле двадцать девятый. Со временем жизнь становилась все обыкновенней и обыкновенней, точно ее уже не было. Спеты были песни, увидены моря-окияны, не мешал даже ежедневный монотонный труд. А когда-то Никита любил дождливые дни.

— Ну его, солнце-то, — говаривал он в студенческие годы. — И чего светит без толку! Как ни крути, а при свете всего никогда не узнаешь. Чего в нем хорошего, в свете-то?

Вскоре ему и это стало безразлично: что дождливый день, что солнечный. Но от здравого смысла друзья тем не менее никогда не отказывались. Наоборот, именно здравый смысл заволок весь горизонт их бытия. Активно работали, лечились (словно можно вылечиться, но лечились все-таки с целью), и вообще всяких задач было много.

— Всего нам никогда не достигнуть, — объяснял Никита Колюшке своему.

Жизнь, словом, длилась равномерно и как-то непоколебимо.

Собрались они однажды в пригород, к друзьям. Шли небольшим лесом, даже не лесом, а так, не поймешь что: где-то полянка, где-то поле, а где-то и лес.

Никита и говорит своему Колюшке:

— Старик, я пойду за деревья отолю, а ты подожди малость.

Коля и пошел себе тихонько, еле-еле вперед, думая: отлить — дело небольшое. Прошло минуты две-три. Коля обернулся: никого нет. Пусто.

«Что ж он такой странный, — подумал Николай. — Пойду к дереву».

Подошел к дереву. Никого. Пустота.

Густой лес вроде далеко, кругом поляны, а пусто. Нету Никиты — и все.

Николай — туда-сюда — забегал между деревьями. От одного пня к другому, от другого пня к третьему. Запутался. Упал. Встал и кричит:

— Никита. Никита!!!

Нет ответа. И тихо к тому же.

— Господи, три минуты прошло, я ж его уголком глаз видел, где же он?

Ходил, ходил вокруг Николай, кричал, а потом как испугался — и побежал. Бежал, бежал как сумасшедший, почти два километра пробежал, до полугородка, полудеревни. И тогда подумал: «Чего я испугался-то, дурак. Знаю я этого своего Никиту: шутник большой. Наверное, подшутить надо мной захотел. И убежал так, что я и не заметил. Он ведь, собака, прыткий. Тоже мне, друг называется. Мирно шли выпивать к девкам, а он вот сбежал. Но вдруг его убили? А где же труп? Без трупа не убивают».

И пошел себе Николай рядом со своей тенью к станции. В кон-

це концов даже повеселел. На следующий день позвонил Никите.

Подошла мамаша и крикнула, что Никита на ночь не приходил, наверное пьянствует. Николай похолодел. «Какое пьянствует, — подумал, — что-то здесь не то...»

Не пришел Никита и на другой день, и на следующий, и вообще не пришел. Николай остолбенел. «Во те на... — подумал. — Пошел отлить за дерево, и глядь — нет человека».

Вызвали милицию.

Следователь — въедливый, аккуратный старичок — вспылал: не врите только! Николай все чистосердечно рассказал.

— Дерево-то далеко от вас было? — строго спросил следователь.

— Ну как далеко, — развел руками Николай, — метров пятьдесят.

— А за деревом — что?

— А за деревом — ничего.

— Как ничего? Кусты, лес далеко?

— Минут десять — и то не добежишь.

— А вы когда оглянулись?

— Минуты через две.

— Врете.

— Почему же я вру? — озадачился Николай.

— Да куда ж он тогда делся? — рассвирепел следователь. — Весь лес вокруг обыскали. И трупа нет.

— Может, его без трупа убили? — задумчиво проскулил Николай.

— Знаете, не хулиганьте, — ответил следователь. — Идите. А если найдем улику против вас — смотрите.

Но ни трупа, ни Никиты нигде не было. Так прошло месяца три. Мамаша Никиты умерла. Грустью повеяло от всего этого. Николай во время похорон шел около тела.

— Какой гроб тяжелый, — задумчиво пробормотал он своей сестре Кате. — А Никита-то вот оказался легкий, как пушинку сдуло.

— Бандиты его увели — какая тут легкость, — ответила ему сестра.

— Эту версию следствие отвергло, — заключил Николай и про себя тихонько запел. Он любил петь про себя, когда все идет шиворот-навыворот.

— Хороший был твой друг Никита, — сказала сестра. — Я за него замуж мечтала выйти. А что? Были бы сейчас вдвоем, в постели, а его сдуло. Так и веру во все потеряешь.

— Смотри, веру во все не теряй, — опасливо возразил Николай. — А то и тебя сдует.

— А Никита что, верил во все? — осторожно спросила Катя, робко поглядывая на брата. — Верил, что все это вокруг, — и она сделала широкий жест рукой, охватывая, казалось, весь мир, — не чепуха?

— Нет, что ты! Что ты! — испугался Николай. — Он был уверенный. Это я точно знаю. Верил, что вокруг — не чепуха.

Они тоскливо отошли потом от свежей могилы.

— Смоемся, что ли, Катя, — шепнул Николай. — Чего зря сквозь землю глядеть! И без этого душу надорвали.

— Пошли, — оглядевшись, сказала Катя.

И они исчезли за деревьями, направляясь к дыре в кладбищенской ограде, откуда рукой подать до пивной.

— Ты вот мне скажи, что ты тут молола о Никите, о замужестве на ем? — спросил Николай.

— Если серьезно — влюблена я была в него, Коля, — проскулила сестра. — Сердце так и таяло, и весь ум был им полон.

— Что же ты мне-то не открылась? Сестра называется. Влюбилась в моего друга — и молчок!

— Страшно мне было как-то, Коль, — продолжала Катя. — Я ведь и ему ничего не говорила. Молчала. Тянуло меня только к нему, как на звезду. Скажи, а он был хороший человек?

— Почему нет. У нас все хорошие. Только почему «был». Труп-то его не нашли.

— Мало ли, — ответила Катя. — Любила я его — и все...

— А что ж не ревела?

— А чего ж зря реветь-то. Я ж не медведь все-таки. Только камень был на сердце и еще блаженство, что, думаю, все-таки увижу его когда-нибудь.

Брат и сестрица нырнули в дыру. Постояли, подумали около пивной и выпили четыре кружки пивка. Потом выпили еще. Привязался к ним инвалид.

— Откуда вы такие? — все спрашивал. — Поди муж с женою — очень друг на друга похожи.

— С похорон мы, дядя, с похорон, — сурово отвечал Николай.

— С похорон? — недоверчиво, косясь, спросил инвалид, почти окунув голову в бидон с пивом. — А чего ж пьете? С тоски?

— От тоски и от веселия, — поправил Николай.

— А отчего веселие?

— А оттого, что нету смерти, нету ее — вот от этого-то и веселие.

— Смерти нету? — удивился инвалид. — Ишь куда хватили. Вам за это надо орден дать, хотя женщинам и не положено... Чудаки, ведь ежели смерти нет, то что тогда есть-то? Тогда вообще ничего нет. Даже этого пива. А смерть-то, она, милые мои, жизнь красит. Зря вы так против ее... бунтуете... — И инвалид опять опустил голову в свой бидон с пивом. Потом выглянул с пивной пеной у рта и проговорил: — Я вам не Стенька Разин, чтоб против смерти бунтовать.

Николай с Катей ушли.

И потянулись годы. Не так уж и много их прошло (но Катя успела выйти замуж, развестись, и все за какие-то два-три года), а Николай посуровел и к жизни относился с битьем. «Побить ее надо — жизнь эту», — не раз приговаривал он. За здравый смысл он держался все реже и реже. Сосед его по квартире умер — от кашля. Николай все больше и больше привязывался к своей сестре, потому что секс ему уже надоел. Искал чистых, незаинтересованных отношений.

Однажды он сидел с сестрой у нее на кухоньке за бутылкой.

— Ты мне скажи, Катюнь, — спросил он, — почему ты так легко развелась со своим мужем?

— Да я ведь, Коля, как ты знаешь, за последние годы не с ним одним развелась, а до него с двумя любовниками тоже.

— И что так? Скучаешь?

— По Никите твоему скучаю — вот что, — резко ответила Катя, — не выходит из головы, окаянный. Хоть к ведьме иди, чтоб расколдовала... Ах, что я! С годами он все мне родней и родней, хотя его нигде нету.

— Знаю, — угрюмо проговорил Николай. — А мне вот с тобой хорошо. Буквальное бабье надоело, хищные очень, требуют многого. Есть у меня родной человек, это ты, хоть одна, а верная — всегда и при всех обстоятельствах, какой бы я ни был, хоть последней сволочью. И нежная ты к тому же.

— Ну это другой разговор, — вздохнула Катя. — Я твоя сестра, а не кто-нибудь, и мне от тебя ничего не надо, только бы ты был и жил всегда. И даже после смерти.

— И мне то же самое. Выпьем.

И они чокнулись.

— А всех баб ты все-таки не хай, Коля, — выпив, проговорила Катя. — Разные они. Не вали всех в одну кучу. Просто не повезло тебе.

— А кому повезло? Единицам.

— Ну не скажи.

— Да черт с ними. Давай стихи читать. Про чертей. Федора Сологуба.

— Это я люблю, — согласилась Катя. — Потому что ты его любишь. Через тебя и я.

И они читали стихи до полуночи.

Под конец Николай попытался развеять Катин дурман относительно Никиты.

— Пойми, Кать, — сказал он задумчиво. — Ушел он. Ушел и не пришел. Чего ж такого любить?

— Тянет меня, и все. Забыть не могу. Есть в нем какая-то изюминка для меня. А в чем дело, не пойму. Чем дальше, тем все больше тянет и тянет.

— Ладно, пойдем спать. Утро ночи мудренее. Доставай мне раскладушку.

На следующее утро — было оно субботним — они долго-долго спали, устав от водки, стихов и отсутствия Никиты, о котором Коля стал порядком забывать, но из-за сестры снова вспомнил.

Прошла еще неделя, под субботу Катенька забежала вечером к своему братцу, в его однокомнатную квартиру, — немного прибраться в ней, холостяцкой, потому что всегда жалела Колю.

Пили только чай, но крепкий. Вдруг в дверь постучали. Стук был какой-то нехороший, не наш. Коля, однако ж, довольно бодро, не спрашивая, распахнул дверь. Перед ним стоял Никита. Брат и сестра оцепенели. Никита был немного помят, в том же пиджаке, в котором исчез, но лицо обросло, и взгляд был совершенно непонятный.

— Откуда ты, Никит? — пробормотал наконец Коля.

— Издалека, — прозвучал односложный ответ. — Принимаешь?

— Проходи.

У Кати из горла вырвался крик ужаса.

Никита медленно вошел в квартиру. Это был он и в то же время уже не он. Что-то тяжелое, бесконечно тяжелое было в его глазах. И еще было то, что нельзя выразить.

— А все думали, что ты умер, Никита, — засуетился Коля. — А ты вон жив.

Катя еще не произнесла ни слова.

— На кухню все, к чаю! К чаю! — продолжал балаболить ведомый вдруг охватившим его полустрахом Николай. — Садись,

Никит. Расскажи по порядку, что случилось, что с тобой произошло. Ведь ты был, а потом я тебя не видел.

— Хи, хи, хи! — вдруг неожиданно для самой себя захихикала Катя и была поражена этим.

Никита тем не менее ни на что не обращал внимания. Коля предложил ему стул. Никита медленно, по-медвежьи, сел.

— Может, споем? — предложил Николай и сам удивился своим словам.

Никита как-то грубо схватил заварочный чайник и стал наливать себе. Катя остолбенело смотрела на его движения. Да, это был Никита, немного обросший, но Никита. Ее вдруг охватило давнее волнение — желание слиться, вобрать в себя Никиту.

Но чем больше она вглядывалась в него, тем больше совсем другое состояние охватывало ее. От избранника веяло полярным холодом, но был этот холод не наш, а далекий, всеохватывающий и беспощадный. Ничего человеческого не было в этом холоде, исходящем от самого лица Никиты, от провала его глаз и от самой души. Глаза особенно были нечеловечьи, словно прорублены потусторонним чудовищем. И сама Катенька, ее тело стало леденеть — ее желание вобрать в себя Никиту, зацеловать исчезло, как сонный бред, как детская пушинка. Ей теперь трудно было даже смотреть на Никиту, не только ощущать его всеми нервами тела.

Между тем Никита сурово пил чай. Коля, стоявший около него наподобие лакея, все время бормотал:

— Отколь ты, Никит, отколь?

— Я сказал, издалека.

— Не убили тебя? — спросила Катя осторожно, глядя на его нос.

— Нет, не убили.

— Может, кто обидел тебя? — вырвалось у Кати, словно ее язык уже не принадлежал ей. Никита, кажется, даже не понял вопроса.

— О чем ты говоришь, Катя, — взбесился вдруг Николай, — дай человеку прийти в себя, четыре года человека не было.

— Ты что?! — вспыхнула Катя. — Ведь где-то он был!

— Нигде я не был, — твердо, с каким-то металлом в голосе ответил Никита.

Он взглянул на портрет Буденного на стене и зевнул.

Николай сел.

— Как это понять, Никита, — чуть-чуть резко спросил Николай. К нему медленно возвращалось обычное сознание. — «Нигде

не был!»! Что ты хочешь этим сказать? Тебя искала милиция, был объявлен розыск. И безрезультатно. Тебя украли, ограбили, заключили в секретную тюрьму?

— Ну хватит, — грубо оборвал Никита. — О каких ты все пустяках мелешь. Дай-ка сахарку...

Воцарилось напряженное молчание.

Потом Николай, подумав, спросил:

— Может, ты имеешь в виду, что там, где ты был, туда почти никому нет доступа?

Никита не отвечал, взгляд его уперся в стенку, как будто стенка была живым существом. Потом он медленным взглядом обвел окружающих, словно погрузив их в полунебытие.

И все же Николай снова спросил, уже взвизгнув:

— Ты знаешь, я читал в западных изданиях, что бывают внезапные и необъяснимые перемещения людей, мгновенные, из одной точки земли в другую, отдаленную на тысячи и больше километров. Расстояние наше тут не играет роли. Так были перемещены даже целые корабли с людьми. Но с сознанием этих людей что-то происходило тогда, они сходили с ума...

Никита пренебрежительно махнул рукой.

— О пустяках все говоришь, друг, — глухо, словно с дальнего расстояния, проговорил он. — О пустяках.

— Я, Никита, умереть хочу, — вдруг высказалась Катя. — И тебя поцеловать перед смертью.

Никита словно не слышал ее.

— Жить, жить хочу! — закричал Николай и резко смолк.

— Думаешь, я не хочу, Коля? — обратилась к нему сестра. — Но не так, как жили раньше.

— По-другому мы не умеем, — возразил Николай.

— А меня на шкаф тянет, — и Катя обратила свой пристальный взгляд на пыльный шкаф, стоящий в прихожей. — Наверх, вскочить на него или влезть на люстру, ту большую, что в комнате. И вниз посмотреть или запеть и раскачиваться.

— В муху я тогда воплощусь, в отместку, вот что, — заключил Николай.

— Почему в муху, — обиделась Катя. — Я мухой не хочу быть, а ведь должна буду — за тобой. Ты в одну утробу, и я в ту же... Ты в другую, и я в нее же. Поскачем давай по миру.

Николай дико захохотал.

Катя хлебнула чай прямо из горлышка заварочного чайника.

— Телевизор надо включить, Коля, — сказала она, отпив.

— Чай хорош, — угрюмо сказал Никита, — а туалет-то у вас где?

Коля показал направление. Никита встал и зашел в туалет, хлопнув дверью. Воцарилось молчание. Лица брата и сестры постепенно опять приняли нормальный вид. Катя нарезала белый хлеб и сделала бутерброд.

— Что-то его долго нет? — тревожно спросил у сестры Николай, когда прошло четверть часа.

— Может, много чаю выпил. Ишь как дул, — тихо промолвила Катя.

Но Никита все не выходил и не выходил.

— Это уже становится интересным, — нервно сказал Николай. — Что он там делает?..

— Пойдем постучим ему.

Они подошли к двери. Постучали. Дернули — туалет заперт изнутри. Но ответом было молчание.

— Что он там, умер, что ли? — И, разъярившись, Николай с бешеной силой рванул дверь. Раздался треск, дверь распахнулась. Они заглянули. Внутри никого не было. Кругом тихо.

Катя дико закричала.

— Где же, где он?! — заорал Николай и стал бегать по всей квартире взад и вперед, опрокидывая стулья. В квартире было отсутствие. Катя, красная от ужаса, подошла к брату и крикнула ему в лицо:

— Как жить-то теперь будем, как жить?!

Андрей Павлович Куренков — монстр. Одна нога у него короче другой (третья еще не выросла), на руках всего семь пальцев, а не десять, как положено по творению, нижняя губа отсутствовала, уши пугали своей величиной, глаза страшные. Не было в них любви к людям, и вообще ничего не было, если не считать выражения бездонного отсутствия. Да и то это выражение казалось обманчивым.

Жил он один, в Москве, в коммунальной квартире. И никаких родственников — ни матери, ни отца, ни жены, ни сестры. Лет ему было под сорок. Соседи по коммуналке терпели его с момента въезда уже семь лет и поначалу очень пугались.

Старушка Ведьма Петровна (так уж ее звали по простоте душевной) не раз кричала на Андриюшу в кухне, стуча кастрюлей по раковине:

— Страшен ты, сосед, ох как страшен... А ну-ка посмотри на меня, — и она отскакивала с кастрюлей в угол кухни. — Если бы не уши, как у слона в зоопарке, было б терпимо... Женихом был бы тогда, — добавляла она обычно.

Как-то, года через полтора после его появления в квартире, Ведьма Петровна позвала Андриюшу к себе в комнатушку — жила она одна. На столе стоял чай вприкуску.

— Присаживайся, соседусько, — умильно лягнула Ведьма Петровна.

А надо сказать, что еще одной особенностью Андрея было то, что он почти не говорил, иногда мычал, а иногда если скажет, то что-то такое уж совсем непонятное.

Но за стол он сел и начал пить чаек, поглядывая своими странными глазами на Ведьму Петровну.

— Андрюшка, — начала Ведьма Петровна, надев почему-то очки. — Вот что я тебе скажу. Уши уже тебе не отрежешь, да и я не мастерица людям уши резать. Бог с тобою, живи так. Я на все согласная. Мое предложение: возьми меня в жены, выйти замуж за тебя хочу.

И Ведьма Петровна покраснела.

Андрюша, однако, никак не реагировал, все молчал и молчал. Наконец старушонка даже взвизгнула:

— Замуж за тебя хочу!

Андрюша повел ушами, и в глазах его появилась мысль.

— Я мамке дал зарок не жениться, — произнес он.

— Да мамка-то твоя давно в могиле! — прикрикнула Ведьма Петровна. — Ей теперь все по хрену. А мы с тобой кататься на лодках будем, в кино ходить вместе, в театр... Чем плохо?

— Убей меня, но не пойду, — упрямо выговорил Андрюша.

— Экой ты предрассудительный, — расвиrepела Ведьма Петровна. — Тебе, дураку, хорошую партию предлагают, по старинке говоря. Чем нам вдвоем плохо будет? Я старушка девственная, если не считать того, что с чертями во сне спала... Ну это со всеми девками бывает.

— С чертями хочу, а с тобой — нет, — громко сказал Андрюша, как отрезал.

Ведьма Петровна завелась. Встала, начала бегать вокруг стола как чумная.

— Да ты что, да что ты, Андрей, — скулила она. — Нешто я хуже чертей?! Посмотри на меня внимательно. Лет мне всего семьдесят пять, груди еще сохранились, — и она горделиво выпятилась перед сидящим на стуле монстром.

Монстр на этот раз тупо взглянул на нее.

— К мамке хочу, — сказал он, осторожно оглянувшись. — Где моя мамка?

— Да в могиле же, в могиле, в сырой и глубокой. Ты что, туда хочешь?!

— Туда, — кивнул Андрюша.

— Ох, дурачок ты мой, дурачок! Нешто могила вкуснее по-

стельки, даже со старушкой... Помысли. Подумай. Что лучше? А сейчас брысь, иди к себе, а мое предложение обдумай.

Андрюша встал.

— У мамки рука только одна была. Другой не было. Потому и в могилку к ней хочу. Жалко ее...

Ведьма Петровна захихикала:

— Ишь ты, жалостливый какой. А страх на всех нагоняешь. Хоть бы губу тебе вставили доктора да уши укоротили, а с ногами и руками черт с ними, у других ума нет, не то что рук. Иди.

Андрюша послушно вышел.

На следующий день Ведьма Петровна сама вбежала в его комнатушку.

— Ну как?

Но Андрюша забыл о предложении, все толковал о каких-то чертах да могилках да об однорукой мамке, и Ведьма Петровна ничего большего от него добиться не смогла.

Но когда через два дня она опять заглянула к нему, Андрюша вдруг сам пошел ей навстречу и сказал:

— Я согласен!

Ведьма Петровна даже подпрыгнула от радости.

Закружила потом, обняла своего монстра-соседушку, и решили они сразу же в ЗАГС. Свидетелей взяли со двора. В ЗАГСе было до того отчужденно, что заявление приняли — да с бюрократической точки зрения и нельзя было не принять. Весьма миловидная девушка сказала:

— Ну что ж, через неделю заходите с цветами, поздравим вас с новой жизнью.

Назначили день.

Ведьма Петровна напряженно его ждала, все прыгала из стороны в сторону, точно хотела развить в себе резвость. Сосед Никитич уже больше пугался ее, чем Андрюшу. Но глаз у Ведьмы Петровны просветлел, и в старушечьем облике появилась женственность. То головку набок склонит и покраснеет, то песенку (за кастрюлей на кухне) запоет, но не про чертей. Раньше Ведьма Петровна все больше про чертей песни пела, длинные, умильные, со слезой, а тут вдруг на людей перешла.

Девушкой себя почувствовала.

Андрюша даже трусы ее старческие согласился к празднику постирать, что и сделал, правда не до конца. Внимательный стал — отмечали соседи. Сам-то он был как прежний, но уже какой-то во всем согласный. Тень от ушей, впрочем, была по-старому утрюмой.

Наутро, когда был назначен финальный поход в ЗАГС, Ведьма Петровна и старик Никитич, от страху опекавший ее, постучали в комнату монстра — дескать, пора цветы покупать и прочая. Постучали — нет ответа. Стучат, стучат — тишина. Хоть дверь выноси. Думали, может, помер Андрюша. Со всяким это бывает. И в конце концов — дверь снесли.

Входят — в комнате пусто. Туда, сюда, заглянули в клозет — нет нигде монстра. Старушка — в рев, дескать, может быть, его убили и ей теперь женское счастье не испытать. А время — уже в ЗАГС идти. Скандал, одним словом.

Звонили в милицию.

— Кто, — спрашивают, — монстр? Фамилие?.. Нету таких в происшествиях.

Старушка с горя занемогла.

А к вечеру явился и сам герой, Андрюша. Оказывается, той ночью, перед свадьбой, долго гулял по улицам, а потом от веселья на крышу старенького дома через чердак забрался — и заснул там.

И проспал весь день, и свадьбу в том числе. Неприхотливый он был в смысле сна.

Старушка Ведьма Петровна со злости всю посуду у него перебила, и бац — сковородкой по голове, но уроду — хоть бы хны.

— Да я, Ведьма Петровна, разве отказываюсь? Я хочу. Другой раз пойдем, — разводил он руками.

Но старушка завелась.

— Не нужен ты мне теперь, кретин, без тебя проживу. С чертями.

И так хлопнула дверью, что и жильцы все поняли: свадьбе не бывать.

Монстр заскучал. И жизнь в коммуналке потянулась после этого события уже какая-то другая, как будто все смирились.

Ведьма Петровна в очередях засуетилась, соседи стали меньше бояться своего Андрюшу, а старик Никитич иногда даже заходил к нему пить чай.

А у соседки Веры дочка Наташа стала подрастать, в школу ходила, тринадцать ей уже стукнуло. Время бежало. Девочка эта всех поражала: волосы соломенные, золотистые, прямо как из русской сказки, сама худенькая, а глаза большие, синие — но не этим она всех ошеломляла, а выражением глаз своих, правда, иногда и поступком удивляла. А так она больше молчала. Жизнь все текла и текла. Время шло и шло. Иногда и драки бывали: то, к примеру, соседке Марье покажется, что Никитич у нее колбасу пропил, то

растительное масло прольют. Монстр Андрюша по-прежнему мелькал своей черной тенью по коридору и мычал что-то, но очень одностороннее.

А однажды его не стало. Вышел он погулять как-то летом. А перед домом трамвайная линия. То ли задумался Андрюшенька о чем-то, может быть о судьбе, то ли просто замешкался, но сшибло его трамваем и отрезало голову. Оцепенели все видевшие, а бабы завизжали. Среди видевших была и девочка Наташа. Вдруг перебежала она улицу, наклонилась над головой монстра и приподняла ее. Голова вся в крови и пыли, пол-уха слоновьего тоже как не было, но глаза будто открыты. Наташа наклонилась и с нежностью поцеловала эту голову три раза, как будто прощалась.

— Прощай, прощай, Андрюша, — как бы невидимо сказала она ему. Приподнялась — все детское личико в крови перепачкано, а в глазах слезы.

Такова вот оказалась свадьба у Андрюшеньки.

Люди подошли к Наташе.

— Ты кто такая? Ты его дочка?! — кричат на нее в полубезумии.

— Никакая я не дочка, — спокойно ответила Наташа, и голубые глаза ее засветились. — Просто я его люблю.

— Как любишь?!

— А я вас всех люблю, всех, всех, и Никитича из нашей коммунальной квартиры, и Ведьму Петровну.

А потом посмотрела на людей грустно и тихо добавила:

— И даже чертей люблю немного. Они ведь тоже творения...

Голова монстра валялась в пыли у ее детских ног, а далеко вдали уже раздавался свисток милиционера.

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



## ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ

Петя Сапожников, рабочий парень лет двадцати трех, плотный в плечах и с прохладной лохматой головой, возвратился в Москву, демобилизовавшись из армии. Остановился он в комнате у своего одинокого дяди, который, проворовавшись, улетел в Крым отдыхать. Еще по дороге в Москву, трясясь в товарном неустойчивом вагоне, Петя пытался размышлять о будущем. Оно казалось ему неопределенным, хотя и очень боевым. Но первые свои три дня в Москве он просто провистел, лежа на диване в дядиной комнате, обставленной серьезным барахлом. Лежал задрав ноги вверх, к небесам, виднеющимся в окне.

Иногда выходил на улицу. Но пустое пространство пугало его. Особенно сковывала полная свобода передвижения. И безнаказанность этого.

Поэтому он не мог проехать больше двух остановок на транспорте; всегда вскакивал и, пугаясь, выбегал в дверь. «Еще уедешь Бог знает куда», — говорил он себе в том сне, который течет в нас, когда мы и бодрствуем. Правда, он очень много ел в столовой, пугливо оборачиваясь на жующих людей, как будто они были символы.

На четвертый день ему все это надоело. «Поищу бабу», — решил он.

Мысленно приодевшись, Петя ввечеру пошел в парк.

Дело было летом. Везде пели птички, кружились облака. Вдруг из кустов прямо на него вылезла девка, еще моложе его, толстая, с добродушным выражением на лице, как будто она все время ела.

— Как тебя звать?! — рявкнул на нее Петя.

— Нюрой, — еще громче ответила девка, раскрыв рот.

Петя пошарил на заднице билеты в кино, которые он еще с утра припас.

— Пойдем в кинотеатр, Нюра, — проговорил он, оглядывая ее со всех сторон.

Самое главное, он не знал точно, что ему с ней делать. Почему-то представилось, что он будет тащить ее до кинотеатра прямо на своей спине, как мешок с картошкой.

«Тяжелая», — с ухмылкой подумал он, оценивая ее вес.

У Нюры была простая мирная душа: она мало отличала солнышко от людей и вообще — сон от действительности.

Она совсем вышла из кустов и, спросив только: «А картина веселая?» — поплелась с Петей под ручку по ярко освещенному шоссе.

— Ну и ну, — только и говорила она через каждые пять минут. Петю это не раздражало. Сначала он просто молчал, но затем посреди дороги, когда Нюра бросила говорить «ну и ну», взялся рассказывать ей про армию, про ракеты, от огня которых могут высохнуть все болотца на земле.

— А куда же это мы с тобой прём? — спросила его Нюра через полчаса.

Петя на ветру вынул билеты и, посмотрев на время, сказал, что до сеанса еще два с половиной часа. Они хотели повернуть обратно, но Нюра не любила ходить вкось. «Напрямик, напрямик», — чуть не кричала она.

Пошли напрямик. Петю почему-то обрызгало сверху, с головы до ног. Нюра от страха прижалась к нему. Она показалась ему мягкой булкой, и от этого он стал неестественно рыгать, как после еды.

В покое они прошагали еще четверть часа. Мигание огоньков окружало их. Пете хоть и было приятно, но немного тревожно, оттого что в мыслях у него не было никакого отражения, что с ней делать.

— Пошли, что ль, ко мне, — неопределенно сказал он. — Надо ж время скоротать.

— А что у тебя? — спросила Нюра.

— Музыка у меня есть, — ответил Петя. — Баха. Заграничная. Длинная.

— Ишь ты, — рассмеялась Нюра, — значит, не говно. Пойдем.

Дом был как обычно: грязно-серый, с размножившимися людьми и темными огоньками. Нюра чуть не провалилась на лестнице. Жильцы-соседи встретили их как ни в чем не бывало. В просторной комнатенке, отсидевшись на стуле, Петя завел Баха. Вдруг он взглянул на Нюру и ахнул. Удобно расположившись на диване, она невольно приняла нелепо-сладострастную позу, так что огромные, выпятившиеся груди даже скрывали лицо.

— Так вот в чем дело! — осветился весь, как зимнее солнышко, Петя.

Он разом подошел к ней сбоку и оглушил ударом кастрюли по голове. Потом, как вспарывают тупым ножом баранье брюхо, он изнасиловал ее. Все это заняло минут семь-десять, не больше. Поэтому вскоре Петя сидел на табуретке у головы Нюры и, глядя на нее спокойными мутными глазами, ел суп. Нюра долго еще притворялась спящей. Петя тихо хлопотал около, даже накрыл ее одеялом. Открыв на Божий свет глаза, Нюра разрыдалась. Она до этого была еще в девках, и ей действительно было больно. Да и крови пролилось как из корытца. Но главное — ей стало обидно; это была мутная, неопределенная обида, как обида человека, у которого, предположим, на левой половине лба вдруг появилась ягодица.

Петя ничего этого не знал, поэтому он, кушая суп, доверчивыми умоляющими глазами смотрел на Нюру.

— Оденемся, соберем, что ль, барахло, Нюр, и прошвырнемся по улице, — сказал он ей, взглянув исподлобья.

Нюра молча стала одеваться. Она вся надулась, как индюк или мыслящий пузырь, и, правда, еле передвигалась. При взгляде на нее Петю охватило волнение и предчувствие чего-то неожиданного.

Накинув пиджачок, Сапожников вместе с ней вышел во двор. По углам выкобенивались или молчали уставшие от водки мужики. Петя вдруг глянул на Нюру. Она передвигалась медленно, как истукан, глаза ее налились кровью, и все лицо надулось, как у рассерженной совы.

Петя так перетрухнул, что неожиданно для себя побег. Прямо, скорей — в открытые ворота, на улицу. «Куда ты?» — услышал он громкий Нюрин крик...

Оставшись совсем одна, Нюра беспокойно огляделась по сторонам. Заплакала. И, громко причитая, так и пошла по Петиним следам через двор к открытым воротам.

— Ты чего ревешь, девка?! — хохотнули на нее парни, стоявшие у крыльца.

— Да вот Петруня, в синей рубашке, из того дома, изнасиловал, — протянула Нюра, подойдя поближе к парням. Кровь мелкой струйкой еще стекала по ее ногам. — И вот в кино хотели пойти, а он убег.

— Да тебе не в кино надо идти, а в милицию, — гоготнули на нее парни. — Иди в милицию, вот, рядом...

«А и вправду пойду, — подумала Нюра, отойдя от ребят. — А куды ж теперь деваться?.. Петруня убег, а в občезитие иттить — девки засмеют. Пойду в милицию. Обмоюсь, — решила она, — кровь-то еще текеть...»

...Тем временем Петя сидел на сеансе около пустого кресла, предназначавшегося для Нюры, и ел крем-брюле. А когда в чуть угнетенном состоянии он пришел домой, его уже поджидали, чтоб арестовать. Арестовывали толстые сиволапые милиционеры; у одного из них все время текло из носа.

...Вскоре состоялся и суд. Народу собралось тьма-тьмущая. Перед началом, на улице, толстые и говорливые соседки обступили Нюру. У одной из них было такое лицо, что при взгляде на него оставалось впечатление, что у нее вообще нет лица. Она усердствовала больше всех. Другая, с лицом, похожим на брюхо, кричала:

— Чего ж ты, девка, наделала! Тебе ж совсем ничего, вон ты какая здоровая, платье на тебе рвется, а ему теперь десять лет сидеть!.. Десять лет каждый дѐн маяться!.. Подумай!..

Нюра разревелась.

— Да я думала, что его только оштрафуют, — говорила она сквозь рев. — И все... Да я б никогда не пошла в милицию, если б он не убег... Зло меня тогда взяло... Сидели б в кино смирехонько... А то он — убег...

— Убег! — орали в толпе. — Ишь, Нюха! Небось и не так тебя били, и то ничего.

— Били! — ревела Нюрка. — Папаня в деревне поленом по голове бил, и то отлежалась...

— Дура! — говорили ей. — Парень только из армии вернулся, шальной, мучился, а теперь опять же ему терпеть десять лет... Ты скажи в суде, что не в претензии на его...

Наконец начался суд. Судья была нервная, сухонькая старушонка с прыщом на носу, орденом на груди и бешеными, измученными глазами. Рядом с ней сидели два оборванных заседателя; они почти все время спали.

Петю, вконец перепуганного, ввели два равнодушных, как полено, милиционера. Глядя на виднеющиеся в окне безмятежное небо и верхушки деревьев, Петя почувствовал острое и настойчивое желание оттолкнуть этих двух тупых служивых и пойти прогуляться далеко-далеко, смотря по настроению. От страха, что его отсюда никуда не выпустят, он даже чуть не нагадил в штаны.

Суд проходил, как обычно, с расспросами, объяснениями, указаниями. Петя отвечал невпопад, придурочно. Окровавленные штаны в доказательство лежали на столе.

Чувствовалось, что Нюра всячески выгораживает его и дает путаные, нелепые показания, противоречащие тому, что она по простодушию своему рассказала в милиции и на следствии.

— Бил он вас кастрюлей по голове или нет?! — уже раздраженно кричала на нее судья-старушонка. — Совсем, что ли, он у вас ум отбил, потерпевшая?..

— Само падало, само, — мычала в ответ Нюра.

Но, несмотря на это заступничество, Петя больше всех боялся не судью, а Нюру. Правда, она так возбуждала его, что у него и на скамье подсудимых вдруг вскочил на нее член. Но это еще больше напугало его и даже сконфузило. Глядя в тупые, какие-то антизагадочные глаза Нюры, в ее толстое, напоминающее мертвенно-холодный зад лицо, Петя никак не мог понять, в чем дело и почему она стала для него таким препятствием в жизни. «Ишь ты», — все время говорил он сам себе, словно икая. Она напоминала ему, как бы с обратной стороны, его военачальника, сержанта Пухова, когда этот сержант в первый день Петиного приезда в армию ничего не сказал ему, а только молча стоял перед Петей минут шесть, глядя тяжелым, упорным и бессмысленным взглядом.

«Дивен мир Божий», — вспомнились Пете здесь, в казенном заведении, слова его деда.

Между тем в середине дела Нюра вдруг встала со своей скамьи и, собравшись с духом, громко, на весь зал, прокричала:

— Не обвиняю я его... Пущай освободят!..

— «Пущай освободят», — недовольно передразнила ее судья. — Это почему же «пущай освободят»?! — низким голосом пропела она.

— Зажило уже у меня... Не текеть, — улыбнулась во весь рот Нюрка.

— Не текеть?! — рассвирепела судья. — А тогда текло... Чего ты от него хочешь?!

— Сирота он, — отвечала Нюрка. — В деревню его возьму. Мужиком...

— Слушайте, — вдруг прикрикнула на нее судья, — нас интересует только истина. Вы и так даете сейчас странные, ложные показания, совсем не то, что вы давали на следствии. Смотрите, мы можем привлечь вас к ответственности. Суд вам не провести. Вам, наверное, хорошо заплатил дядя Сапожникова, возвратившийся из Крыма.

— Да я его и не видела, — промычала про себя Нюрка.

Петя все время со страхом смотрел на нее.

Наконец все процедуры закончились, и суд удалился на совещание. В зале было тихо, сумрачно; только шептались по углам.

Через положенный срок судьи вошли. Все поднялись с мест. Петя приветствовал суд со вставшим членом.

— Именем... — читала судья. — За изнасилование, сопровождавшееся побоями и зверским увечьем... Сапожникова Петра Ивановича... двадцати трех лет... приговорить к высшей мере наказания — расстрелу...

— Батюшки! — ахнули громко и истерично в толпе. — Вот оно как обернулось!

Петюню — в расход. Капут ему. Смерть.

В общественной бане N 666, что по Сиротинскому переулку, начальником служит полувоздушный, но с тяжестью во взгляде человек по фамилии Коноплянников. Обожает он мокрых кошек, дыру у себя в потолке и сына Витю — мужчину лет тридцати, не в меру грузного и с язвами по бокам тела.

— Папаша, предоставь, — позвонил однажды вечером Витенька своему отцу на работу.

Коноплянников знал, что такое «предоставь»: это означало, что баня после закрытия должна быть использована — на время — для удовольствий сына, его близкого друга Сашки и их полуобщей толстой и старомодной подруги Катеньки. Одним словом, для оргии.

— Пару только побольше подпусти, папаша, — просмердил в телефонную трубку Витенька. — И чтоб насчет мокрых кошек — ни-ни.

Выругавшись в знак согласия, Коноплянников повесил трубку.

Часам к одиннадцати ночи, когда баня совсем опустела, к ней подошли три весело хихикающих в такт своим задницам существа. От закутанности их трудно было разглядеть. В более женственной руке была авоська с поллитрами водки и соленой, масляной жратвой. Кто-то нес какой-то непонятный сверток.

Разом обернувшись и свистнув по сторонам, друзья скрылись в парадной пасти банки.

— Покупаться пришли, хе-хе, — проскулил старичок Коноплянников, зажав под мышкой мокрую кошку, а другую запрягав в карман, — хе-хе...

Герои, истерически раздевшись, гуськом вошли в небольшую полупарилку, пронизанную тусклым, словно состарившимся светом. Толстый Витя покорно нес авоську.

Сначала, естественно, взялись за эротику. Витя даже упал со спины Катеньки и больно ударился головой о каменный пол. Кончив, Саша и Катенька полулежали на скамье, а Витя сидел против них на табуретке и раскупоривал бутылку. Пот стекал с его члена.

Саша был худ, и тело его вычурно белело на скамье. Катюша была жирна, почти светилась от жира, и похлопывала себя по бокам потными, прилепляющимися к телу руками.

Тут надо сделать одну существенную оговорку: мужчины (и в некотором роде даже Катенька) были не просто шпана, а к тому же еще начитавшиеся сокровенной мудрости философы. Особенно это виделось по глазам: у Вити они напоминали глаза шаловливого беса, бредившего Божеством; у Саши же они были попросту не в меру интеллигентны. Вообще же своим видом в данный момент друзья напоминали каких-то зверофилософов. Представьте себе, например, Платона, одичавшего в далеких лесах.

— Катенька, а, Катенька, у вас было много выкидышей?! — вдруг спросил Витя с чувством сытого превосходства мужчины над женщиной.

— И не говори, Вить, не говори, — всплеснула руками Катя. — Сатана бы сбился, считая.

— А знаете ли вы, голубушка моя, — неожиданно посерьезнел Витя и даже поставил бутылку с водкой на пол, — что душа убитого ребенка не всегда сразу отстает от матери и очень часто — вместе со всеми своими оболочками — надолго присасывается к телу родительницы. На астральном плане. И я не удивлюсь, что если бы мы имели возможность лицезреть этот план, то увидели бы на вашем теле не один и не два таких присоска.

Катенька побледнела и уронила шайку под табурет. Сначала мысленно вспотела — «так или не так», и почему-то инстинктивно почувствовала «так», должна же куда-то деваться душа зародыша, и, естественно, что она — несмышленка этакая — не мо-

жет сразу оторваться от матери-убийцы: любовь, как известно, слепа, да еще в таком возрасте. Ощувив это во всей полноте, Катенька завывала.

Но Саша сухо прервал ее:

— Что вы, собственно говоря, так кипятитесь, Катенька? Жалко полудитя?! Не верю. На всех и у Господа не хватит жалости. Кроме того, я полагаю, что в принципе зародыш должен быть счастлив, что не появился на Божий свет от вас. Другой раз ему повезет. Так что не верю. Скажите лучше, что вам неприятно оттого, что на вашем теле такие гнусные присоски.

— Неприятно, — робко кивнула головой Катенька.

— Их у нее, наверное, видимо-невидимо, — неадекватно встал Витя, глотая слюну.

— Сколько бы ни было, — по-мужски оборвал Саша, подняв руки. — Ну подумайте, Катенька, — продолжал он, — что реально причиняют вам эти присоски?! Ведь вы в другом мире, и их, если так можно выразиться, вой не доносится до ваших ушей... Кстати, Витя, что говорят авторитеты про такие случаи... в смысле последствий для матери здесь?

— Да ерунда... Иногда чувствуется легкое недомогание...

— Ну так вот... Легкое недомогание! — Саша даже развел руками и привстал на месте. Тень от его голой фигуры поднялась на стене. — А потом, — ласково улыбнулся он, — присоска все равно отстанет... И надеюсь, в смысле следующего воплощения будет более удачлива... Недомогание! Да я бы на вашем месте согласился таскать на себе сотни две таких душ-присосок, чем породить, а потом кормить одного такого паразита. Я бы прыгал с такими присосками с вышки, как спортсмен, — загорелся вдруг Саша, соскочив со скамьи и бегая вокруг Катеньки в парной полутьме комнаты. — Да я бы сделался космонавтом! Оригинал, в конце концов! Шостаковичем! А сколько нервов стоит воспитать этакого появившегося паразита?! Ведь в наших условиях — это черт знает что, сверхад, Беатриче навыворот! Себя, себя любить надо!

Как ни странно, такие доводы неожиданно подействовали на Катеньку, и она успокоилась.

...Часа через полтора три вдребезги пьяных существа, хватая руками темноту, выскакивали из баньки. На одном промокло пальто. Другое потеряло шапку. Третье было босиком. Но из всех трех уст раздавался вопль:

Прожить бы жизнь до дна,  
А там пускай ведут  
За все твои дела  
На самый страшный суд.

...Одинокие прохожие и тараканы пугались их вида...  
А вскоре за ними из двери баньки юркнула фигура старика Коноплянникова. Бесмысленно озираясь, он ел голову мокрой кошки. Это был его способ прожигания жизни.

— Семен Кузьмич сегодня умер.

— Как, опять?!

В ответ всплеснули руками. Этот разговор происходил между двумя темными, еле видимыми полусуществами в подворотне московского двора.

N.N. со своей дамой подходил к огромному зданию загса. Дама была как будто бы как дама: в синем стандартном пальто, в точеных сапожках. Однако ж вместо лица у нее была задница, впрочем уютно прикрытая женственным пуховым платочком. Две ягодицы чуть выдавались, как щечки. То, что соответствовало рту, носу, глазам и в некотором смысле душе, было скрыто в черном заднепроходном отверстии.

N.N. взял свою даму под руку, и они вошли в парадную дверь загса.

В залах, несмотря на ослепляющий свет и помпезность, почти никого не было. N.N. наклонился и что-то шепнул своей невесте. Первой, кто их по-настоящему увидел, была толстая, поражающая своей обычностью секретарша, сидевшая у столика в коридоре.

Увидев даму N.N., она упала на пол и умерла.

Жених и невеста между тем продолжали свой путь. Угрюмо сидящие на скамейках редкие посетители не замечали их.

Правда, когда они прошли, один из посетителей встал, выпил воды и сказал, что уезжает.

В одной из комнатшек надо было выполнить предварительные формальности, в другой, просторной, в цветах и в портретах, происходила официальная церемония.

N.N. с дамой вошли в первую. Позади них между прочим шли совершенно незаметные субъекты: свидетели. Гражданин Васильев, который почти один управлял всеми этими делами, взглянул на них.

Взглянул и не смог оторвать взгляда.

Молчание продолжалось очень долго.

— Ну что, когда это наконец кончится? — спросил N.N.

Васильев кашлянул и попросил подойти поближе. Так нужно было чисто формально. Он действовал автоматически.

Но в душе его царил абсолютный страх. Он протягивался к нему даже из окон. Не только мадам вызывала страх, но и весь мир через нее тоже вызывал страх.

«Не надо шевелиться, не надо задавать глупых вопросов, иначе конец, — подумал Васильев. — А у меня дети».

— Фамилия?! — для бодрости нарочито громко выкрикнул он.

— Калашников, Петр Сергеевич, — ответил N.N.

Его дама издала из заднего прохода какой-то свист, в котором различимы были слова: «Петрова Нелли Ивановна». Васильев похолодел; тело замораживалось, но душа вспоминала, что мир ужасен. «Так-так», — мысленно стучал зубами Васильев и никак не мог разыскать карточки новобрачных. Искал и не мог найти.

— Это кончится когда-нибудь? — холодно повторил N.N.

Васильев все же нашел, что нужно: предварительное заявление, подписи свидетелей и т.д.

— Вы не разлюбили друг друга с тех пор? — взяв себя в руки, спросил Васильев.

— Нет, — холодно ответил N.N.

— Тогда прошу в эту комнату, к Клименту Сергеичу.

N.N. с Петровой двинулись.

— Товарищи! — опрокинув стул, вдруг выкрикнул Васильев. — А ваши паспорта!

— Нелли; покажи ему, — сказал N.N.

Петрова повернулась и медленно пошла навстречу Васильеву. Подойдя поближе, она сунула руку себе на грудь, во внутренний карман, и вынула паспорта. Мутно взглянув на нее, Васильев почувствовал, что еще несколько минут — и он уже не он.

Впрочем, паспорта были действительные. И даже на фотокарточке Петровой вместо лица была задница. Со штампом.

...Когда N.N. с дамой скрылись за дверью кабинета Климента Сергеича, Васильев рухнул в кресло — и вдруг навзрыд, по-огромному, истерически разрыдался.

Он вспомнил, что его дочь скоро умрет от цирроза печени и что, когда он родился, стояло — по рассказам — ясное, свежее, небесное утро, а он так кричал, как будто уже давно, тысячелетия или секунду назад, жил в каком-то мире, связанном с этим, но в котором лучше тоже не появляться. А его как мячик выгалакивали из одного мира в другой...

...Между тем Климент Сергеич, одиноко скучающий в своем кабинете, взглянул на N.N. и его даму. «Ничего не произошло», — тотчас подумал он, закрывши глазки. Потом опять открыл. Повторив эти шуры-муры раз семь-десять, Климент Сергеич вдруг убедил себя, что задницы нет. Нет, и все. Нету.

— Дорогие друзья! — подскочил он со своего кресла с распростертыми объятиями. — Как я рад видеть искренне влюбленных! Милости прошу к нашему шалашу.

Климент Сергеич все же явственно видел зад в пуховом пла-точке, но умственно считал, что на самом деле это не задница.

Чтобы еще больше убедить себя, он резво подскочил к Петровой и громко чмокнул ее в ягодицу. Климента Сергеича несколько сконфузил только хорошо знакомый, неприятный запах. Запах был настолько мертвенен, как будто был с предполагаемого того света.

— Итак, друзья, — продолжал Климент Сергеич, — продолжим красочную часть.

Он даже всплеснул ручками в потолочные небеса.

— Петр Сергеич, — расфамильярничался он, обращаясь к N.N., — вы по-прежнему любите Нелли Ивановну?

— Очень, — сухо ответил тот.

— Я так и думал, так и думал, — расхохотался Климент Сергеич, которому вдруг стало не по себе. — А вы, Нелли Ивановна? Как, не амурничаете? — И он весело подмигнул ей.

Не стоит говорить, что при других обстоятельствах Климент Сергеич никогда не позволил бы себе такое нелепое поведение. N.N. неожиданно, почти сверхъестественно, оживился и сел на стол прямо против Климента Сергеича.

— Она у меня девственница, скромница такая... знаете... хехе, — дребезжаще просмеялся он.

— Вы знаете, — разоткровенничался в ответ Климент Сергеич, пытаясь завязнуть в каком-то бессмысленном разговоре, — у меня жена тоже была скромница. И представьте, сейчас наоборот...

— Ладно, хватит, — грубо оборвал его N.N., слегка ударив по кисти руки. — Оформляйте документы... Климент Сергеич...

— Товарищи, я за... — спохватился последний.

Очень быстро провернули официальную церемонию в зале.

N.N. со своей супругой и свидетелями проделали обратный путь, к выходу. В руках у Петровой был большой букет цветов.

Тем временем, как только супруги вышли, в кабинете Климента Сергеича зазвонил телефон и кто-то резким, металлическим голосом сказал ему, что он — то есть Климент Сергеич — умер. N.N. с Петровой были уже на улице.

— Я так и знала, что ничего не получится, — свистяще произнесла она.

N.N. пожал плечами. Петрова внезапно остановилась, огляделась кругом и вдруг, словно подумав, мгновенно исчезла, растворилась в пустоте.

N.N., закулив, быстро, по-деловому пошел вперед, к трамвайной остановке.

# ВЫПАДЕНИЕ

На окраине Москвы среди изрезанных улочек с маленькими домишками и длинными бараками посреди моря уборных стоит огромное желтое шестиэтажное здание, похожее на тюрьму. Это институт и общежитие для студентов. С трех сторон к нему подходят извилистые, грязные, уходящие в пропасть бараков дороги. Три деревца, как чахлые, слабоумные невесты с венком птиц на голове, окружили здание. А в небе постоянными были только черные крики метущихся в разные стороны ворон.

Все обитатели здесь делились на местных и студентов. Студенты казались местным злыми, учеными и нахальными. «Мы никогда не будем так хорошо жить, как они», — говорили про студентов. Местные же казались студентам лохматыми, придурочными и страшными, от которых надо бежать. Особенно пугали их черные дыры бараков и дети. Дети купались в ведрах воды, снимали друг с друга штанишки. Студенты учили книги, сидя на заборах, прыгали по крышам сараев. Обе стороны шарахались друг от друга как от непонятного.

Однажды весной в один из домишек около общежития въехала семья. Почти никто не обратил на это внимания, просто вместо одной семьи стала размахивать руками и находиться перед глазами всех другая семья.

Тем более не бросился в глаза младший член этой семьи — семнадцатилетний полоумненький, каким его считали, Ваня. Иногда только смеялись над ним.

Это был длинно-тонкий юноша с мягкой, нежной головой и осторожными ушами. Походка тихая, крадущаяся. Даже в уборную он входил, как в античный храм.

Вполне полоумненьким его назвать было нельзя — скорее «не замечающим». Он действительно «не замечал» многое из того, что происходит вокруг. Он мог позабыть покушать, позабыть осмотреться кругом. Но зато хорошо вырезал бабок из дерева. Учился Ваня плохо, но не то чтобы по глупости, а по равнодушию; из предметов же обожал зоологию, особенно анатомию мелкокостных. Людское общество любил, но только молчком. Постоит, постоит где-нибудь около кучки ребят — и тихо уйдет, как будто его и не было.

Никто не знал, чем жил Ваня. А кроме самосозерцания, он жил вот чем. Каждый вечер, когда темнота поглощала окрестности, как брошенную комнату, Ваня пробирался к институту. Ловкий и жизнестойкий, он по трубам и остаткам лестницы влезал на карниз четвертого этажа. Там до поздней ночи светилось окно: то было женское общежитие.

Ваня пристраивался на широком карнизе, удобно прижавшись к трубе, и долго, часами смотрел внутрь. Он даже не испытывал оргазма при этом: половое влечение у него было мутное, широкое, непонятное для него самого и всеобъемлющее. Ему хватало того, чтобы просто смотреть.

Странные мысли роились в его голове. Все девочки, особенно раздетые, казались ему необычайно интеллигентными. Несмотря на то что они всего лишь ходили или лежали, ему казалось, что они вечно пляшут.

«Откуда такое кружение?» — недоумевал он.

У него было несколько состояний; это зависело от мыслей, приходивших ему в голову, пока он лез по трубе к девочкам.

Часто ему внутри себя слышалось пение; иногда странно болело сердце из-за того, что он не знал, чем кончится то, что происходит внутри, за окном.

«Миленькие вы мои», — часто называл он их, прослезившись.

Он не выделял ни одну из них, любя всех вместе. Правда, он выделял их качества, скорее даже любил эти качества, а не их самих. В одной ему нравилось, как она ела: изогнуто, выпятив бочок и обреченно сложив ручку. «Все равно как мочится или отвечает

урок», — думал он. Другая нравилась ему, когда спит. «Как зародыш», — говорил он себе.

Но особенно нравилось Ване, как кто-нибудь из них читал. Он тогда вглядывался в лоб этой девушки и начинал любить ее мысли. «Небось о том свете думает», — теплело у него в уме. Уставал он только сосредотачиваться на одной. Поэтому очень легко ему было, когда они все ходили. Вся душа его тогда расплескивалась, пела, он любил их всех сразу и в такт своему состоянию тихонько выстукивал задом по карнизу.

«Ну хватит. Побаловался» — так говорил он себе под конец и спускался вниз. Дважды его вечера были несколько необычны: он чувствовал в душе какую-то странность, воздушность и зов; еле еле забирался вверх; и нравились ему уже не тела девочек, а их длинные, шарахающиеся тени; подолгу он любовался ими, иногда зажмуривая глаза.

Так продолжалось годы. И эти годы были как один день. Иногда только мать поколачивала его.

Однажды Ваня полез, как обычно, на четвертый этаж к своим девочкам.

Все было как прежде: он, как всегда, слегка поцарапался о железку на третьем этаже, так же пристроился на карнизе, у окна общежития. Только теперь ему стало казаться, что он женат на этих девочках. Но он так же прослезился, когда маленькая студентка в углу уснула, как зародыш.

И вдруг окна не стало. Не стало и милых, гуманных девочек.

«Точно я опять на этот свет рождаюсь», — подумал он...

Часов в одиннадцать вечера жирно-крикливый парень, назначивший свидание во дворе трем бабам, услышал за углом ухнувшее, тяжелое падение. Он подумал, что упал мешок с песком, и просто так пошел посмотреть. На асфальте лежало скомканное, как поломанный стул, человеческое тело. Парень признал Ваню, полоумненького. Он был мертв.

Здоровая, толстая девка лет восемнадцати Катя приехала в Москву из-под Смоленска сдавать экзамены в Станкостроительный институт. Остановилась она у деда и тетки в старом, кривом доме. Отвели они ей маленький серый уголок: кровать и тумбочку у окна. С аппетитом забравшись туда, Катя вскоре принялась за зубрежку. «Только бы не нагадила где-нибудь», — думал дед. Но Катя любила лишь подолгу обтираться по утрам полотенцем, поводя спиной. И еще любила повторять: «Закат — розовый, как и мое тело». Так она говорила вечерами, когда вглядывалась в пространство, в далекое пламя на горизонте. Обычно же она редко смотрела на окружающее, а всегда вниз, чаще всего на свои колени.

Некоторые удивлялись, почему так, но дед считал это обычным делом. «Только бы не нагадила», — пугался он. Дед любил раздеваться почти догола и в таком виде, бородатый, в одних трусиках, шумно играл во дворе в домино.

Катина тетя придерживалась других взглядов на жизнь. «Только поступи в институт, Катенька», — науськивала она племянницу. На третий день тетя показала ей инженера, живущего в соседней квартире. Он был жирный, необычайно важный, хотя и бегал все время вприпрыжку. Катя смотрела на него, и от мыс-

ли, что и она может быть такой же великой, медленные и смачные, как навоз, капельки пота выделялись у нее на лбу. «Он никогда не раздевается», — шептала ей на ухо тетка.

Катино сердечко сжималось. Ей очень хотелось увидеть инженера голым. Кате казалось, что тело у него такое же серьезное и страшное, как само правительство или как мысли, таившиеся под его массивным, инженерским черепом.

Дважды она собиралась подсмотреть за ним сквозь щелку дворовой дощатой уборной. Но замирала и останавливалась на полпути.

Каждый вечер, когда все живое в комнате засыпало, Катя долго и иступленно молилась. Потирая руками свои мясистые ляжки, она тихонько сползала с кровати и опускалась на колени. Молилась она о том, чтобы попасть в институт. Слова молитвы дал ей один блаженно-пьяненький старичок со двора. Кроме того, многое она добавляла от себя. Возвращалась на кроватку молчком, вся в слезах и долго потом вытирала слезы подолом ночной рубахи.

Наконец наступили светлые дни консультаций и экзаменов. Как стадо гусей, тянулись к огромному, черному зданию юнцы и девицы. Профессора непрерывно хлопали дверьми.

«Чем я хуже других», — вертелось в голове у Кати. Ей казалось, что когда она поступит в институт, то не только душа ее будет величественной, но и ходить она будет по-другому, сурово и переваливаясь, топча траву.

Захватывало у нее также дух при виде студентов-старшекурсников.

«Я не хуже их», — болезненно думала Катя, наблюдая за ними из-за деревьев. Она желала как бы подпрыгнуть умственно и по солидности выше их.

Последние дни Катя стала очень много потеть, всем телом; поэтому часто уходила в уборную обтирать пот. И всегда при этом почему-то думала о сокровенном. А затерявшись в коридорах института, среди людей, чаще воспринимала их как шумящих желтеньких призраков.

Экзамены принимали тяжело. Преподаватели вставали, уходили, опять приходили; абитуриенты текли бесконечным потоком. Некоторых почему-то спрашивали долго и назойливо, других мельком, третьих очень равнодушно.

Один преподаватель вообще ничего не спрашивал: посмотрит на физиономию, фыркнет и скажет: «Беги».

На сочинении же одна абитуриентка заснула.

Катенька сдавала ровно, аккуратно, с напором. Часто посреди экзамена убегала в клозет обтереть пот и подумать о сокровенном.

Наконец наступил решающий день. Были вывешены списки прошедших по конкурсу. Помолясь, Катенька побрела в институт. По мере чтения списка ей несколько раз почудилась ее фамилия. Но это был самообман. Кати в списке не оказалось.

К ней подошла какая-то худенькая, с чистым лицом девочка.

— Посмотри, самые гнусные прошли, — сказала она.

Счастливики отделились от остальных и держались одной кучкой. В большинстве они действительно, как назло, имели самый гнусный вид.

Домой Катенька возвращалась совсем отключенной. Она даже не различила, когда шла пешком, когда ехала в троллейбусе.

Дома никого не было.

Вытащив из угла огромный, заржавленный топор, Катя с каменным лицом подошла к письменному столу. Рубила широкими взмахами, как рубят дрова. Потом сожгла все свои книги.

А на следующий день Катя возвращалась в Смоленск. Больше она никогда не верила в Бога. Также перестала понимать и мир, в котором находилась. Ей бывало легче, только когда она мочилась или во сне, когда слушала пение собственного тела.

## УДОВЛЕТВОРЮСЬ!

«Что может быть непонятнее и вместе с тем комичнее смерти?! Посудите сами: с одной стороны, есть теории, по которым загробная жизнь расписана как по нотам; нет ничего легче, согласно этим теориям, как предсказать даже дальнейшую, на целые эпохи, эволюцию человеческого сознания, как будто речь идет о предсказании погоды; так что же говорить о несчастной загробной жизни — здесь же все ясно, как на кладбище; с этой точки зрения — смерть вообще иллюзия, некая шутка природы и обращать на нее внимание так же нелепо, как суетиться при переходе из одной комнаты в другую... Но, с другой стороны, существует прямо противоположное мнение: после смерти — тотальная и бездонная неизвестность; “смерть есть конец всякого опыта”, а предыдущие гипотезы — лишь увеселения земного ума; жить в смерти — это значит жить в отказе от всего, что наполняет сознание. Смерть — не шутка природы, а, напротив, необычайно глубокое явление, требующее серьезной и всепоглощающей прикованности.

Как совместить, как примирить эти крайности?! Ведь положительно можно сойти с ума, бегая между ними! То туда, то сюда.

Ну что ж, обратимся к внутреннему опыту. И вот что

интересно: опыт как будто подтверждает обе теории, каждая из них по-своему истинна. С одной стороны, смерть — необычайно серьезна: сами чувствуете по себе, нечего вдаваться в подробности. Иногда кажется, что это действительно непостижимая бездна. Но напротив, напротив! Если приглядеться вдумчивей, то нельзя не заметить в смерти весьма дикую анекдотичность.

Ну, во-первых, сама быстрота свершения и ничтожность причин, ее вызвавших. Посудите сами, можно ли всерьез относиться к явлению, причинами которого были укусы вши или обида от плевка в лицо? А мгновенность, мгновенность! Иные ведь умирают и совокупиться напоследок не успевают!! Для крупного события такая быстрота просто неприлична.

Добавлю еще патологическую случайность и анекдотичность обстановки! Мой сосед, например, умер, объевшись холодцом.

Нет, что ни говорите, а великие события так не совершаются. словно здесь иллюзия, шуточка, некое механическое сбрасывание видимой оболочки, вроде шубы, с невидимого здесь существа — и ничего больше. Но все же ведь чувствуется: и трагизм, и бездна — посмотрите на лицо мертвеца; потом, отсутствие памяти и т.д. Почему нельзя предположить, что тут связаны две крайности... Ведь от великого до смешного один шаг».

Эти строки из своего дневника читал низенький, одухотворенный человек в глубине притемненной комнаты. По углам стояла тишина. А вокруг человека, его звали Толя, сгрудилось несколько полувзъерошенных, внимательно слушающих его молодых людей. Одна девица лежала на полу. Видно, это чтение — лишь продолжение долгого и истерического радения о смерти. Обстановка была до сверхреальности тяжела и напряженна, словно все демоны подсознания сорвались с цепи, сбросив земные оковы. Казалось, невозможное даже в мыслях вдруг воплощалось и приобретало тотальное значение. И от этого нельзя было уйти.

— Удовлетворюсь, удовлетворюсь! — вдруг взвизгнул один худенький, с как бы даже думающей задницей слушатель. Его глаза были в слезах. — Не могу я больше!

Слушателя звали Аполлон. А дело происходило на даче, в глуши, ранним утром. Аполлон еще раз, точно уносясь вдаль, взвизгнул и, опрокинув бутылку с водкой, выбежал из комнаты. Откуда-то донесся его вопль: «Не могу ждать, не могу ждать!!!»

...Что же там будет?!. Не могу терпеть... Хуже всего неизвестность!»

— Повесился! — завопила его подруга Люда, которая после недолгого ауканья вошла туда, куда убежал Апоша.

Все переполошились, как перед фактом. Толя спрятал дневник, чтобы его не разорвали. Мистик — Конецкий — встал на четвереньки.

Ребята ходили вокруг труп Аполлона, как трансцендентные коты вокруг непонятно-земной кучки кала. Владимир захохотал. Совершать адекватные действия было как-то ни к чему. Все молчали, охлажденные. Анатолий отворил окно в открытый мир. Труп, снятый, лежал на полу.

«Вот она, анекдотичность, — думал вставший с четверенек Конецкий. — Но где же непостижимость?!»

В это время раздалось ласково-приглушенное хихиканье: это тонко-белотелая девочка Лиза, самая юная любительница смерти, поползла к трупу. У Лизы ясное, в смысле непонятности, лицо, оскаленные зубки, словно не ее, и глаза, которые останавливались на созерцании тумбочки, как на себе.

Нервно подергиваясь всем телом, точно совокупляясь с полом, ставшим личностью, она подползла совсем близко к Аполлону.

«Сейчас Аполлон закричит, — подумал Конецкий, — ведь он так не любил Лизу».

Но Лизонька, вместо того чтобы укусить труп, как предполагали мистики, вдруг перевернулась и легла на покойного, как на некий тюфяк, спиной вниз и повернув лицо в окно, в бездонную глубь неба, заулыбалась, точно увидела там Сатану.

Люда вскрикнула.

Делать было положительно нечего, но в уме мрак сгущался. Толя перепрятал дневник. Владимир принес водку, и все расселись вокруг трупа, как вокруг костра.

«Не забуду Аполлона», — подумала Люда. Но мысли расстраивались, словно были точками в раскинутом по всему пространству напряженном ожидании.

Лизонька, лежа на покойном, поигрывала белыми пальчиками.

— Уж не хочешь ли ты отдаться на нем? — спросил откуда-то появившийся Иннокентий.

Но Лизонька была не из отдающихся. Она отдавалась только трупам, существующим в ее уме.

По полу пробежал ручной ежик. Все разлили водку. Лизонька вдруг встала.

— Я знаю, что делать: надо идти до конца, — вдруг сказала она, посмотрев в стену так, будто та упиралась ей в лоб.

— До конца, до конца, ребята, — заплакала Люда. — Лучше нам всем повеситься... Надо сейчас, сейчас, вместе с Аполлоном, перейти грань... Чего тянуть kota за хвост?! Пусть будет, что будет: лишь бы ощутить эту неизвестность... Ведь нужно только одно движение, одно движение... слабой руки...

— Мало ты смыслишь в мистике, — сурово оборвал ее Иннокентий, которого все любили за его теплое отношение к аду.

Он медленно поглядел в сторону Лизы, и глаза его почему-то налились сухой кровью. Затем, пошептавшись с Сухаревым, самым плотным парнишем, он, улыбаясь, вывел всех, кроме Сухарева и Лизы, из комнаты трупа.

И тут началось что-то несусветное. Точно ожидание разрядилось в новую, еще более чудовищную форму ожидания. Лизонька то и дело выскакивала из трупной комнаты к ребятам, всех целовала и хихикала в плечо Конечкому. А остальные, сгрудившись в маленькой комнатушке, бредили, вдруг почувствовав, что все кончено и теперь можно обнажиться до конца. Они точно целовали свою будущую смерть, выпятив залитые потом глаза и чмокая таинственную пустоту. Пыльная девица Таня упала на пол.

Иннокентий тоже выходил к приятелям; он надел почему-то кухонный фартук и, с бородой на длинно-скуластом, как у нездешних убийц, лице, выглядел пугающе и наставительно.

Толстяк Сухарев неопределенно вертелся в трупной комнате. Лизонька что-то нашептывала ему в ухо, точно к чему-то подготавливая. А Иннокентий создал такую атмосферу, в которой умы всех нацелились не на их собственную смерть, а на какой-то другой конец. Поэтому мольба Людочки о тотальном повешеньи как бы повисла в воздухе. Только Таня принесла из чулана, сама поймав, испачкавшись в одержимости, крысу и повесила за хвост перед окном в сад. Все истомились от непонятности. Но в трупной комнате шло какое-то упорное приготовление. Хлопали дверьми, чем-то пахло. Надо было как-то разрядиться. Несколько раз Людочку вынимали из петли.

Но скоро ребята, благодаря тщательной воле улыбающегося Иннокентия, стали понемногу понимать, в чем дело. Точно среди

общей одержимости и безумия мыслей, упирающихся в неизвестность, стали появляться какие-то обратные, рациональные ходы, возвращающие к земной действительности, но уже на мистически-юродивом уровне.

Все бегали, надрывно думая о будущем после смерти, и истерически старались представить себе ее; от этого вены вздувались, а в глазах вместо секса было вращение душ.

— Завтрак готов! — громогласно объявил Иннокентий, распахнув дверь.

Его шизофренно-потустороннее лицо сияло доброй и освежающей улыбкой. Домашний фартук был весь в крови, а нож обращен в пол. Его друзья и так были приведены к такому исходу. Кто-то облегченно вздохнул: не надо вешаться. И тут же заикал, подумав о смерти. Танечка облобызала Иннокентия в ощеренный рот.

— Ты наш спаситель, Инна, — пробормотала она.

Лизонька была королева завтрака. Лицо ее прояснилось, словно сквозь непонятность проглядывали удавы; вся в пятнах — глаза в слезно-возвышенной моче — она колдовала вокруг нескольких огромных сковородок, где было изжарено отчлененное мясо Аполлона.

«Сколько добра», — тупо подумал Владимир.

Все хихикали, чуть не прыгая на стены. Именно такой им представлялась загробная жизнь. Они уже чувствовали себя на половину на том свете.

Первый кусок должна была проглотить Лизонька. Поюлив вокруг сковородки, как вокруг интимного зеркала, она вилкой оголенно-радостно взяла кусок. Иннокентий остановил ее, подняв руку, чтобы произнести речь. Кусок, на вилке в руке, так и остановился около дамски-нервного полураскрытого ротика Лизоньки.

— Прежде чем начать есть, подумайте о том свете, — сурово проговорил Иннокентий. — Подумайте напряженно, когда будете пережевывать. И не забывайте о душе Аполлона.

— Да, да, — вдруг сразу войдя в положение, заюлил Конечкий, — от мыслей, направленных в непостижимое, душа будет выходить вон, а Апошино мясо в животе будет смрадно впитываться... Произойдет раздвоение.

— Тсс! — перебили его.

Лизонька, прикрыв глазки, пережевывала мясо. Пухлые щечки ее вздувались, она ела с таким аппетитом, точно всасыва-

ла высшие слезы. Румянец нежного ада горел на ее лице. А в глазах пылал неслыханный интеллектуализм. Поцеловав свое обнаженное колено, она вдруг с жадностью набросилась на оставшуюся еду.

Скоро, несмотря на тихий восход солнца и трепет утренних трав, все пожирало Аполлоново тело. Мясо хрустело в зубах, и все усиленно думали, так что от остановившихся на непостижимом мыслях стоял неслышно-потусторонний треск. Казалось, весь загробный мир навис над комнатой и над жующими людьми. Сухарев даже не мог пощекотать оголенную Танину ляжку. Толя припал к сковородке, лежа на полу.

Вдруг во дворе закукарекал неизвестно откуда взявшийся дикий петух.

# ВЕРНОСТЬ МЕРТВЫМ ДЕВАМ

Трехлетний карапуз Коля, с весело-оживленными голубыми глазками, вдруг ни с того ни с сего застрадал от онанизма.

Мамаша, Анна Петровна, переполошилась.

Сначала долго прислушивалась. Дескать, в чем дело. Однако дело уходило в тайну. По некоторым признакам это был вовсе не обыкновенный онанизм, а совсем-совсем особенный. Мамаша это поняла по остановившимся, ничего не выражающим глазам младенца. Знакомая с культурой, она начала поиски.

Во-первых, ее поразило, что ребенок совсем изменил свой быт. К примеру, когда ел манную кашу, то чрезмерно улыбался. И нехорошо косил глазками.

Материнское сердце всегда найдет доступ к душе дитяти, и через месяц путем расспросов, картинок, интуиции Анна Петровна прояснила совершенно пустую, точно наполненную страхом картину. Оказалось, что Колю посещала (в виде образа, разумеется) красивая двадцатилетняя женщина с вызывающе-похабными чертами лица, и самое главное — в одежде людей девятнадцатого века. Дите такого никогда не могло видеть, поэтому ассоциации исключались. У мамыши заработало сознание.

Тем временем события развивались. Родители уже точно знали — по выражению лица младенца, — когда приходит «она».

Так, если Коля во время еды выплевывал кашу изо рта и говорил «ау», родители знали: откуда-то из мрака на него смотрят черные глаза девы.

Когда же он поворачивал свой толстый, изумленный лик на какой-нибудь светлый предмет и внутренне охал — значит, наступит свержсон.

Иногда дите переставляло солдатик, словно гонясь за своим призраком. Вообще, мальчик очень приучился плакать.

— Такой был мужественный ребенок, — вздыхал отец, Михаил Матвейч, — а теперь все время плачет.

По-видимому, дело шло к очень серьезному. Дите часто застывало с ложкой манной каши у рта, когда возникало видение.

— Смотри, он скоро опять начнет дрожать, — со слезами говорил отец, всматриваясь в мрачный силуэт ребенка, сидящего за детским столиком.

— Она приходит ровно в шесть часов вечера, — злобилась Анна Петровна. — Хоть вызывай милицию.

— Что ты, испугаешь соседей, — пугался отец.

— Чем же бы ему помочь? — вопрошала мать.

Решили вызвать крыс. Коля еще до появления образа обожал крыс и не раз забавлялся с ними в постельке. Отцу это не особенно нравилось, но теперь он был — за. К сожалению, сейчас крысы уже не помогли. Ребенок дергал их за хвосты и пытался, видимо, рисовать ими облик своей дамы.

— А если это любовь, — говорил иной раз папаша, задумчиво попыхивая трубкой.

Анна Петровна не отвечала и только мысленно попрекала отца за то, что он думает о любви, а не о судьбе ребенка. Врачи абсолютно не помогали. Член у дитяти был маленький, крохотный, как мизинчик Мадонны, но тут совершенно неожиданно из него стала изливаться сперма, причем в таком количестве, что мамаша не успевала стирать простынки. Было от чего сойти с ума.

— Когда же это кончится, — вздыхала бабушка Кирилловна, обращаясь к душам своих умерших предков.

Конца не было видно.

— Повесить его, что ли, — рассуждал папаша. — Совсем опоганил род. Скоро о нас вся Москва будет говорить.

— Не дам дите, не дам дите, ирод, — сопротивлялась Анна Петровна. — Повесить твой член надо, а не ребенка. Он ни в чем не виноват.

— Я уже устал от этой жизни, — вскрикивал ее муж. — На ра-

боте одни неприятности, любовницы изменяют, а теперь и в доме черт знает что... Все игрушки обрызганы спермой, а вчера и диссертацию мою залил.

Бабушка Кирилловна только утрюмо исчезала на целые недели.

Ночью, при блеске свечей, которые горели в углу, дите вставало с постели и в белой рубашонке, беспомощно раздавленное, ползало по полу, словно становясь отражением чудовищного образа девушки девятнадцатого века, посещающей его по ночам.

Особенно возмущало докторов, что дите почти перестало есть.

— Пусть онанирует сколько хочет, — говорил толстый ученый врач. — Не он первый, не он последний... Но чтобы дите бросило есть... Тут что-то не то.

— Бедный ребенок, — вздыхала старушка соседка. — А ведь во всем родители виноваты.

— Не родители, а Демург, — говорил в ответ один дворовый мистик.

— Сколько же это может продолжаться? Чтоб у такого щенка, у малолетки потекла сперма, да еще как из бочки... Это, знаете ли, извините меня, извините меня, — ворчал недовольный отец.

Мамаша пугливо всматривалась в обмазанное манной кашей неподвижное лицо младенца, устремившего свой взгляд на игрушку. «Приближается», — говорила она про себя. Действительно, когда «она» появлялась, лицо дитяти совсем тупело, кроме глаз, — они напоминали глаза поэта перед смертью.

— Что же будет дальше, — схватывался за голову папаша.

— Ау, ау, — отвечал ребенок в ночной тиши, и казалось, тихие слезы лились из глаз ангелов, притаившихся в неведомом.

— Лучше бы его убить, чем он так мучается, — уныло повторял отец.

— Почему ты думаешь, что он мучается; может, это ему, совсем напротив, нравится, — резонно отвечала мамаша, вспоминая пропитанные спермой простынки.

— Лучше бы ты заглянула в его глаза, когда он видит «ее», — возражал папаша.

— Ну и что? В целом ему нравится, — парировала мамаша...

— Но ведь он ничего не понимает, — кипятился отец. — Нельзя же все сводить к одному физиологическому удовольствию. Ребенок ведь не отдает себе отчета, что за образ его посещает, откуда он, почему, в конце концов... Ведь это насилие над свободой

воли. Погляди, в его возрасте только с котятками играть, а он уже познал то, что нам и не снилось.

— И не говори, — отвечала мамаша, заплакав.

— Все-таки я считаю, его надо убить. Неприлично, чтоб такое дитя существовало, — возмущался отец.

— У тебя это уже становится параноидной идеей, Миша, — возражала жена. — Я защищу его своими руками. Он вышел из моего чрева, и, будь он хоть сам Антихрист, я не позволю его убивать.

— Ах, сволочь, — возмущался отец, — если бы ты любила меня хоть на одну сотую, как любишь его... Ведь все равно он тебе плюнет в морду, когда вырастет, или, чего доброго, изнасилует... Но на таких дурах, как ты, держится весь род человеческий.

Между тем дите, не замечая семейного совета, проползши по ковру, возвращалось в свою постельку.

Но нежные, напоенные чудодейственной женской красотой глаза не оставляли его и там. «Кхе, кхе, кхе», — только покашливал он от страха, задирая вверх ножку. Его бедное личико совсем сморщилось, а слезы словно лились внутрь тела, точно все пространство вокруг было отнято у него любимой.

— Если б он просто онанировал, — вздыхал серьезный ученый врач, — это была бы ерунда. Но ведь это еще к тому же любовь. Вот в чем загвоздка. И в таком возрасте!.. Черт знает что.

Мальчонка действительно хирел. Из игрушек раскладывал «ее» глаза и улыбался призрачным, уходящим лицом, глядя в пустоту. А когда он однажды совсем заохал и уполз под кровать, сердце матери не выдержало.

— Что-то нужно предпринять, — взмолилась она. — Действие, действие прежде всего... Если врачи не помогают, обратимся к невидимым силам.

Тут-то как раз и вернулась из дальнего странствия бабушка Кирилловна. Она была слегка ученая и начала о чем-то шептаться с Анной Петровной.

Неожиданно картина прояснилась. Существовали признаки, по которым можно было различить, что налицо феномен «верности мертвым». Более точно решили, что Колю, по-видимому, посещал образ-клише умершей женщины, которую он страстно любил в своем предыдущем воплощении, в прошлом веке. И теперь она преследовала его. Вот уж воистину любовь побеждает смерть.

Нужно было принимать очень четкие, разумные меры. У Анны Петровны были некоторые связи с людьми, занимающимися

окультурной практикой. Она страстно хотела освободить младенца от любви. Сама по себе операция снятия любовных чар, как известно, очень проста и действует безотказно, но все уперлось в необычность феномена. Ведь освобождать необходимо было от любви не к живой женщине, а к душе умершей.

Наконец общими усилиями нашли ясновидящую ведьму, живущую в сорока километрах от Москвы, которая согласилась уничтожить эту идиотскую связь.

...Был крепкий, сорокаградусный, кондовый российский мороз. Казалось, деревья вот-вот рассыпятся от тяжелого воздуха. Младенца закутали в несколько шерстяных одеял. Голову покрыли надежными бабушкиными платками. Видны были только его детские глаза, помертвевшие от страха перед женским образом.

В два часа вызвали такси.

Папаша вытащил дите на своих руках. Анна Петровна с матерью разместились с Колей на заднем сиденье, а отец сел рядом с водителем, указывая дорогу.

Сначала было трудно выбраться из центра, то и дело застревали в потоке автобусов и грузовых машин.

У Анны Петровны вдруг сжалось сердце, она неожиданно вспомнила страшное стихотворение Гёте.

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?  
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...  
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;  
Обняв его, держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —  
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:  
Он в темной короне с густой бородой». —  
«О нет, то белест туман над водой». — ...

...«Ко мне, мой младенец! В дуброве моей  
Узнаешь прекрасных моих дочерей,  
При месяце будут играть и летать,  
Играя, летая, тебя усыплять». —

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:  
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —  
«О нет, все спокойно в ночной глубине:  
То ветлы седые стоят в стороне». —

«Дитя, я пленился твоей красотой:  
Неволей иль волей, а будешь ты мой!» —  
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;  
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать!»

Ездок оробелый не скачет — летит...  
Младенец тоскует, младенец кричит...  
Ездок погоняет, ездок доскакал...  
В руках его мертвый младенец лежал.

Не в силах отключиться от этих образов, Анна Петровна тупо сжимала перезакутанного ребенка.

— Брось его прижимать, — ворчал Михаил Матвееч, — опять проклятая эротика!

Вскоре выехали из города, на шоссе. Черные, обугленные морозом деревья стояли в своей неподвижности и равнодушии ко всему живому. Снег среди леса блестел, но каким-то мертвым, полоумным блистанием.

Папаша проклинал все на свете.

Младенец цепенел, одурев от присутствия любимой в своем сознании, и пускал слюни изо рта.

— Ты знаешь, — истерически твердила Анна Петровна своей матери, — он уже не говорит мне «лодная», как раньше... И я заметила, что теперь он лепечет «лодная», только когда видит эту тварь... Вот до чего дошел...

— Не то еще будет, — подвывала старушка, — особенно когда он научится читать...

Наконец машина подкатила к селению, к более или менее приличному деревянному домику.

С трудом младенца выгнали из такси. Одно одеяло упало, и дите, дрыгнувшись, принялось неистово пищать.

— Точно чувствует, гад, что скоро с ней расстанется, — проговорила Кирилловна.

Ведьма была уже обо всем предупреждена друзьями Анны Петровны. Один из них, среднего возраста, в очках, напоминающий философа Владимира Соловьева, тоже ждал гостей.

Когда дите подтащило к двери, оно подняло совсем до неприличия истерический визг и даже брыкалось ножками. «Не хочу, не хочу», — казалось, готово было выкрикнуть оно.

Бабка Кирилловна вконец осерчала:

— Ишь как мучается, ведь начал дрожать, паразит, за полчаса

до ее появления... корючиться... жалко с любовью прощаться... Ишь, Гомер.

— Да выброси ты его к чертовой матери, — верещал Михаил Матвейч, бегая вокруг себя. — Прямо в снег... Чтоб сдох... Ишь сколько шуму наделал... За три месяца всю душу вымотал!!!

Наконец младенца впихнули в дверь.

Операция прошла очень удачно. Через некоторое время знакомый Анны Петровны, напоминающий Владимира Соловьева, ясно, с некоторым состраданием, говорил ей:

— Все кончено. Любовь убита. Могу сообщить вам чисто формальную сторону: ваш сын Коля в предыдущем воплощении был Куренковым Гаврилой Ивановичем, торговавшим пенькой в конце девятнадцатого века. Жития его было семьдесят восемь лет. Семидесятилетним старцем воспыал страстию к девице Афонькиной Клавдии Гавриловне, урожденной мещанке, дочери торговца мылом, и жил с нею последние восемь лет. Душа Афонькиной сейчас еще там. Тело захоронено на Богородском кладбище. Феномен типичен для любви к мертвым.

Счастливым отец, тихо урча и поругивая прогнозы, заворачивал младенца.

— Ничего, мамаша, не плачьте, — грубовато ободрила Анну Петровну ведьма, костлявая, огромная женщина лет сорока пяти. — Ваш Коля хороший кобель будет. А о Клавке забудьте — все. — И она похлопала Анну Петровну по заднице.

— Все, все, — неожиданно и смрадно проговорил знакомый Анны Петровны, похожий на философа Владимира Соловьева. — Такие вещи в наших силах. Так что нечего отчаиваться. Человек — хозяин своей судьбы. Хе-хе-хе...

Действительно, явление умершей женщины в душе младенца Николая было уничтожено. Понемногу он поправлялся. Даже физически быстро окреп. Появился аппетит и румянец.

Но Анна Петровна все-таки не удержалась — вот что значит материнское сердце! — и, разыскав на Богородском кладбище могилу Афонькиной Клавдии Петровны (не Гавриловны, однако), оплевала ее.

— Не будет больше смущать моего Колечку! — довольно бормотала она, стоя в очереди за пивом.

# ОДИН (РАССКАЗ О КОСМИЧЕСКОМ НИЦШЕАНЦЕ)

На далекой, блуждающей в темноте планете, на которой не было даже животных, жили люди. Кроме них, во всем мире больше уже не было живых существ. Эти люди жили как обычно: грязно и радостно. Страдали, но все-таки были довольны собой. Какой-то мягкий предел сдерживал их. Но среди этих людей таились странные «избранники», в глубине души чудовищно не похожие на всех остальных. У «избранных» была большая вера в себя; один из моментов этой веры состоял в том, что они сильно любили друг друга, а «обычных» людей старались избегать.

Так длилось долго; и те и другие существовали сами по себе, но вместе с тем рядом. Вдруг по «избранным» прошел трепет. «Зачем нам нужны “обычные” люди, — стали думать “избранники”. — Они так не похожи на нас; они засоряют наше сознание, создают ненужный шум и раздражают своим нелепым существованием; они уводят дух в его инобытие». И «избранные» решили уничтожить всех «обычных» людей. С помощью интриг, тайн и мистической жестокости они пробрались к власти. Единственная живая планета в мироздании, на которую смотрели только мертвые звезды, обагрилась кровью, такой красной, какой только может быть цвет жизни. И остались только «избранные».

Долго ликовали они, целуя друг друга, от радости и чистоты расширился круг их сознания. Никто больше не раздражал.

Прошло некоторое время. Понемногу «избранные» стали испытывать какое-то непривычное чувство. Они, такие родные и такие близкие, вдруг ощутили отчуждение и затаенную ненависть друг к другу. Теперь, когда ничто внешнее не мешало им, каждый из них застыл в больном недоумении оттого, что другие существуют.

«Тем, что все такие великие, — думал каждый, — обкрадывается моя неповторимость и единственность; мой гений унижается; мое чувство “я” оскорбляется параллельным существованием. И разве не противно видеть сотни других “я”?..» После этого перелома каждый из «избранных» старался переизошриться в оригинальностях и духовных открытиях; но так как все они были «избранные», то и их оригинальность, хоть и различная, была на одном, равнозначном уровне.

И тогда принялись они истреблять друг друга. Несмотря даже на то, что еще копошилась в них прежняя любовь и нежность к себе подобным. Ученик убивал учителя, любимый убивал любимую, пророк убивал пророка.

Убивали жестоко, но часто, по привычке или по еще остающемуся, но уже сломленному чувству любви; убивали, целуя друг друга.

И опять эта единственная живая планета, на которую смотрели мертвые звезды, залилась кровью, только уже не красной, загорелась планета таинственным синим пламенем. И даже у еще не родившихся существ задрожало сердце.

Все книги и подобные им вещи уничтожали «избранники», ревнуя к умершим. После этой большой, подобной самоубийству, резни остался в живых всего лишь один из «избранных», просто потому, что по воле случая он оказался последним и его некому было убивать.

И возликовал до предела души этот Один. И радость его была еще безмерней, чем после гибели «обычных». Прошел он по всей земле от края до края, и не было на свете ничего и никого, кроме него. И солнце во всей ужасающе бесконечной Вселенной светило только для него. И миллиарды галактик совершали свой чудовищный бег только для него. И только он, единственный во всем мире, ощущал трепет теплого ветра и блаженную прохладу реки. И только он, единственный, мог истомленно шевельнуть телом и почувствовать в этом всю концентрацию оставшейся и уничтоженной жизни. И любая его мысль была единственной и неповтори-

мой. А его гениальные мысли никогда уже не имели параллелей. И во всем теперь навсегда холодном и молчаливом мире он стал единственным вместилищем абсолютного духа.

Страстно и мудро наслаждался Один своим счастьем и неповторимым величием. И спокойный и гордый, как поступь Абсолюта, было движение его мысли.

Хотя были уничтожены все источники знаний на земле, старый запас в нем был так велик, что его хватало для, казалось, безграничного, спонтанного развития. Сама Вселенная двигалась в наличии его мыслей.

Так он прожил много времени. Но ведь он не обладал абсолютным знанием. Наступил наконец торжественный, чуть страшный для него момент, когда Один почувствовал, что исчерпывает себя.

Впервые он ощутил это, когда лежал под деревом, у камней, в кустарнике и вдруг перед ним встали убиенные. Раньше он никогда не думал о них. А теперь почувствовал смутную потребность в общении с ними. Сердце его слегка дрогнуло. Ему захотелось, чтобы перед его глазами опять прошла неисчерпаемая драма объективного мира и он смог бы приникнуть к его живому источнику. Для себя.

Он встал, губы его сжались, а глаза потемнели, как будто по их дну прошел мрак. Он не питал иллюзий, что может теперь побеждать только сам, только из себя. Он знал ряд магических тайн и мог бы вернуть мир к жизни. Но не сделал этого. Он сделал гораздо более страшное. Он вернул жизнь не людям, а их теням. Их длинным, смешным и беспомощным теням. И в то же время великим, потому что они точно так же, как живые люди, играли эту жуткую, бездонную драму бытия, только в ее легком, неживом отражении.

И решил Один так лишь потому, что, помня о прошлых жестоких уроках, не хотел опять становиться в страшную зависимость от всего живого. Но в то же время хотел видеть хотя бы потустороннее отражение истории, дальний ход объективного мира. И питаться им, как падалью, немного подкормиться за счет этой бесконечной, мертвой пляски теней.

Их сумеречность подчеркивалась еще тем, что они были не просто тени, призраки зависели также от сознания Одного; по своему желанию он мог их уничтожить, сдуть в полное небытие и опять явить.

Однако первое время, когда посреди холодной природы Один

окружил себя теньми живых и вновь возобновилась уже призрачная история человечества, как она шла бы, если бы не было Великой бойни, одна маленькая, странная и бесполезно-больная мысль мучила его.

У него копошилось сомнение: а не возродить ли былой мир, во всем его блеске и полноте, во всем его шуме и торжестве. Признание самому себе в том, что и он в конце концов не может обходиться без внешнего, сделало его слабым и чувствительным.

Однажды он увидел мелькающие, извивающиеся тени убитых им «избранных», причем самых близких.

— Родные, — потянулся он к ним, прослезившись. — Вы мне нужны. Скажите что-нибудь!

Один случай особенно потряс. Ему на колени села тень хорошей маленькой девочки. Он стал играть с ней, смеясь от счастья, и она ласково ему доверилась.

И он на миг остро почувствовал, что хочет видеть ее живой.

— Чтобы ты существовала не только для меня, не только как мое представление, но и как самостоятельная, не зависящая от меня реальность. Чтобы ты улыбалась мне сознательно, а не как мое дуновение... Ведь мне интересно, чтобы меня любила и ценила самостоятельная личность, а не мое воображение... Чтобы я мог обнять тебя, а не провалиться в пустоту, — произнес он вслух.

В ответ тень девочки радостно встрепенулась. Как ей хотелось жить! Но напрасно: это была мгновенная слабость, и Один сразу же очнулся, почувствовав далеко идущую, вкрадчивую опасность.

Он захохотал. Тень девочки испуганно спрыгнула с колен.

— И не думай, что я оживлю тебя, — засмеялся Один. — Мне слишком дорого мое всемогущество. Что ты дашь мне взамен? Свою отчужденную от меня жизнь? Всю эту полную игру внешнего бытия? Слишком незначительная плата за всемогущество! И за единственность! — И он насмешливо погладил тень девочки по голове, рука его провалилась в ее пустоту.

И началась новая жизнь! Теперь каждый день к вечеру Один окружал себя этим ускользящим, неслышно завывающим миром. Его даже слегка подташнивало от его мнимого существования, от присутствия навсегда исчезнувшего.

Он легко проходил сквозь него, без всякого вреда для себя. Бесчисленные тени людей, как призраки, мелькали по залитым солнцем полям и лесам, не чувствуя их, в то время как это чувствовал только Один; влюблялись, воевали, сочиняли стихи, пла-

кали — и все это стерто, бесшумно, в то время как вся жизнь в ее полноте сосредоточилась только в Одном.

Этот мир уже не мучил его всеми своими прежними ужасами вымороченного, чужого существования. Если тени надоедали Одному, он уводил их в полное небытие. Но они редко сердили его: ему были смешны их кривляния, любовь и ненависть друг к другу. Их полная беспомощность.

По этому дальнему отражению он брал для бесконечного движения вперед для себя все, что ему было нужно от объективного мира.

И Один снова почувствовал прилив крови к своей уже было застывающей душе.

Теперь ему принадлежали не только это вечное солнце, и эти дальние звезды, и этот нежный запах трав, и эти единственные мысли — но и этот, то появляющийся, то исчезающий, мир мертвецов, от которого он брал в свой живой дух мертвую, но нужную пищу.

И снова почувствовал себя Один хозяином всей Вселенной... Но что случилось потом, выходит за пределы этого рассказа.

Савелий бежал один по темному переулку. Громады домов казались мертво-живыми и угрожающими. Словно их никогда не было. «Почему, почему я так люблю собственную ногу?! — выл он про себя. — Вот я бегу... бегу... Но что потом?! О, моя нога... нога!! Лучше остановиться, зайти в угол и поцеловать ее... То место, которое являлось мне во сне!! Нежное, судорожное...»

Он продолжал бежать. Но глаза его застыли, точно упали с неба. «Подойду и выпью свою кровь, — мелькнуло в уме. — Я уже не могу переносить свое существование... Но что это?! А нога... нога?!»

Он остановился. Наконец-то навстречу ему вышел прохожий. «О, как хочется, чтобы все провалилось, все, все! — ожесточенно подумал он. — И эти проклятые дома, и эти люди... И я, оставаясь, ушел бы вместе со своей ногой в другое... Другое... Другое... О, как хочется его видеть!! Но где моя нога? Где она?!»

Он нервно дотронулся до нее рукой: вроде на месте. Оглянулся. Толстый человек, напоминающий борова, но в очках, внимательно посмотрел на его волосы. Юркнул кот, до странности похожий на соседку — Анну Николаевну.

«Нет, это еще не конец!!! — взвыл Савелий. — Мы еще поборемся, зацелуем!» И он отошел в угол, который снился ему уже

три месяца. Там, в чудной, поднимающейся ввысь живой тьме, Савелий обнажил свою правую ногу — ту, которую любил. Любил больше Бога, больше себя. И припал...

...Тихий стон раздался через несколько минут. Кровь медленно, легкой струйкой лилась из ноги — но было это слаще меда, нежнее рождения и материнских ласк. Глаза Савелия помутнели. Губы лизали кровь, белую атласную кожу... Вся плоть, казалось, готова была прижаться к ноге, истечь в нее... А в сознании плыли невиданные грезы... О, разве суть только в наслаждении?! Суть в мирах, стоящих за этим, суть в том, что он любит свою ногу...

Позади раздался истерический хохот. Так случалось не раз, когда он припадал к ноге, — вдруг в самом конце появлялась фигура. На сей раз это был седенький старичок с пропитым носом, весь закутанный в одеяло, хотя на улице было тепло. Его глаза остекленели, но он хохотал не от зависти к Савелию — рядом сидела мышка, и старичок сошел с ума, глядя на нее. Он как бы бежал на одном месте, словно наполненный нездешней мочой. «Скоро должна появиться луна», — подумал Савелий. Осторожно, почти на четвереньках, он выползал из подворотни. Чтобы не зашибить ногу, он любовно волочил ее и поглаживал, что-то бормоча.

Ухаживание за ногой заполняло почти все основное время Савелия. Он одевал ногу в шелк, холил ее мазями, духами, хотя остальная часть тела была, как правило, не в меру грязна. Зато нога блаженствовала, как женщина. Вряд ли у Марии Антуанетты, когда ей отрубали голову, была такая выхоленная нога. Больше всего Савелий боялся причинить ей не то что боль (при мысли о боли он коченел от ужаса), а хотя бы маленькую неприятность. Очень тяжело было вставать по утрам; Савелий долго и самозабвенно гладил и вынеживал ногу, глядя на нее в зеркало, чтобы смягчить первое прикосновение к грубому полу.

Каждое подобное касание отзывалось в его сердце мучительной, почти мистической болью, но все же с течением времени он научился переводить боль в наслаждение. Безумный страх за ногу заставлял его останавливаться на улице, среди людей и машин, бежать от всего в угол, в припадке жалости целовать и ласкать ее. Даже сидеть он не мог без дрожи и слёз за свою любимую. Ветерок на пляже, если он был чересчур быстр, заставлял его морщиться и укрывать ногу в тихий закуток. Только бы не было страданий для того, кого любишь!!

...Наконец Савелий вылез из подворотни. Большой шелестящий лоскут невиданного китайского шелка, красивый и пахнущий

духами, волочился по грязи, еле держась у ноги. Луна всюду плыла в вышине, среди туч. Савелий поднял свои мертвые голубые глаза к небу. Они были уже спокойны, как у римлян после смерти. Вдруг кругом стали появляться люди. Разные, и волосы их походили на головные уборы. Это были просто прохожие. И Савелий поспешил прочь. «Почему так много одноглазых?» — подумал он. Но одна более необычная старушка увязалась за ним. Высокая, но сгорбленная, с почти невидимыми глазками, она, кажется, заинтриговалась шелком, ползущим за ногой Савелия наподобие шлейфа. Савелий поздно заметил ее: она уже была в нескольких шагах от него и когисто протягивала длинную согнутую руку к шелку. Взорвавшись, Савелий побежал. Быстро, быстро, как вепрь, только шелк сладострастной змеей, как бы рывками, увивался за ногой, точно впившись в нее. Иногда Савелий останавливался и хохотал. Старушка тем не менее поспешала вслед, не особенно отставая, но и не приближалась, как-то механично и беспросветно. Савелий между тем тяжело дышал. Пот стекал к голубым глазам, его фигура странного воина на изнеженной ноге тускнела среди туш и чучел живых людей. Старушка махала ему платком и что-то шамкала, видимо делая предложение. Равнодушные троллейбусы проплывали мимо.

Наконец Савелий юркнул в проем между домами и точно стал невидим для окружающих. Он не раз прибегал к этому способу и знал, что некоторое время его никто не будет видеть. Даже если он станет настойчиво предлагать каждому руку. На любое предложение отвечали только воплем.

«Пора, пора уходить отсюда, — думал Савелий, полуневидимый. — Но как же нога?! Опять ступать ею по тротуару?! За что?!»

Последнее время его роман стал двигаться к некоей ужасающей развязке. Но что за этим крылось, он не знал. Подошел выпить пива — и словно влил в ногу живительную влагу. Клочок бумаги попался ему на ходу; быстро прочел: «Человеческое добро погибло; добро стало трансцендентно человеку, и, следовательно, оно стало недоступно ему. Дьявол теперь более понятен человеку, чем Бог, во всех Его безднах».

Савелий побежал быстрее; когда он так бежал, то словно летал, не чувствуя прикосновения к земле, ощущая ее — ногу — своей королевой. «Но где же корона, где корона?!» — иной раз лихорадочно думал он. Иногда короной ему казалась земля. Но сейчас он должен был, должен разрешить свою загадку. Вот и дом, где он

живет. Как часто он представлял в воображении свою ногу! Она плыла тогда в его сознании подобно огненному шару, но внутри этого шара гнездились бытие, к которому он направлял свой поток! Но его ли бытие? Все было так жутко, загадочно; может быть, нога была его и не его; как холеное, пришедшее из вечной тьмы сладострастие, она манила к себе, и внутри лежала тайна, которую невозможно было разложить.

— Сын! Сын! — кричал он посреди своих оргий. — Моя нога — мое я и мой сын! — застывал Савелий, мертвея от переноса своего бытия в ногу. Оголенная нога, увитая нежными розами, млела в его сознании. Иногда же она была в терновом венце. Потом все пропадало, и опять начинался визг сладострастия, пришедшего из вечной тьмы. Нога сладостно извивалась, как белое существо, наделенное нечеловеческим, разлитым по всей ее плоти духом... В ужасе Савелий вскакивал с ложа и выбегал на улицу, на чердак, на помойку с криками: «Планета превратилась в Солнце!» Во всем теле было пусто, словно в него вселилась луна. Крысы, пугаясь его вида, умирали.

Но теперь это все было позади, позади. Он шел к развязке. Савелий юркнул в подъезд своего дома. «Не надо, не надо его убивать!» — кричал кто-то в углу, тусклыми, отрешенными глазами всматриваясь в тень Савелия. В стороне надрывно пела русскую песню худенькая девочка с прошибленным черепом. Кровь сочилась, попадая в полуоткрытый рот...

Савелий сделал несколько прыжков вверх по лестнице. Внутренне молниеносно холодел, когда стопа любимой ноги касалась мертвого пола. Вдруг отворилась дверь в одну из квартир, хотя никого не было видно, хохот выдавал присутствие. Савелий погрозил кулаком в эту открытую квартиру.

Ему пришлось пробегать длинные, брошенные демонами коридоры. Шлейф остался на полу. «Почему вокруг меня одни только мертвецы или сумасшедшие?!» — подумал он, ошибаясь. За весь путь по коридору он встретил только одного человека, Пантелея, угрюмо-крикливого мужика, живущего половой связью с центральным отоплением. Казалось, пар исходил от его члена, и зубы были стальны, как у волка.

Подбодрив Пантелея, Савелий ринулся дальше и вскоре был у обшарпанной двери своей комнаты. Вошел. Потом, побегав внутри с полчаса, изнеможенный присел на кровать. Луна, как слепое, желтое око, смотрела в окно. Слышались голоса: «Как растет моя голова... Не надо... Не надо!! ...Отец мой, бежим... Но куда! Куда?!»

Дайте мне мою маску, дайте мне мою маску, проклятые звери!!  
Очень холодно, когда гадаешь... Не колдуй вместе с камнями и не  
выбирай себе камень в духовники, несчастная... Как страшно,  
страшно!!»

Но Савелий уже привык к этим голосам, даже голубые глаза  
его не темнели. Все, все было позади. И все изменилось. Как часто  
он с нежностью глядел на свою ногу! Как нежна она на солнце, в  
блеске зеркал!! О юность, о прошлое! Но пора, пора было про-  
щаться.

— Я не могу Ее больше видеть при себе!! — вдруг завыл Саве-  
лий, упав на колени.

И заплывающий взгляд его неудержимо упал на откинутую  
правую ногу. Захотав, он коснулся ее рукой. Были прикоснове-  
ния и затем — холодный далекий полет в душе. «Со мной ли моя  
Лилит?» — подумал он. И вдруг из глаз его покатались слезы, хо-  
лодные, большие, как будто это были не слезы, а сгустки выворо-  
ченной души. За спиной уже хохотало и билось некое существо.  
Но белизна кожи на ноге по-прежнему сводила с ума. «Почему  
столько параллелей?! — мелькнуло в его уме. — Но надо гасить,  
гасить?!» Сумасшедший, нездешний восторг колотился в его гру-  
ди: глаза вылезали из орбит, словно навстречу новому преодолен-  
ному безумию. «Вот он — мир! Новый мир в оболочке безумия!  
Приди! Приди!» — закричал он, полулежа посреди комнаты, под-  
нимая вверх руки.

— Да, да, я хочу Ее видеть в иной форме, — пробормотал  
он. — В конце концов, я хочу переменить ситуацию... Сместить  
точки наших отношений.

Встал. В углу среди хаоса неперевоаемых предметов пылился  
телефон. Подошел. Нога, словно отъятая, не чувствовалась.

— Василий, Василий! — прокричал он в трубку. — Ты слы-  
шишь меня?!

Какое-то угрюмое, видимо, позабытое теньями существо все  
подтверждало и подтверждало.

— Да, да... все будет... будет, — отвечало оно.

Савелий посмотрел на часы; стрелки ползли к часу ночи.

— Пора, пора, — спохватился он и, легкий, выбежал вон.  
«Больше моей ноги никто не будет касаться!! — думал Савелий в  
пути. — Не будет, не будет этого соединения... Этой тайны во  
мне... Она будет там, там... в небе!!»

Черная и покинутая людьми площадь. Редкие огни машин. Из  
видимых — никого нет. Только жалобно воют бесы. Вдруг появля-

ется старый дребезжащий трамвай. Два вагона в опустошенном свете... И Савелий бросается вперед, вытянув правую ногу... Час ночи... Гудки «скорой помощи»... Томное рыло Василия, врача... Скучный вой бесов.

Все произошло, как договорились. При выходе из больницы Савелию была вручена в большой белой простыне его любимая, теперь уже высушенная нога. Сам он, естественно, был на костылях. Он принял ее в объятия, как своего и в то же время подкинутого судьбой ребенка, с помощью Нины Николаевны, соседки, спустился вниз. Василий хитро подмигивал ему и хлопал по плечу... И дни покатались с особенной яростью. Савелий быстро приспособился скакать на костылях. Как съезженный взлохмаченный сверхчеловек, прыгал он мимо людей и автобусов куда-нибудь в булочную. Засушенная нога во всем ее виде висела в комнате на стене, но Савелий не решался ей поклоняться. Надо было найти истинные точки отношения. В голове его было совсем оголенно, раздвинуто, как будто мысли окончательно отделились от подсознания и все иное тоже разошлось по сторонам, а в центре — пустота. Правда, довольно необычная и тревожная. Поэтому он часто кричал среди ночи, выбегая на улицу на костылях и грозя такому Простору.

События поворачивались не так, как он предполагал. Пробовал спать под ногой, на полу, как собачка. Но Простор не давал покоя. «Нет мне места, нет мне места!» — кричал Савелий по долгому коридору, брошенному демонами.

Место между тем было, и он чувствовал это внутри. Нужно было уловить, уловить дух сместившейся Бездны и вступить в отношения с новой реальностью, которая когда-то была в нем, но ушла с потерей ноги, скрывшись где-то как невидимка и обрета, вероятно, новую подоснову.

И Савелий гоготал, бегая за теньями, которые, может быть, отражали то, что ему не следует знать. Костыли трещали от такой беготни. Странные, кровавые слезы выступали у него на глазах... Напряжение нарастало... Он уже не узнавал даже кошек, похожих на Анну Николаевну, соседку. Однажды к ночи с нечеловеческой ловкостью выбежал он на улицу. Окна домов были до того мертвы, точно их занавесила Бездна. Нигде никого не было. Савелий поднял голубой взгляд вверх, к небу, вспоминая о луне. И застыл. Луны не было. Вместо луны в ореоле рваных блуждающих туч висела нога — его нога, оторванная, обнаженная, такая же, какая

была при жизни, во всей сладости, тайне и блеске... Как знак, что есть... Неописуемое...

— О! — завопил Савелий и бросился... Туда... Первым отлетел костыль... Потом голова... Точно подкинута какой-то неизъяснимой силой, она, оторвавшись от туловища, сделала мягкий, плавный полет высоко над домами, чуть застыв над миром в лунном свете ноги. Савелию даже показалось, что его голова чуть улыбнулась ноге, когда покорно опускалась где-то там, за домами... Наконец, произошло уже нечто совсем невообразимое...

Распавшиеся части Савелиинога тела так и лежали до утра, пока их не подмели дворники. Из костыля дети сделали пулемет. А голову нашли на пустыре завшивленные черные ребята. Они с наслаждением гоняли ее как мяч, играя в футбол под восторженные пьяные выкрики такой же странной толпы. Кто-то бросал в голову шляпы.

Однако это не значит, что Савелий стал побежденным. Скорее всего, это просто не имело отношения к делу. В конце концов голова — всего лишь голова.

Зато в комнате Савелия сразу же поселился новый жилец, который не только не сорвал со стены засушенную ногу, но и стал ее охранять. Неумолимо, строго и от людей. И часто по ноге ползал невиданной окраски молодой жук, который с ненасекомым сладострастием копошил засушенную ногу, видимо получая от этого нескрывтую жизненную силу, а то, от чего он исчезал...

Сплошная черная ночь опустилась над нами.

Николай Семенович прилетел.

Как тих и развратен его лик, когда он смотрит в окно нашего жилья! Почему он не свалится с этой ветки, а вечно поет?! Как холоден его зад, который уже давно отвалился!

Мы так любили играть на нем в чудики.

Вот и Валерий вышел опять. И захохотал. Ночью нам еще виднее. Они начинают играть в прятки. Сначала Николай Семенович бьет Валерия, потом Валерий бьет Николая Семеновича. И оба снимают друг с друга короны, похожие на листья.

Валерий уже оказался за двести верст от Николая Семеновича. Там присел Василий, которому трут уши. Этими ушами можно слушать самого Творца, но из ушей его сыпятся вши. Размножаясь, они покидают города... Валерий прикоснулся. Зад его потемнел от скорби. Скоро, скоро будет конец.

Улетел! Как он любил летать над городом, разрушая его своей мочой! На сей раз гуляла мирная девочка лет одиннадцати. Веснушчатый шаром — без рта — упал ей в передник.

— Кыш-кыш-кыш! — закричала девочка. — Уходи, мышонок!

И она побежала навстречу солнцу, которое уже давным-

давно было черное-пречерное. И словно опускалось в огненные лапы.

Валерий облобызался с Николаем Семеновичем, стоящим рядом.

— Ги-го-го! — закричал Валерий.

Звезды меркли от этой тишины. А у Арины Варваровны было три лика: один, несуществующий, превратился в камень, который годами облюбовывал Николай Семенович; второй — тонкий, змеевидный — был до того отчужден от нее, что напоминал ее зад, если б таковой был; третий уже принадлежал другому миру.

Выпили. Николай Семенович, когда пил, всегда умирал, на время; да и до смерти ли ему было, когда он глядел красными, раскаленными, как уголь, глазами на этот черный мир?!

Валерий же, когда пил, скрючивался от боли, как поломанный чайник, и выпускал из себя нехороший свист.

Одна Арина Варваровна была тиха: она все думала о том, что у нее на сине-белом животе должен прорезаться близкий ей лик, которым она не боялась бы смотреться в зеркало. Трогая живот своими скрюченными длинно-медленными пальцами, она пыталась выдавить-проявить там лицо, напевая пальцами песенку. «Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!» — вился у нее между ног белокурый мальчик, обливаясь ее потом, как молоком.

А кругом было много, много, как планет, песен! Правда, не слышных. Даже Василий — у себя, за двести верст — не слышал ничего. Ибо голос Бога превратился у него в тиканье часов. Но что слышали другие?!

Все повернули головы к Самойлову, виднеющемуся на горизонте, как скала. Почему еще не проходили мимо него тучи? Но городские любили лазить по Самойлову, считая его самой высокой горой. И вывешивали на его вершине флаг. На самом деле Самойлов так очерствел, потому что весь был покрыт гробами. Говорили, что в этих гробах хоронились его прошлые жизни.

— К Самойлову, к Самойлову! — завизжала Арина Варваровна так, что у нее чуть не отвалилась змеевидная голова. — К Самойлову!

Ее не смущал даже пар, исходящий из гробов...

Самойлов сузил свои закрытые глазки. Началось пиршество. А как тосковал Василий, слушая тиканье часов! О, если бы они были боги!.. Почему так странно отражается в небе лик Арины

Варваровны, ушедший в другой мир?!. Звезды улетают прочь от этого видения. А вот и приполз Загоскин. Арина Варваровна обычно щекотала тогда свое брюхо хвостом, вырастающим из земли... Загоскин не любил эти картины. Он так искал странные лики Арины Варваровны, точно хотел стать полотенцем, стирающим с них грязь. Волосы вставали дыбом от такого удовольствия.

Самойлов любил их всех принимать. Он суживал свои глазки, так что они выкатывались внутрь, в свое пространство, чтоб не видеть гостей. Как смеялся тогда Самойлов, любуясь их тенями! Это было его тихое развлечение, почти отдых, потому что, хотя жизнь его была скована гробами, в ней был непомерный свет, отрицающий все живое. И Самойлов всегда улыбался этому свету в себе такой улыбкой, что многое зачеркивалось в мире. Он никогда не искал лики Арины Варваровны, считая, что это не для него.

Он думал, правда, о высшем, верхнем лике, но его не было. А когда его не было, тиканье часов в ушах Василия превращалось в звон. Этот звон не напоминал о душах умерших.

«Сорвать, сорвать гробы, — думал Валерий, отлетая то в сторону, то к югу. — Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!»

И от его плевков смывались города.

Он любил превращать проклятие в акт благодати.

Но из гробов никто не выходил. Только черно-красные тени порой, как проекции демонов, восходили от гробов к звездам, как будто вокруг курили и жгли костры, заклиная... Но уже давным-давно не было магов. Да и зачем они были бы здесь нужны?! Все и так прекрасно виднелось...

А Самойлов ничем не отвечал на призывы Валерия. Он смотрел в свой свет, который не умирал, обнимаясь с тенями.

И вдруг завыла Арина Варваровна. Это прорезывался новый лик на ее животе! Тот, что должен быть ей близок. Своим отчужденным змеевидным ликом она смотрела в свое дитя-личико. И ей виделись там виселицы и звезды.

— Хо-хо-хо! — заливалась Арина Варваровна.

Но вдруг дух ее помутнел.

«Есть ли там, за виселицами и звездами, родное, мое родное?!! Или ничего нет и все мне кажется — и виселицы, и звезды, а есть только отражение моего змеиноного, отчужденного лица в моих новых глазах?! — думала она. — Но почему же так слад-

ко на сердце?! Может, наоборот, в моем отчужденном лице уже отражен новый лик?!»

И все заходили, заплясали вокруг ее живота. Валерий, уменьшившись до полена, впрыгнул в яму на теле Николая Семеновича, где раньше была задница. И Николай Семенович заскакал, как кенгуру. Только кто был самкой, кто детенышем?

А далеко на горизонте, у полыхающего огня, куда опускалось черное солнце, провиделась фигура Василия. Он одиноко брел, разговаривая с воплотившимися часами.

Однако Загоскин бешено искал лики Арины Варваровны. Запутавшись в тенях других миров и в несуществующем, он то хохотал, изменяясь ликом, то рыдал, отчего у него светлели волосы.

— Господи, Господи! — бормотал он.

Ночь все чернела, и все больше виделось.

Наконец, бросив все, скрючившись, как лягушка, он — на четвереньках — присел около Арины Варваровны, пристально всматриваясь в ее новый, появляющийся лик. И Арина Варваровна тоже пристально вглядывалась в этот лик, застыв непонятной головой. Так оцепенели они на несколько мгновений. Тень другого лица, ушедшего в иной мир, с неба приблизилась к ним, повиснув близко, как крылья птицы. Кругом из стороны в сторону скакал Николай Семенович — Валерий. Угрюмо молчал Самойлов.

И тут Загоскин, опередив змеевидный лик Арины, который мог бы уже оторваться от нее, яростно исчез... Но сама Арина ничего не заметила. Загоскин пропал, словно утонув в новом лице.

— Где родное, родное?! — выла Арина Варваровна, всматриваясь в себя, как вампир.

И вдруг вскрикнула:

— А... А!! — точно что-то увидела, и разгадка мелькнула на ее несуществующем лице. И наверное, это видение было решающим, возможно, утвердительным ответом, потому что она тут же забыла его не то от ужаса, не то от бездны.

— Нет, нет родного!! — закричала она потом, точно очнувшись.

По существу, его и действительно не было.

И тогда все закричали, завывли и полетели. Одного Самойлова не было. Первая полетела Арина Варваровна. Точно ее лики

смешались друг с другом и она смотрела на Землю уже одним глазом, упоенным и настойчивым.

В стороне от нее, как веера, разлетались жирные, в пиджаках, дядьки с крылышками и мясистыми затылками. Сталкиваясь задами, они как бы совокуплялись, отчего мелькали искры. Но сами они были еще неприятнее этих искр, хотя в то же время устойчивы. Двигалась тьма, словно совсем живая. Валерий вылетел из тела Николая Семеновича. А последний, оседлав камень, тот камень, который представлял несуществующий лик Арины, летал на нем, облюбовывая его и дивясь миром.

Так летали они долгие дни и ночи.

Виталий имел лицо (если считать «это» лицом) до того полупьяное и трезвое, до того сморщенное и обезьяновидное и вместе с тем холодное, что мало кто его замечал. Даже когда он бежал мимо всех по улицам, точно нагоняя то, что было позади него. Да и глаза Виталия никого не пугали: были они остановившиеся, маленькие, черные-пречерные и не по-нашему ледяные, хотя и загадочные. Густые темные волосы обрамляли это исчезающее лицо. Никто также не думал о том, чем он занимается. Не до занятий ему было на этом свете. Сексуальная жизнь его была тихая, примиренная и так удовлетворяла его, что он ее не замечал. Общался он в этом смысле, если не считать, конечно, женщин, только с деревьями. Особенно обожал листы, которые как бы скрывали его от мира. Рисовал на заводе плакаты, делал кораблики для дураков. По ночам целовал папулино пальто.

Папуля был единственный член его семьи, с кем он и жил в средней, замороченной комнате с маленькими окнами в деревянном домишке. Еще жила у них в комнате курица. Правда, она была невидима, и Виталий часто пугал коридорных соседей, громко подпрыгивая и окликающая ее: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко!»

Даже папуля в эти минуты смущался и лез под кровать.

Сам Виталий был не очень большого роста, а папуля его и того меньше. Кроме этого, он был так похож на Витальку, особенно ликом, что многие считали их братьями-близнецами и не раз за это били.

Папуля страшно боялся Виталия, хотя по-своему его очень любил, прислуживая ему, спящему, по ночам в смысле питья и еды. Но, может быть, клевала невидимая курица. Сам Виталька любил спать на шкафу, у потолка, в яме между пыльными и грязными книгами по истории человечества. Еще он любил щекотать папашу. Странно, он делал это с таким радостным и визгливым видом, что папуле самому было смешно, и он чуть не падал со смеху, когда сынишка его атаковал. Многие годы это скрашивало их жизнь, развлекая, как аргонатов. Виталька (такая привычка появилась у него лет с двадцати), перед тем как щекотать, скакал на одном месте на одной ноге и дул в ладонь. Папаша тогда уже сразу понимающе улыбался и, оскалась, лез помолиться — неведомому Богу. Проскулив, радостный, как недотрога, Виталька, корчась, подбегал и, строя нечеловеческие гримасы, щекотал где попало, отплевываясь от стыда. Папаня извивался и бегал из угла в угол, урча. Виталька — за ним. Присутствовала ли невидимая курица, когда они носились так по комнате, словно уверенные?! Но были ли они действительно уверены или просто не знали?! Однако соседи не замечали это щекотанье, хотя оно и смешило их по ночам, в постелях.

Так, в твердости, проходила их жизнь. Виталия все разносило и разносило от полупьяной радости. Казалось, щекотанье заменяло ему религию. Папаша не хирел и даже прятался от него, прикрывая голову платком, причем только тогда, когда Виталий его не щекотал.

Отсутствие мамы вообще как-то благообразило Виталия, и от сознания, что у него никогда не было матери, он тихо светлел лицом. Матери действительно не было; рождение Виталия до того мутно, запутанно и архаично, что трудно сказать, от кого и от чего он родился. Как известно, есть много способов родиться без помощи человека, но тут дело было даже не в этом... Папуля, правда, присутствовал, но как-то пугливо и до того мимоходом, что и сам не понимал происхождения Виталия. Единственно известно, что после появления Витальки на свет папаша одел на член елочную игрушку и никогда не снимал ее, отказавшись от женщин. Когда папаша прыгал по уг-

лам от щекотания, казалось, что это бренчит погремушка — по-новогоднему звонко.

Но с течением времени все нарастала и нарастала серьезность. Виталий уже не мог выносить вид луны и нередко, обернувшись собакой, выл по утрам на солнце. Папаша не раз тогда хотел припугнуть его поленом, хотя обычно был молчалив. Но с привнесением серьезности и света их отношения стали меняться. Виталий все холодел и холодел, словно его душа проносилась во сне мимо чудовищного ангела. А глаза становились все отвлеченней и отвлеченней. Прежде всего это сказалось на главном, то есть на щекотании. Теперь Виталий стал выполнять его как-то более надменно и с оговорками, что-де это еще не все. Папулю такое высокомерие страшно раздражало, и он, брызжа слюной, извиваясь под цепкими пальцами Виталия, верещал сквозь хохот:

— Ты дери, дери... Но по-сыновнему!

Особенно бесило его небо, временами мелькавшее в ледяных глазах Виталия, когда он щекотал.

— Что я тебе — мейстер Экхарт?! — визжал тогда старикан, снимая штаны, чтоб голым задом отпугнуть Виталия. Но тот и зад щекотал так же неистово и отчужденно.

Именно неистовость особенно нарастала после перелома. Росло и отчуждение, которое стало до того ненормальным, что исчезла невидимая курица. Напрасно старикан обмазывал по ночам лицо сына манной кашей, напрасно рвал зубами переписанные мистические тексты и вообще принимал контрмеры. Но дальше так продолжаться не могло. Виталий и сам не прочь был погрызть эти тексты, носясь по комнате.

— Чур меня, чур меня! — верещал тогда папуля. Но между тем упорно никуда не уходил. Его отцовские глаза наливались кровью, и сам он был весь в синяках от безудержных щипков Виталия. Еле мог спать по ночам от воспоминаний, ворочаясь в рваной и теплой постели.

И наконец свершилось. Щетка встала вверх, когда пробил этот час. (Как будто щетки имеют сознание.) Виталий проснулся совсем оледенелый. Словно был в объятиях Непостижимого. Однако странно хлопал себя по задку. И вдруг с каким-то бешеным ожесточением бросился к папуле, сидящему в комнате на горшке (он любил эту позу). Лицо сына было до того холодно и бесстрастно, словно улетевшее Бог знает куда, что старикан завизжал.

— Да будешь ты, наконец, водить меня в угол, сынок?! — кричал он, вскочив на ноги. — Прощу тебя!

И протянул ему руку.

Проплясав и впившись щекотаньем в ладонь, Виталий глянул в окно. Ни солнца, ни луны не было.

«Когда же исчезнут светила!» — с первой тоскою в жизни подумал он.

Щекотал бешено, а в душе было небо, пустое, бездонное, как будто все светила действительно растворились там и от них остались только слабые белые облачка. Эта пустота, этот свет были настолько огромными, что Виталий завыл... Свет без источника опрокинул его разум, который просто исчез, обернувшись невыразимой стороной. Всетождественный, неподвижный свет оказался таким странным, не от звезд и не от мира сего, что ничего не было, кроме него, да и он был не тем, чем провидится только божественный свет... «Содержит ли он в себе навеки недоступное живому основание, скрывает ли он что-то за собой, несмотря на свою безграничность?!» — мелькнуло в исчезающем уме Виталия. Далее он уже ничего не ощутил... Это был свет, равноценный абсолютному мраку, оставаясь в то же время бездонным и равным себе светом... Может быть, этот свет был просто иной, но буквальной стороной тьмы. Однако присутствие такой открывающейся, но закрытой реальности настолько грозно и в то же время вне всего, что душа должна невыразимо и бесповоротно измениться. Хотя как будто свет не находил в душе ничего, кроме ее непроявленности.

...Между тем в миру происходило следующее: Виталий так щекотал папулю, словно стал заводным и окончательно потерял всякое земное управление. Папаша прикрывался от него вшивым хламом, кастрюлями и в изнеможении скакал по углам, срывая обои. Наконец подхватил припрятанный где-то собственный портрет и стал прикрываться им (огромным и надежным), как полущитом. Но Виталий, казалось, готов был защекотать само Непостижимое, как бы оно ни скрывалось... С ледяным лицом он неотступно следовал за папулей... Наконец тот, как-то не по-нашему дернувшись у стены, издал последний вздох... Неожиданный его труп свалился прямо к ногам Виталия... Но тот продолжал надменно и яростно его щекотать... Труп долго дергался, точно сворачивался комком, как будто Виталий возился с невоспитанной кошкой...

Когда к Виталию возвратилось сознание и его светоносное откровение внезапно и жутко закончилось, он обнаружил себя сидящим на табурете, у окна... Труп, уже холодный, валялся у противоположной стены, как пьяный... Виталий глянул в окно: небо было пустынно и безразлично, только одна единственная звезда бледно пылала в нем, точно знак его бездонного путешествия... Может быть, эта звезда был он сам...

...Медицинско-научная сторона обошлась. Решили, что папуля умер сам по себе, от разрыва сердца. Синяки же якобы не имели отношения к смерти.

Похороны были трогательными, но походили на хохот. Виталька до того был занят собой, что плакал над гробом. Папуля между тем стал до неприличия изменяться в лице, особенно перед самым опусканием. То ли он просто удивлялся, то ли на самом деле был уже не тот. Его сестра, тонкое, улетающее от своего тела существо, особенно разволновалась, когда вместо серого, мышинного лица папули, так схожего с Виталькиным, вдруг появилось загадочное, надменно-ожиревшее лицо древнеримского патриция, до хулиганства тем не менее похожее на гробовую маску, которую-де папуля обрел вместо прежней, жизненной. Одним словом, много крутом было суматохи, возни, слез, тухлятины и всякой полусимволики.

Ветер рвал в небо гробовые одежды. Как он еще не сдул вверх самого мертвеца!

Положение осложнилось и тем, что Виталий, вообще ничего не понимающий в происходящем, вдруг почувствовал сильный позыв по-большому. Когда грянул шопеновский похоронный марш и весело мелькнули лица музыкантов, все странно и юрко похожие выражением на папулин жизненный лик, Виталия просто прослабило. У него начался утробный понос, причем тут же, на месте. Произошел дикий скандал. Уже мелькали зонты и платочки. Однако кто-то, ловкий и круглый, подпрыгнув, успел так толкнуть Виталия в бок, что тот отчаянно упал, серьезно повредив себе бедро. Впопыхах Виталий сразу не почувствовал боли и принялся яростно щекотать куст, под которым оказался, приняв его за несексуальный объект. Его еле оторвали от куста. Тот же, ловкий и круглый, успел еще плюнуть в гроб, совсем перед закачиванием.

Срочно пришлось вызывать «скорую помощь», которая смешалась с гробом и провожающими...

С похорон Виталий — с тем же дальним и надменным выражением лица — попал в хирургическую больницу.

Там было мрачно и неудобно. Большинство поврежденных лежало в коридоре, Бог знает как. Простыни вздымались по сторонам. Виталий огляделся: так вот он куда попал после своего откровения! Впрочем, теперь ему было все равно. Свет исчез, но Виталий уже не был таким, как прежде. Некая реальность вошла.

Крутом урчали от боли и гоготали. То и дело сновали нелепо равнодушные сестры и нянечки. С тупым упорством они не подавали воды человеку, кричащему на полу рядом с Виталием. Впрочем, от человека остался, как говорится, почти клочок волос, настолько он был не мясист.

По другую сторону Виталия лежал огромный мужчина, который по делу упал с пятого этажа и долго пролежал так на мостовой, пока не приехала «скорая помощь». У него были разрушены кости, но, умирая, он непрерывно рассказывал похабные анекдоты, так и умер к вечеру с анекдотом во рту.

— Умру или не умру? — спрашивал он перед смертью.

Многие слушали его анекдоты.

Вообще, к вечеру Виталий телесно почему-то окреп, и ему показалось, что от его присутствия люди стали умирать еще резвее. Вряд ли это было так, но, помимо анекдотчика, поздно вечером умер еще голопузый мужик, лежащий вниз животом. Он любил громко и шумно, подряд, испускать ветры, за что пользовался каким-то уважением у больных. С этими звуками он и ушел на тот свет.

— До баб ли ему! — хохотала нянечка, снимая с него штаны.

Как тени, мелькали врачи.

«Где луна, где светила? — думал Виталий, глядя в окно. — Где облака?! Где моя бездна?!»

К нему подходили с вопросами о штанах полуумирающие и, не получив ответа, отходили. Потому что леденело-невиданная ясность светилась в его глазах. Но они отходили не от ясности, а оттого, что принимали ее за удар топора, произошедший где-то рядом, в другой палате. И то это были самые чувствительные.

Всюду, куда он приходил, получались истории.

На его глазах на следующее утро привезли мужика, наполовину раздавленного, и положили в ванну так, что была видна одна голова. Да туловища, по существу, и не было. Старик боль-

ной, непохожий на всех остальных, вздрогнул и перекрестился, увидев раздавленного.

— Что? Боишься, старик?! — проговорила голова. — А вот я не боюсь! — И сверкнули угрожающе черные глаза.

Немного спустя «он» — с головою, без туловища, — как полагается, умер.

Но Виталия уже не умиляли эти картины. Стал ли он видеть затылком или у него появился высший, верхний лик?! Или просто он был в пути, застревая в черном?! Как мумия, скрестив руки, точно открывая умерших богов, бродил он среди больных, пронзая самого себя своим отсутствием. Иногда шупал появляющиеся в сознании — как облака, как предтечи — миры.

...После многих смертей еще спокойней стало в коридорах. Впрочем, всем было до деревяшки. По-своему не замечал Виталий и юркого, единственного крикливого больного, рассказывающего всем, как он пять раз за последний год попадал под поезд.

— Как только сяду в электричку, так обязательно попадусь. Места на мне живого нет!! — покрикивал он перед сонной и одуревшей от полусекса сестрой, которая любила пить касторку.

Последний раз его так перемололо, что уж было забросили в морозильную машину для мертвых, но кто-то пронюхал, что он полужив.

Носильщик тогда обратился к остолбенелому на своем месте медвежье-огромному милиционеру:

— Вызови «скорую».

— Гу-гу, — ответил милиционер.

— А если тебя так? — скорчился носильщик.

Мякнув, милиционер скрылся... А поломанный, как только открыл глаза, очнувшись, тут же схватился кровавой рукой за член: жив ли?!

— Вам подарочек, сестренка! — лихо выкрикивал теперь этот больной, распахивая перед няней халат. — Мотоцикл купить не могу, а вот это пожалуйста!!

Няни прогоняли его тряпками. Впрочем, все было чисто. Кто-то играл в домино, постукивая костылями по стулу. Кто-то входил, кто-то уходил, кто-то сталкивался лбом с соседом. Мяукала под кроватью кем-то принесенная кошка.

«О мое море, мое великое море!» — думал Виталий, проходя мимо них.

Ему не хотелось даже щекотать врачей или стулья. Все исчезло, все уходило в туман. «Как отразился во мне тот непо-

движный свет без источника, что я видел? — останавливал он мысль. — Неужели и во мне он, уже другой, все равно незрим для моего глаза?!»

Он слышал колокол в своем уме. Этот звук гасил все прежнее, и он чувствовал, как в поле души его появляется и дышит под тьмой что-то живое и невиданное, до ужаса осязаемое, которое может проявиться для его сознания.

Но и непроявленное, оно было выше, чудовищней и безмернее, чем весь свет мира сего.

— Я завидую себе! Я завидую себе! — прокричал Виталий в открытое ночное окно московской больницы. — Я завидую себе!

И он почувствовал, что в его душе появилась звезда, вернее, призрак той звезды, которую он видел — единственную — в утреннем небе, сразу после своего откровения. И была она, может быть, он сам.

Да, он достоин зависти к самому себе.

У хмуренького, невеселого мальчика Вовы родилась сестра. Ну, сестра как сестра — толстенькая, розовая и мокрая, как пот от страха. И на мир она не смотрела, а только дрыгала ножкой. Все живое суетилось вокруг нее: мама забросила бить папу кастрюлей по морде, а папа забросил свою карьеру. А бабушке Федосье перестали сниться ее сны про сумасшедших. Даже котенок Теоократ стал почему-то побаиваться мышей.

Но особое изменение произошло у мальчика Вовы. Раньше он ни на что не обращал внимания, а кино считал выдумкой. Но с рождением сестры стал понемногу настораживаться, точно случилось что-то большое, вроде прилета марсиан или венерян.

Ушки его теперь раскраснелись, он подолгу запирался в уборной, что-то вычислял, а когда все взрослые толпились вокруг сестры, забивался в угол и оттуда смотрел, как смотрит, например, собака на электрический двигатель.

— Вова так робок, что боится даже своей сестры-младенца, — говорил по этому поводу папа Кеша своему лечащему психиатру.

Но так как все были заняты своей девочкой Ниночкой, то Вову особенно никто не замечал. Даже котенок Теоократ.

А между тем мальчик Вова беседовал со своей сестрой. Ког-

да в комнате ненадолго никого не было, он подобрался к ее колыбельке и урчал.

Девочка Нина глядела на него ясно и доверчиво. Она, наверное, считала его истуканом, пришедшим с того света. И поэтому строила ему глазки. Но мальчик Вова подходил к ней не с добрыми намерениями.

Надо сказать, что колыбелька Ниночки стояла почти на подоконнике, у открытого окна. А этаж был седьмой. Дело происходило летом, и мама Дуся считала: пусть дитя овекает свежий воздух. Она верила в открытый мир.

Однажды все взрослые, обступив Ниночку, верещали: «У, ты моя пуль-пулька, у, ты мой носик, у, ты моя колбаска», — а на Вову даже не поглядели, не говоря уже о том, чтобы сказать ему что-нибудь ласковое. Мальчик Вова так рассердился, что решил тихонько спихнуть Ниночку на улицу, в открытый мир, как только все уйдут. Он возненавидел сестренку за то, что ей все уделяли внимание, а на его долю остался шиш. Но теперь его терпение лопнуло. Особенно уязвило поведение папы Кешши. С давних пор мальчик Вова считал папу Кешу Богом и очень любил, когда Бог его согревал. А когда божество повернулось к нему задницей, мальчик Вова внутренне совсем зарыдал. Только никто не видел его слез, кроме крыс и маленьких домовых, прячущихся в клозете.

И вот когда в комнате никого не осталось, мальчик Вова на цыпочках, оборотившись на свою тень, подкрался к люлочке с Ниночкой. Лю-лю-лю, люлочка. Несомненно, он тут же спихнул бы сестренку в открытый мир, но произошла некоторая заминка. Не успел Вова приложить свои игрушечные нежные ручки, чтоб опрокинуть дитя, как в последний момент вдруг заинтересовался ее личиком. Дитя в этот миг было особенно радостно и прямо улыбалось Бог знает чему, махая ножками.

— Ишь, точно мое отражение в зеркале, — заключил мальчик Вова. — Но в то же время ведь это не я, — успокоился он.

Вовик ухмыльнулся и хотел было уже опрокинуть дитя, но в этот момент вошла улыбающаяся мама Дуся. Мальчик кивнул ей и незаметно отошел в угол.

«Недаром говорят взрослые, что сразу никогда ничего не получается», — подумал Вова, засунув руки в карманы и делая вид, что рассматривает картинки.

Он был рационалист и любил доводить дело до конца.

— Ты надолго ли? — спросил он через несколько минут уходящую маму Дусю.

— За молоком, — ответила та.

На сей раз Вову не отвлекали всякие шалости.

Он ретиво подбежал к люльке и изо всех сил толкнул ее, как буку. Дитя летело вниз как-то рассыпчато, всё в белом белье, только ручки вроде бы махали из-под одеяла. Вова настороженно наблюдал из окна. «А вдруг не разобьется», — думал он.

Но дитя, шлепнувшись, больше не двигалось. Вовику даже показалось, что лучи солнца непринужденно и разговорчиво играют на этой застывшей кучке. И она — эта кучка — словно веселится в ответ всеми цветами весны и радости. Он, пошалив, погрозил ей пальчиком.

Когда вернулись родители, то, естественно, им стало нехорошо. Даже очень нехорошо. Все было вполне естественно. Мальчика Вову тут же спрятали в другую комнату, чтоб не напугать. Бабушка Федосья ссыалась на свои сумасшедшие сны, папа Кеша — на ветер, а мама Дуся ни на что не ссыалась: она не помнила даже себя.

Но зато потом, через несколько недель, когда все утомилось и очистилось, родители души не чаяли в Вовике. «Ты наш единственный», — говорили они ему. Жизнь его пошла как в хорошей сказке про детей. Все ухаживали за ним, одевали, давая волю ручкам, закармливали и дарили ласку, нежность и поцелуи. Мальчик рос, как дом. Только иногда он пугался, что кто-то Невидимый спихнет его с седьмого этажа, как он толкнул сестренку. Но ведь невидимое существовало и раньше, до того как он ее спихнул.

«Все равно от невидимого никуда не денешься», — вздыхал мальчик Вова и продолжал наслаждаться своей жизнью.

Жара плыла по южному берегу Крыма; от красоты прямо некуда было деваться, и ощущалось даже что-то грозное в этой игрушечной красоте, потому что это была не просто игрушечная красота природы, то есть чего-то не зависящего от воли человека. Людишки, приехавшие сюда из разных мест, хихикали до потери сознания; их больше бесила не красота, а теплота и воздух, в которые они погружали свои разморенные непослушные тела. Они не понимали, почему на свете может быть так хорошо и красиво, и, тупо выпятив свои безмутные глаза и животы вперед, на море, толпами стекались к берегу.

Весь пляж был усыпан телами, и дальше это месиво продолжалось в море, в нем, плоть от плоти, стояли и бултыхались людишки — некоторые приходили в воду с закуской и, погрузившись по грудь в воду, часами простаивали на месте, переминаясь время от времени, тут же перекусывая, другие ретиво полоскали белье, наиболее юркие и смелые заплывали подальше, куда обыкновенные обыватели не рисковали. На пляже расположились несколько грязных пунктов для еды, два дощатых туалета и неуютный, как ворона, посаженная на палку, крикливый громкоговоритель.

Дальше над людьми величественно-безразлично возвыша-

лись горы, а пониже — курортный городишко с белыми хатами, ларьками, венерической больницей и парком культуры и отдыха.

В одном из маленьких домишек-клетушек, целиком забитых приезжим народцем, снимала треть комнаты Наташа Глухова — странное, уже четвертый сезон скуки ради отдыхающее у моря существо. В домике этом у обезумевшей и впавшей в склероз от жадности хозяйки все комнаты-норы были уже до неприличия замусолены отдыхающими. Людишки, оказавшиеся здесь, ходили друг на друга прямо до абсурда: не то чтобы они были безличны — нет, но все их изгибы и особенности были странно похожие, во всяком случае одного типа, они даже слегка ошалели, глядя друг на друга. К осени почему-то потянулось и более отклоняющееся от нормы; рядом с Наташей снял, например, гнездо лысо-тоlstый пожилой человек, который всем говорил, что приехал на юг потому, что страсть как любит здесь испражняться.

— Оттого, что, во-первых, тут ласковый воздух, — загибал палец он. — Во-вторых, я люблю быть во время этого, как тюлень, совсем голым, без единой маечки, а у нас в Питере этого нельзя — простудился.

Сама Наташа Глухова даже этого типа воспринимала спокойно, без истерики. Она не то что не любила жизнь — и в себе, и в людях, а просто оказывалось, что жизнь сама по себе, а она — сама по себе. Она не жила, а просто ходила по жизни, как ходят по земле, не чувствуя ее. Формально это было двадцатитрехлетнее существо, с непропорциональным, угловато-большим телом и лицом, в котором дико сочеталось что-то старушечье и лошадиное. Лучше всего на свете она выносила работу — спокойную, тихую, как переписка. Немного мучилась вечером после работы. Так и свой отдых в Крыму она воспринимала как продолжение работы нудной, скучной, только здесь еще надо было самой заполнять время.

Поэтому Наташа, несмотря на нежное, пылающее солнце и море, подолгу растягивала обеды, походы за хлебом: из всех столовых и магазинов выбирала те, где очередь подлиннее.

«Постою я, постою, — думала она. — Постою».

Иногда, в состоянии особого транса, она у самого прилавка бросала очередь и становилась снова, в конец.

В очереди было о чем поговорить.

Нравилось ей так же кататься туда-сюда на автобусах. Правда, смотреть в окна она не особенно любила, а больше смотрела в одну точку, чаще на полу. Пешком она ходила медленно, покачиваясь.

Зарплатишка у нее была маленькая, шальная, некоторые собачки больше проедят, но ей хватало; к тому же за четыре сезона в Крыму у нее выработалась меланхолическая старушечья привычка по мелочам воровать у отдыхающих. Это немного скрашивало жизнь. Прodelьвала она это спокойно, почти не таясь; отдыхающие не думали на нее просто потому, что на нее нельзя было подумать. У одного старичка стянула даже грязный носовой платок из-под подушки. «Во время менструации пригодится», — подумала она.

Как ни странно, Наташа Глухова была уже женщина; наверное потому, что это не составляет большого труда. Но одно дело стать женщиной, другое — держать около себя мужиков, насчет этого Наташа была совсем вареная.

От нее разбегались по двум причинам. Во-первых, от скуки.

«Полежим мы, полежим, — казалось, говорил весь ее вид. — Полежим».

— Какая-то ты вся неаккуратная, — сокрушался один парень-свистун. Он почему-то боялся, что она заденет его во время любви своей длинной ногой, заденет просто так, по неумению располагать своим телом.

Во-вторых, многие чуждались ее хохота.

Надо сказать, что Наташе все-таки немного нравилась половая жизнь, поэтому-то она не всегда просто «шагала» по ней, как «шагала» по жизни, а относилась к сексу с небольшим пристрастием. Выражением этого пристрастия и был чудной, подпрыгивающий, точно уходящий ввысь, в никуда, хохот, который часто разбирал ее как раз в тот момент, когда она ложилась на спину и задирала ноги.

Один мужик от испуга прямо сбег с нее, в кусты и домой, через поле.

Некоторые и сами принимались хохотать. Так что половая жизнь Наташи Глуховой была никудышной. Но это не мешало ей здесь, в Крыму, почти всегда понапрасну — под вечер выходить на аллею любви. Сядет и сидит на скамеечке.

«Половлю я, половлю, — думала она. — Половлю».

Ее — по какому-то затылочному чувству — обходили стороной. А она все сидела и сидела, утомленно позевывая. Ветер ласкал ее волосы.

Этот год, наверное, был последним в жизни Глуховой на берегу моря; она просто решила в следующий раз поглядеть другие места.

И все проходило как-то нарочито запутанно; сначала, правда,

было, как всегда, весело-пусто и скучно совсем одной. Но потом вдруг примкнулась к жирной, почти сорокалетней бабе Екатерине с двумя детьми, въехавшей в соседнюю комнату. Эта Екатерина оказалась такой блудницей, что темы для разговоров хватило на весь дом.

— Рожу бы ей дегтем вымазать, — от злобы и зависти причитали все: старухи и молодухи.

Но Наташа Глухова к ней привязалась. Как раз в это время тот самый мужик, который ездил на юг испражняться, впал в какое-то жизнерадостное оцепенение и перед каждым заходом в уборную на радостях страшно напивался и, запершись, по часу орал там песни. Это внесло какой-то ненужный, суетливо-мистический оттенок в жизнь Глуховой. Катерина ее полюбила: она не замечала выкинутости Наташи, была довольна, что та ее не осуждает, не может конкурировать с ней, и водила с собой. Наташа с удовольствием прогуливалась с Катериной за хлебом, на базар, в магазин. Часто провожала на любовные случки то к одному мужику, то к другому. Провожала почти до самого места и, отойдя немного в сторону, терпеливо и покойно, положив руки на задницу, прогуливалась взад и вперед вокруг кустов. А иногда просто ложилась где-нибудь в стороне поспать.

А Катенька, надо сказать, блудница была шумливая, с кулаком. Долго она выжить на одном месте не могла. Очень быстро совсем разгулялась и стала пускать мужика, а то и поочередно двоих, на ночь прямо к себе в комнатушку, где спали ее детишки.

Один ее любовник так обнаглел, что после соития захотел отдохнуть непременно один и стал спихивать дитя с раскладушки. То подняло крик. Наташа Глухова и тут умудрилась помочь Кате — успокоила разревевшееся дитя сказками и тем, что старших надо слушаться.

Но озверевшие от зависти бабы-соседи на следующий день своим гамом и угрозами выгнали Екатерину. Но странно, в этот же день Наташе, которая могла бы очутиться в обычной пустоте, опять подвезло. В домишко приехала из какой-то полукомандировки хозяйская родственница, из местных, Елизавета Сидоровна.

Она оказалась именно тем нелепым существом, которое подходило Наташе. Женщина эта была уже пожилая и до одурения начитанная популярными брошюрами. Каждую брошюру она читала исступленно, с какой-то сухой истерикой и значением. Делала выписки. Мужчин у нее никогда не было, если не считать однодневного греха молодости, да и тип-то оказался сумасшедшим,

сбежавшим из ближнего психприюта. Он так и поимел ее в колпаке и сумасшедшем халате. Его в тот же день отправили обратно в дурдом.

С тех пор Елизавета Сидоровна его не видела, хотя у нее и сложилась потом на всю жизнь привычка прогуливаться около сумасшедших домов. Мужиков же она больше не имела, потому что боялась жить с несходными душами.

Полоумно-веселая, но с дикой тоской в глазах, она сразу же захватила в свои объятия Глухову.

На мужчину, который любил испражняться, она тут же написала донос.

А Наташеньку часами не выпускала из своей комнатухи, метаясь вокруг нее и завывая тексты популярных брошюр. Наташеньке было все равно, как скучать, лишь бы скучать.

Правда, когда кончалось чтение, Елизавета Сидоровна в своем отношении к действительности оказывалась интересней.

Огромная, жабообразная, с выпученным вдохновенным лицом, Елизавета Сидоровна носилась по курортным полям, увлекая за собой Наташеньку. Она была очень хозяйственна: когда утром вставала, то записывала по пунктам, что ей нужно сделать. Работала она по бесчисленным общественным линиям. Все ей хотелось переделать, даже на травку и кустики готова была написать донос, что они растут не по-марксистски.

Наташа семенила за ней. Елизавета Сидоровна водила ее как добровольного помощника по разным комсомольским столовым, «друзьям природы», «стрелкам-отличникам».

Ее работа выражалась в разговорах, устных и письменных, Наташа же Глухова все время молчала. Но ни от разговоров Елизаветы Сидоровны, ни от молчания Наташи ничего не менялось.

Жара была невероятная, море стало теплое, как парное молоко, а Наташа Глухова со своей подругой носились по учреждениям. Елизавета Сидоровна как-то не замечала, что Наташа все время молчит и что ей нравится не общественная работа, а просто времяпрепровождение. Наташа находила тут слабоумный уют: во время общественных разговоров Елизаветы Сидоровны она переминалась с ноги на ногу, осматривала газеты, плакаты, листы, и часто простые слюни текли у нее от ушастого внимания и от такого нудно-хорошего, длинного занятия.

Ей было лень даже ходить мочиться в уборную. Одного дядю она прямо перепугала тем, что рассмеялась посреди разговора. А однажды от индифферентного удовольствия взяла и легла на

пол во время собрания... Несмотря на это, Елизавета Сидоровна все больше и больше привязывалась к Наташе, привязывалась, как одинокий прохожий к собаке, которая бежит за ним по длинной пустынной дороге. Глухова же видела, что все эти люди, хотя и казенно-серьезно относятся к словам Елизаветы Сидоровны, на самом деле над ней насмеваются и она страшно одинока. Елизавета Сидоровна тянулась к Наташе. Находя в ней что-то общее, неповоротливое и прислушивающееся к отсутствию... А Наташеньке все было безразлично. Она так же, несмотря на проповеди Елизаветы Сидоровны, поворовывала деньги, так же стояла в очередях и каменно улыбалась своей новой подруге. Последнее время, правда, Наташу стал разбирать хохот, просто так, ни с того ни с сего, но в точности тот самый, который возникал у нее перед соитием, когда она задирала ноги. Подойдет к прилавку, возьмет булку и рассмеется тем самым давешним, пугающим смехом. И бредет себе домой, потихоньку, улыбаясь.

Приближались уже последние дни на юге. Глухова слегка отошла от Елизаветы Сидоровны: просто ей было все равно, где сучать. Напоследок потянуло в море. Она долго, оцепенело плавала в нем, больше вокруг жирно-упитанных мальчиков-подростков. Иногда во время плавания ее тянуло спать, прямо в воде. Любила она, плавая, слушать громкоговоритель, особенно сельскохозяйственные темы.

Скоро наступил конечный день.

Как раз недавно — по инициативе Елизаветы Сидоровны — на пляже поставили рядом с милицейской точкой портрет. Многие отдыхающие полюбили, под его улыбкой, вблизи, шумно отряхиваться от воды. Другие тут же подолгу обтирались, приплясывая и поглядывая на лицо... А Наташа Глухова по привычке бросила в море пять копеек.

— Я тебя провожу, родная моя, до поезда, — сказала ей взвинченная Елизавета Сидоровна.

Наташе стало легче тащить чемоданы.

Подшли к поезду. Вдруг Наташа вспомнила, что она ни разу за жизнь на юге не смотрела на вечернее, звездное небо. Ей стало грустно, и она пожевала конфетную бумажку. А Елизавета Сидоровна заплакала.

— Прощай, Наташенька, я тебя полюбила больше своей жизни, — сказала она. — Приезжай, новые брошюры читаем.

Глухова махнула рукой. Отдых кончился.

Вася Кепчиков очень любил прогуливать работу. Он и сам не понимал, зачем он, двадцатишестилетний, здоровый парень, это делает.

А в этот раз он рассуждал так: «Если б было на что напиться, можно было б идти на работу, а трезвому там делать нечего... Лучше уж по трезвости погуляю».

Был осенний, промозглый день. Мелкий дождик залил все окрестности, умыв их в серо-уютной скуке.

Молчали бараки, пивные, тихо шепталось каплями воды одинокое шоссе.

«Точно все схоронились», — решил Вася.

Он вышел на улицу в галошах и в огромной, нависающей, не по его голове, кепке. Постоял в большой разливочной луже. Покурил.

«Чегой-то у меня в зад у щекочет», — подумал он через полчаса.

Потом опять покурил и пошел по шоссе к темнеющему за сеткой дождя лесу. Выпить было не на что.

Мимо Васи проехал большой, самодовлеющий грузовик. Кепчиков не хотел посторониться, но все-таки невольно отошел в сторону от брызг.

«К чему бы это», — подумал он и пошел дальше.

Шел то мечтательно, скованно, то вдруг начинал безразлич-

но пританцовывать и посвистывать, хлюпая по грязнолужам. Плащ его при этом развевался, а из-под галош скучно-неповоротливо вылетали комки грязи.

Не дойдя до лесу метров пятьсот, Вася остановился у столба помочиться.

Он уже давно кончил мочиться, а все стоял и стоял у столба, покачиваясь. Насвистывал и как-то внутренне замирал. Через полчаса пошел вперед.

«Хорошая это штука, жизнь», — подумал Вася Кепчиков, входя в лес.

«В лесу много мухоморов», — опять подумал он.

Погуляв по лесу, от одного дерева к другому, от другого дерева к первому, Вася присел на пенек.

«Посижу я, посижу, — решил он. — Посижу».

Около пня под кустом лежал запачканный, полумокрый клочок газеты. Вася взял его и начал читать предложения.

«Инженеры построили паровоз», — прочел он. Ему стало тепло и уютно. «Это я построил паровоз», — повеселел он.

Так прошло много времени. Васе надуло зад. Оборотившись, он пошел из лесу. Слегка темнело. «Таперича и клуб уже открыт, — решил он. — Можно идти».

Обратно Вася направился той же дорогой, но больше безразлично пританцовывал.

В слякоти подошел к клубу. В главной комнате клуба, где танцевали, а по углам играли в шашки, было ярко-светло от безвкусного электрического освещения, но людишки тем не менее — их было очень много — казались черными-пречерными. От этой комнаты отходили темные закоулки-коридорчики, где творилось Бог весть что. Везде, даже около клозетов, висели портреты великих писателей, а в каждом углу торчало по милиционеру. Центр залы был неестественно чист, но по краям некуда ступить от окурков и семечек. Вася, полузгав в темноте с полчаса, втесался в зал.

«Пару много», — подумал он.

Потолкавшись вокруг себя под какую-то нелепо-бравурную музыку, он отошел в угол и стал смотреть в окно. Пальто для светскости он распахнул.

В клубе было очень мало парней и добрых две трети — девок.

Вася постоял, постоял, посмотрел в окно и вдруг уцепился взглядом за одну девку. Сердце у него екнуло, и в мозгу стало

оживленной. У девки — ее звали Таня — был очень странный, висевший, как две разбухшие кормящие груди, зад. А глаза лучистые-лучистые и очень нежные. Чувствовалось, что ей самой очень нравится ее зад.

Таня от нечего делать подошла к Кепчикову. У Васи потеплел живот.

— Постоим, — сказал он ей.

Они постояли.

Васю очень смущали глаза Тани: они излучали идеальность. От этого у него падала потенция.

«Ты, Вася, брось ей в глаза смотреть, — подбодрил он себя. — Ты ей в задницу смотри».

Он опустил глаза и так говорил, глядя в ее задницу. Прошло еще полчаса. За это время Вася совсем растек и ощутил в груди, у сердца, частичку ее ягодич. Ему стало так хорошо, что чуть не закружилась голова. Теперь он мог спокойно смотреть на Танино лицо. Лучистость уже не мешала, и он просто ощущал это лицо как продолжение зада.

Глазки его сверкали, и он даже стал притоптывать ножкой.

— Пойдем танцевать, — предложила Таня.

По-своему танцуя, Вася мусолил ее. Наверное, потому, что он расширял смысл ее задницы на все ее тело, он бессознательно оттирал Таню к клозету.

— Давай поженимся, — сказал он ей вдруг, оскалась.

Таня в ответ дружелюбно засмеялась.

А ему стало так светло и радостно, что он, тупо-ласково хихикнув, сунул ей под нос, как конфетку, мягкую оберточную бумажку. Ему захотелось нежно обмазать этой бумажкой все ее пухленькое личико, и его глазки блестели во тьме своих впадин.

— Поцелуй меня, — попросила Таня.

Прибавилось еще страшно много народу, все толкались, но в душе Васи была тишина.

Угощая в буфете Таню крем-содой, Кепчиков думал о том, как хорошо было бы выйти утром на улицу и постоять вместе с Таней в большой, разливающей луже. Оживленность вела за собой его скучноватость.

Он представил себе, как потом они выйдут из лужи и пойдут по одинокому шоссе до темного леса, безразлично пританцовывая и останавливаясь около луж или столбов.

Таня чего-то болтала. Вася мало слушал и все коршуном вглядывался в ее черты.

— Жена, жена, — тупо тянул он.

Ему страшно хотелось заглянуть внутрь ее лица, он был уверен, что найдет там самого себя. От замутившей ум родимости черты ее казались ему странными и волшебномногозначительными, хотелось то постучать пальцем ей по лбу, то провести ладонью по бровям, словно опасаясь, что все это исчезнет, как мираж.

Ему стало спокойней, только когда он представил себя с ней в постельке и почему-то вдрызг пьяных, умильно блюющих друг под дружку, на простынь.

Грнул марш. А вскоре пора уже было расходиться. Милиционеры вышли из углов.

Кепчиков, гогоча, вывел Таню на улицу. Провожать ее не стал, по неумению.

— Встретимся завтра, в шесть вечера около почты, — сказала Таня.

Кепчиков несколько раз громко на всю улицу повторил сказанное и ушел в темноту.

«Идти или не идти?» — думала на следующий день Таня. Она жила одна с матерью, которую била и выгоняла, когда к ним в дом приходили парни. А парней у Тани было не много, но и не очень мало.

Впрочем, иногда ей хотелось замуж. Но Вася ей не очень нравился, все было как-то муторно и неопределенно.

Дело в том, что каждый парень казался ей членом, который она целиком, до самого основания, желала впихнуть себе внутрь. А головы парней почему-то казались ей кончиками членов. Поэтому ее раздражали глаза людей, она терпела еще серые, неприметные, теряющиеся на лице. А у Васи глаза сверкали. Понятно, что как человекочлен он ей не подходил.

Таня не знала, что делать. Почесала затылок. Почитала книжку. Тело распухло, как мягкий арбуз.

«Да ну его, — решила она просто так. — Да ну его».

И не пошла на свидание.

Начался неуютный, как помой, дождь. Вася стремился пойти на свидание. Но часа за два, возвращаясь с работы, он попал под лошадь.

Почему-то под лошадь, а не под машину, хотя машин было много, а лошадь одна.

Его отвезли в больницу с переломом ребра и кровотоками.

В бреду, перед операцией, ему чудился большой, ласковый, туго обтянутый простым платьем зад Тани. Его окаймляли горшочки с комнатными цветами.

Вася думал, что, если он умрет, этот зад превратится в звезду и она будет вечно сиять над его могилой.

А у почты, на том месте, где должно было состояться свидание, никого не было. Только кто-то поставил туда пустое ведро, и оно простояло целый вечер.

В тоскливом, заброшенном дворе на окраине Москвы живет самый различный, то толстозадый, угрюмый, то тонкий, вьющийся и крикливый люд. Мат, вперемежку с глубокими философскими откровениями, день и ночь висит в воздухе. Философствуют все, от мала до велика: и начитанные дети, и отекавшие от переживаний жирные бабы, и мускулистые, шизоидные мужчины.

Среди молодежи самым первым интеллектуалом является, несомненно, Гриша Пеньков. Уже хотя бы потому, что он единственный глубоко рассуждает о смысле жизни.

Гриша — огромный, чудовищной силы малый лет тридцати с очень тяжелым, массивным, не то от дум, не то от толщины костей, черепом и звериным, отпугивающим детей и приманивающим женщин, оскалом. Обычно в карманах его по ножу.

Уже целый месяц у него длится скандальный, громкий, на всю улицу роман с дворовой проституткой Танечкой.

Танечка — полный антипод Пенькову. Она маленькая, изящная, с распущенными волосами и томными порочными глазами. Но иногда ее глазенки загораются искристым, восторженным светом, как у гимназистки, смотрящей в небо.

Больше всего на свете она

любит стихи, проституцию и любовь. Да, да, любовь. С самого первого дня ее тяжкого, тротуарно-слезливого падения Танечку преследует мысль о большой, светлой, как крылья ангела, любви. Чего только она не делала для этого!

Одному толстому пьяному мужику она нарисовала углем на его жирной, помойно-сладкой спине крылышки. Очень часто, на время соития, она любила вешать перед собой на стенку нежную картинку с изображением младенцев.

«Хоть и не поймешь кто, а все-таки младенцы, невинные дети», — думала она. Но любовь не приходила. Тело все время было удовлетворено, как после хорошей отлучки в уборную, но душа была мертва и молчала.

«Как хорошо люди устроены в отношении еды, — рассуждала Танечка, — и как плохо в отношении половой жизни. Поел и на тебе: все просто, ничего не ноет, только спать хочется, а пожил и на тебе: душа скорбит».

Кончилось тем, что Танечка сама нарисовала странный, непонятный рисунок. Он изображал мужчину-«одеял», как она его называла, вместо «идеал». Впрочем, если зритель был сильно выпивши, то фигурка могла смахнуть за человеческую. Странно только, что волосы у нее стояли дыбом.

Этот «портрет» Танечка неизменно вешала перед собой на время соития.

А месяц назад судьба столкнула ее с Пеньковым. Танечку привлекла в нем, во-первых, его безотказная, животная мощь, выставленная напоказ: Пеньков даже по двору ходил, почесывая член. Надо сказать, что стыдливая, скрытая потенция пугала Танечку, и она робела перед такими людьми, как в церкви перед священником.

Во-вторых, привлекло Танечку в Пенькове то, что он все-таки задумчивый, не такой, как все. Это соответствовало ее смутному желанию найти любовь.

Так начался их роман.

Он произвел большой шум, ибо Пеньков своим тихим, абстрактным мордобитием и философичностью так загнипотизировал Танечку, что она перестала отдаваться остальным обывателям.

Но тайна их клопино-романтического, пылкого романа заключалась в другом. Сам Пеньков, кстати, был довольно странное, угрюмое, но с проблесками дикого, истерического веселия существо. Родился он в крепкой, одуревшей от самой

себя рабочей семье. Родители ненавидели его за идеализм. На этой почве между ними происходили долгие, стулокрошительные драки. Пеньков вообще не мог говорить с ними, а всегда орал. Еще ничего, если б в самом Пенькове все оказалось в порядке. Но, выродок в своей семье, он был еще и выродком-неудачником. Для «эволюции» нужно было бы, чтобы он стал выродком какого-нибудь спокойного, эстетического, что ли, плана, а он — бац! — сразу влип в задумчивую мистику.

В первом случае ходил бы он потайненько в библиотеку, читал бы Гумилева с Ахматовой и приобретал бы некоторую утонченность в чувствах, и все складывалось бы потихоньку, закономерно, и, может быть, при удачных обстоятельствах что-нибудь произошло. Но получилось наоборот; «природа» совершила скачок и, оставив Пенькову необычайную тупость и животность во всех отношениях, осенила его лишь в одной области: в области «мистики».

И тут тупость давала себя знать: мистицизм Пенькова был своеобразный, параноидальный, не без «творчества» — он для себя додумывал некоторые мистические идеи.

Танечка страшно привязалась к Пенькову. И даже несколько дней не вешала на стенку картинку со своим чудищем. Пеньков заменял ей все. Гриша тоже первые дни лип к ней. Поражала его ее сексуальная боевитость: как раз то, что нужно было Пенькову. Но многое потом стало смущать его. Бывало, после бурного, крикливого, со стонами и битьем посуды, соития лежали они в постели тихие, присмиренные. Пеньков обыкновенно засыпал: так он делал всегда после акта или поножовщины. Но Танечка тормошила его.

— Лыцарь ты мой... Нибелунг, — говорила она, целуя его в зад.

Пеньков приоткрывал глаз и страшно смотрел на нее: сразу после соития ему не хотелось ее бить.

Их дни были странные, наполненные истерикой Танечки и голым невозмутимым спокойствием Пенькова.

Занимались любовью они обычно днем, после работы, среди яркого дневного света, сковородок и шума соседей. Потом выходили на красное солнышко — посидеть, подышать и подумать.

— Ангел ты мой, — ворковала Танечка, — расскажи мне что-нибудь о демонах.

Пеньков подозрительно косился: он считал, что с женщинами нельзя говорить о духовных проблемах. А Танечка обвивала его могучую, кочегарскую шею своими тоненькими бледными руками и распевала песни...

Пеньков же сидел неподвижно, как истукан. Потом вдруг резким движением сбрасывал ее с себя, так что Танечка плюхалась Бог весть куда, и говорил:

— В леса уйду.

Но самым главным своим достижением Пеньков считал мысли. Они появлялись у него в одиночестве, когда он брел домой, всегда одни и те же, точь-в-точь, уже несколько лет, но он лелеял их и даже под ножом никому не рассказал бы о них. Мысли эти известны миру, но так как Пеньков мало читал, то полагал их своими, потаенными, и это позволяло ему думать о себе как об исключении, как об авторитете, чуть ли не о первооткрывателе. И на этом убеждении держалась вся жизнь Пенькова.

Итак, прошел уже целый месяц романа Гриши с Танечкой.

Бедная Танечка становилась все восторженней и восторженней. Она думала, что почти нашла свою любовь. Среди тряпок, среди грязного белья и стульев, надев на голову усохший венчик из ромашек, часто исполняла она какой-нибудь немислимый, скрытый танец. Но свою «картинку-чудовище» она все-таки решила вешать на стену. Дело в том, что Пеньков так и не мог до конца удовлетворить ее воображение. Поэтому он стал для нее лишь необходимым трамплином в мечту, на вершине которой по-прежнему сияла «картинка-чудовище».

Пенькова же начал раздражать этот оголтелый романтизм Танечки.

— В постели у тебя все по делу, — сурово говорил он ей. — Но вот в голове у тебя ветер. Скажи, на кой черт во время нашего удовольствия на стенке висит это рыло, — и он указывал на картинку.

— Ты ничего не понимаешь, милый, — отвечала Танечка. — Это мой принц. Он совсем еще ребенок, но, может быть, когда я умру, он превратится в юношу...

— Не дури, Танька, — отвечал Пеньков и с шумом, шелестя ворохом бумаг, вызывающе-цинично шел в клозет.

Эта его реакция, которая особенно часто следовала после со-

ития, стала нравственно утомлять Танечку. На целые часы это делало ее слегка слабоумной. Она распевала какие-то легкие, вольнодумные песни, танцевала сама с собой и дарила подарки своим бывшим клиентам.

Пенькова это ужасало, и он стал охладевать к Танечке. К тому же первый пыл страсти прошел и вместе с ним некоторая слюнявость, от которой несвободен был даже Пеньков.

Даже физически она стала надоедать ему, и Пеньков начал попросту уваливать от нее.

А Танечка по-прежнему жила своим воображением и носилась за Пеньковым, как за изящной ночной бабочкой. Он прятался по углам, в сарае, колотил ее, но легкие и болезненные, не от мира сего, слезы, к которым так привыкла за свою жизнь Танечка, только распалили ее.

Она ездила за ним на работу, перескакивая с трамвая на трамвай, машины обливали ее грязью, но она держала в руках — маленькая, хрупкая и синеглазая — букетик дешевых цветов или свою «картинку-чудовище».

Пеньков решил из-за этого менять свою жилплощадь. Но однажды случилось непредвиденное.

Гриша в этот день пошел в библиотеку. Там, набрав ворох мистической литературы, он зарылся в ней. И вдруг медленные, как густой суп, капли пота выступили на его лбу. До Пенькова дошло, что мысли, которыми он жил и благодаря которым считал себя исключением и необычностью, давным-давно известны и не представляют ничего радикального.

Медленно, нахлобучив кепку на лоб, он вышел из библиотеки. Ему захотелось пойти в пивную. Но тяжелая, упорная, тягуче-параноидальная мысль давила его: надо повеситься. Как все, до чего он добирался нутром, это было зримо, весомо и убедительно. Может быть, через два-три дня он бы опомнился. Но сейчас эта мысль вела его, как канат потерявшего надежду альпиниста. «Надо», — подумал он и все-таки выпил кружку пива. Но тепло в животе не нарушило всепоглощаемость этой идеи.

У своей двери он наткнулся на Танечку. Она была, как обычно, в слезах и с уже помятой «картинкой-чудовищем». Интуитивно, точно пчелиным жалом, она поняла исход.

— Миленький, миленький, не надо, — прошептала она и, не

боясь его грубой силы, прижалась к нему. Пеньков механическим, вялым движением снял с полки кастрюлю и тупо ударил ее по голове. Танечка упала на пол.

Запершись в своей комнате, Гриша как-то реально, словно он ворочал камни на стройке, приделал петлю.

— Хочу забыться... — были его последние слова.

Пенькова хоронили просто, не по христианскому обычаю: его родители, рабочие, называли себя атеистами. К тому же и обходилось это дешевле. На похоронах все были спокойны. Только Танечка в слезах кружила вокруг гроба. Свою «картинку-чудовище» она выбросила, но взамен, также нелепо и аляповато, зарисовала Гришу в гробу. Этот новый рисунок она вешала на стенку перед каждым своим соитием.

Коммунальная квартира номер 77, что в старом коробковидном доме, совсем покосилась. Клозетная дверь — рядом с кухней и комнатой Муравьевых — открывалась так, что не допускала к плите. Одинокая старуха Солнечная долго ругалась тогда, ибо с кастрюлями в руке не сразу приструнишь дверь. К тому же третий жилец, холостой мужик Долгопятов, открывая дверь головой изнутри клозета, часто вываливался наружу, и через него было трудно переступить. Кроме того, Долгопятов не раз хохотал, запершись в клозете. Этот хохот так не походил на обычный звук его голоса, что старуха Солнечная полагала, что Долгопятова как бы подменяли на время, пока он сидел в клозете.

— Он или не он?! — тревожно всматривалась она в глаза Долгопятова, когда он выходил, справив естественную надобность.

Муравьевы же те вообще не выносили клозета. Очевидно, стены его были чересчур тонкие, и Муравьевы, как соседи клозета, все слышали, будто испражнения происходили в их комнате. Пугаясь животности людей, они, тоненькие и юркие молодожены, выбегали тогда из своей комнатухи, нередко во время обеда, с тарелками в руках. Но выбегать-то, собственно, было некуда: общественный коридор так узок, что пройти свободно было весь-

ма затруднительно. И зачастую все сталкивались лбами, задами, лилось из тарелок и из тела, доходило даже до криков. Но Муравьевы тем не менее упорно выбегали: нежны они были чересчур для самих себя. Старуха Солнечная, шамкая выпадающим ртом, говорила, что это у них от Бога.

Последние годы жизнь шла совсем какая-то оголтелая. И куда они только катились?! Супруги Муравьевы от страха молились друг перед другом, потому что жить, даже по их понятиям, стало трудно. Не то чтобы мучил диковатый быт, бессонница, очереди, детский крик (к старухе Солнечной приводили днем дитя малолетнее на воспитание) — нет, к этому можно было бы привыкнуть. Донимал больше всего Долгопятов, потому что он уже совсем перестал походить на человека. Не говоря уже о речи, она давно отсутствовала, если не считать моментов наития. Были, правда, мычание, хохот, успехи, кивки головой. Но главное — он постоянно менялся. Вечером — один, днем — другой, позавчера — третий. Менялся, правда, как-то просто и неотесанно: то казался котом, принявшим человеческий облик; то, наоборот, становился до того утрюм и тяжеловат во взоре, точно превращался в эдакий монумент; то просто выглядел так свирепо, что, похоже, готов был разорвать все на свете (а на самом деле, напротив, прятался в угол). Ванна часто портилась, и Долгопятов мылся тогда в коридоре; длинный и неадекватный любому существу, он обливался водой в коридоре. Соседи (Солнечная и Муравьевы) мигом тогда запирались на крючок. Домашние коты, и так не любившие его, разбежались в стороны.

Но Долгопятов не пел песен. Зато дитя часто пело. Была это девочка трех с половиною лет, полная и шарообразная, Солнечная нянчила ее с восьми утра до восьми вечера. Долгопятов видел ее только вечером, с семи до восьми, но и он смирил, когда дитя пело. Не то чтобы в пении не было смысла, нет, просто повторялось одно и то же слово (например, «забыло»... «забыло»...) долго, настырно и — по хорошему счету — как в испорченном телефоне, который в то же время был как бы живой... Долгопятов относился к девочке с уважением и осторожностью. Старуха Солнечная сама-то по возрасту помнила уже немного слов (хотя часто плакала от этого — такова жизнь, тем более будущая), и девочка в этом отношении давала ей сто очков вперед. К ребенку очень скоро все привыкли, как привыкают, например, к неудобному кошмару. Но Долгопятов не давал интеллекту успокоиться. То изменится чуть ли не на глазах, то кулаком махнет в форточку. Муравьевы из-за него даже перестали верить во что-либо хорошее.

В конце концов лицо Долгопятова приняло вдруг законченное выражение. Месяца два оно, например, совсем не менялось, как-то навечно, не по-здешнему, окаменев. Он только трогал своими длинными руками кастрюли соседей. Может быть, это прикосновение чужого человека к еде подсознательно больше всего мучило молодых.

— Я не могу есть! — визжала Муравьева после того, как видела в полуусне по ночам тень убегающего из кухни Долгопятова.

Но съедалось все — не стоять же опять в очередях. И хотя лицо Долгопятова онеподвижилось, сам он чуть лысел от различных своих походов.

Стояла весна, но небо было до того серым, словно ему стала тошнотворна земля. Птицы умирали раз за разом. Но никто не обращал на смерть внимания. Возможно, потому, что эта жизнь все-таки оказывалась самым лучшим вариантом для всех. И потому все торопились жить, как в лихорадке, хотя в основном только махали руками в пустоте. Вой стоял и день и ночь.

— Что-то должно произойти, — стучала зубами Муравьева.

— Нельзя же нам улететь на луну, — твердил Муравьев, — по этому что-то должно измениться.

И изменение действительно пришло. В этот день Долгопятов взял отгул и чуть не умер в клозете. Во всяком случае, запершись, он несколько часов не подавал признаков жизни. Муравьевы куда-то ушли. В одиннадцать часов утра старуха Солнечная выползла на кухню с дитем. Испугавшись, что Долгопятов в клозете, она стала ставить бесчисленные сковородки на огонь.

Дитя забормотало. Бормотание это сразу приняло отсутствующий характер, и было в нем что-то не от мира сего. «Дыр, щел, тел, кыр, мыр», — вылетало изо рта ребенка, а палец был приставлен к лицу, которое подрубленно застыло. Девочка не перемигивалась даже со стеной, она просто стучала: в никуда. Стук-тук-тук, стук-тук-тук. И тогда старуха Солнечная запела. Она повернула свое объемистое, морщинистое лицо к серому, тошнотворному небу в окне и, скаля несуществующие зубы, запела за жизнь.

Вдруг лицо ее мгновенно покраснело и словно сине-раздулось, как пламя горящего газа в кухне. Тело, расплывчатое, как мешок, поползло вниз, на стул перед плитой. Называлось это удар, инсульт. Но на самом деле это была смерть.

Старуха же думала, что жива. Ее голова тихо плюхнулась на железо плиты. Сама она как бы сидела. Глаза полузакрылись, как у курицы при виде высших миров, если только куры могут созер-

цать высший мир. Кожа странно пожелела, но рот двигался. Этот рот пел песни за жизнь. Слова все раздавались и раздавались в воздухе. Вовсю горел кухонный газ синим, адо-нелепым пламенем, отравляя крыс. Наконец старуха замолкла, но временами из уст ее с хрипом вырывался свист — чудной, тяжелый и где-то жизнерадостный.

Дитя с любопытством заглядывалось на няню. Она так и ходила около нее, как вокруг елки. Не хватало только детских лампочек на седой мертвой голове. И когда рот старухи окончательно замолк, дитя само запело.

Но на этот раз произошел слом, невероятный ирреальный сдвиг. Ее пение полилось откуда-то из иных измерений, как будто раздвинулась глубина темного неба и оттуда был подан невиданный знак. Лицо девочки преобразилось: глаза горели, словно внутри них прорезалась печать вечной жизни. Она пела песню на славянском языке, но в ней проявлялся древний слой праславянского языка.

Вдруг она из трехлетнего современного ребенка превратилась в малолетнюю пророчицу Света.

И тогда Долгопятов в ужасе выполз из клозета. Его сладострастный язык вывалился наружу, став ненужным. Это пение убивало. Он выскочил на лестничную клетку. Муравьевы уже поднимались в квартиру.

— Я отравил старуху мочой! — бессмысленно пролаял он, озираясь по сторонам. — Уже полгода я подливал ей в кастрюлю свою мочу понемногу, чтобы не чуяла!

— От мочи не умирают, — сухо ответил Муравьев. — Вы ошиблись. От мочи только выздоравливают.

Долгопятов еще раз дико оглянулся, точно преследуемый неизвестной силой, и стремительно побежал вниз.

Муравьевы переглянулись.

— Что бы это значило? — спросили они друг друга.

...Вошли в квартиру, услышали пение и ахнули... Их прежняя жизнь мгновенно сожглась в этом пении, и началась новая, необыкновенная...

# АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ



Было лето. Солнце на пустом небе светило, как раскаленная печка в аду. Нью-Йорк — низкий, приземистый, особенно по сравнению с бесконечным небом над ним, — задышался, но каменные громады — непомерно большие, если смотреть на них вблизи, — были ко всему безразличны. Они застыли на жаре, как истуканы, лишенные тайного смысла.

Огромное каменное кладбище загромодило пространство на берегу пролива Гудзона против небоскребов Манхэттена, надгробия походили на маленькие небоскребы; такие же монотонно тупые, с улочками между ними, непробиваемые... они теснили друг друга, словно им не было места.

Место действительно стоило очень дорого.

Рядом прорезалось шоссе, громыхали машины, но ни живые люди, ни мертвые почти не слышали этот грохот, оглушенные своей жизнью и небытием... По ту сторону шоссе и города мертвых громоздился город живых, уже не Манхэттен — а другой: скопище кирпичных двух-трехэтажных безобразных домиков, напоминающих в целом прочный муравейник.

...Почти над всеми каменными надгробиями возвышались такие же тяжелые кресты, похожие почему-то на молотки. Редкие изваяния ангелов у могил были на редкость стандартны и безличны.

Крэк вылез из ямы около одной такой могилы. Нет, он был живой и не похоронен еще. Просто Крэк, ничего не понимая, любил жить около камней. Кладбище напоминало ему Манхэттен, но в Манхэттене могли убить, а на кладбище — реже. Поэтому Крэк очень любил его.

Был он толстоватый мужчина средних лет, в потертом грязном черном костюме и с редкими волосами на голове. Юрковато оглянувшись, он направил свой путь туда — в бездну домишек за кладбищем. Скоро он очутился на улице...

Озираясь на подозрительных людей, он пошел в местный бар, неотличимый от домов-коробочек на улице.

— How are you?\* — спросил он.

— How are you? — ответили ему.

Потом он просидел молча полтора часа за двумя стаканами пива. Молчали и все остальные, рассеявшиеся на длинных стульях вокруг стойки бармена. Только орал телевизор в углу: кого-то резали.

Через полтора часа первая более или менее спокойная мысль вошла в голову Крэка: «А ведь скоро я буду хохотать».

С хохотом у Крэка было связано самопознание.

Он знал, что все у него началось с хохота и без хохота он бы вообще ничего не значил.

Что бы он делал после своего краха и безработицы, а потом больницы, если бы не мог хохотать? Хохот пришел как избавление во тьме, но главное было то, что, хохоча, он провидел то, что недоступно ординарному уму (в этом был весь секрет и весь плюс). Лучше же всего он провидел собственную смерть. Когда приступ хохота только начинался, он обычно сразу видел собственные похороны, со всеми деталями, отмечая фирму, которая его хоронила, и сколько собак шло за гробом. Тогда он начинал еще сильнее хохотать, как будто в хохоте было освобождение.

— Что ты хочешь, дерьмо? — спрашивали его порой окружающие.

И он частенько отвечал:

— Я хохочу, потому что я — не дерьмо, а труп. Вот почему я хохочу.

И инфантильные любопытные разбегались от него.

Но он останавливал некоторых из них, рассказывая о своем пророчестве и о пышном гробе, в котором его похоронят. Он хотел возбудить у людей зависть.

\*Как поживаете? (англ.)

Однажды Крэк, хохоча целый день, носился, как будто он был странным, но деловым человеком, по Манхэттену, плюясь и стараясь найти того, кто бы выслушал его. Дважды на него наставляли нож, но потом отпускали — не потому, что с него нечего было взять (взять было, конечно, нечего), а потому, что он хохотал.

Что же, в конце концов, видел Крэк во время хохота? Нередко в первой половине приступа точно сияние образовывалось в его мозгу, и тогда он начинал бормотать сквозь хохот, издавая бессмысленные звуки (он давно подозревал, что владеет ангельским языком, — заметим, что Крэк отнюдь не был чужд теологии). Потом в этом сиянии он прозревал собственные похороны. И картина была всегда одна и та же, правда не совсем ординарная.

...Крэк, призадумавшись в этом вонючем баре около кладбища, еще раз вспомнил, заглянув в телевизор, обстоятельства своих будущих похорон. Он, как и все его современники, обожал статистику. Факты, факты прежде всего! Сначала факты! Вернее, сначала деньги, потом факты, а затем уж Бог. Вот и вся великая триада.

Но и в этом случае, как всегда, самая главная сложность, и это мучило его, заключалась в деньгах. На какие деньги он будет так помпезно похоронен? В видении на это не было и намека. Напрасно он потом перечитывал Библию, копаясь в ее деталях, чтоб разрешить мучивший его вопрос. Никакие интерпретации, включая фундаменталистские, ему не помогли. Деньги были непроницаемы, недоступны даже путем таких толкований. Главная тайна его похорон и, следовательно, тайна смерти оставалась неразгаданной: на какие средства его похоронят?

Ведь после потери работы он стал гол и одинок, существуя черт знает как и на что, а тем не менее в пророчестве похоронили его довольно шикарно. В общем, картина была такова. Он лежал аккуратный, где положено, готовый исчезнуть под землей, а рядом стоял человек и три собаки. Потом подъехал огромный бульдозер и тут же около гроба стал рыть яму. Вырыл ее молниеносно, по-научному, и гроб моментально уложили в яму и закопали. Все это отняло минут семь, не больше. А человека и собак потом как сдунуло.

Впрочем, это были нормальные похороны — он нередко видел полуподобное. Правда, гробы провожали не собаки, а родственники, но они молниеносно тут же исчезали — все были занятые, дорожили временем, а процедура почти полностью автоматизирована. Зато гроб у него — в прозрении — оказался очень дорогим. В таких богатых гробах могли хоронить только сильных мира

сего. Не исключено, что в нем налажен был кондиционированный воздух, — но ему, видимо, только так казалось, и Крэк не считал это фактом.

При его теперешнем финансовом состоянии нечего было и думать о кондиционере в гробу.

Тайна оставалась тайной, и Крэк обычно продолжал хохотать, даже после полного исчезновения видения. Не раз его били за этот смех.

И вот теперь в этом баре он чувствовал, что скоро опять будет хохотать, — а уж с видением или нет, заранее об этом ему не дано было знать.

«Самое главное на свете — это свобода», — подумал он.

Какой-то приличный человек подошел к нему.

— How are you? — сказал он.

— How are you? — ответил Крэк.

Человек отошел, а Крэк начал хохотать. Сначала он упал своим большим лицом (с тыла голову уже покрывала седина) на мокрую стойку, разбив рюмку водки («За это придется заплатить», — сквозь бред мелькнуло в мозгу). А потом из его большого красного рта (такого контрастного по сравнению с невинно-бездонными голубыми глазами) полились звуки, называемые в просторечии смехом. Но в баре все равно молчали и тянули виски. Крэк хохотал уже почти полчаса, а в баре все молчали и молчали. Просто у людей не было мыслей. Зато в телевизоре творилось Бог знает что: сначала появилось сухое, как испеченное яблоко, морщинистое лицо какого-то проповедника, предсказывающего победу добра над злом. Потом это сухонькое паралитическое личико исчезло, и образовался человек, переменявший свой пол: с мужского на женский. Он так орал (а потом впал в интеллектуализм), что комментатор отказался от комментариев. Затем в телевизоре последовал взрыв...

Хуже всего — видение похорон не появилось. Крэка взяли за шиворот; потом он почувствовал, как кто-то обшарил его карманы, толкнул, дал пинка — и он оказался на улице в грязи. Освобождение не приходило. Крэк плакал, потому что кончился хохот и хохот прошел без прозрений и даже не принес чувства «света», как бывало почти всегда. И он уже не бормотал на «ангельском» языке.

Нехотя он встал. Перед его взором была улица — все те же бесконечные ряды уродливых кирпичных домов. Люди мелькали, как тени, спеша куда-то.

И тогда Крэк решил: если приступ смеха не принес ему желанного облегчения, надо придумать что-нибудь еще. Где же его пророчество, почему оно исчезло, почему он не видит свои собственные пышные и богатые похороны? Видно, Бог оставил его.

К счастью, в баре вынули не все деньги: самая большая сумма пряталась где-то в брюках, в укромном месте...

Но эти деньги еще надо было вынуть из тайника. А Крэка потянуло выпить. Да, лучше не ходить в эти бары, где все молчат, лучше купить на последние гроши дешевую бутылку вина и выпить где-нибудь у помойки, в стороне...

Чтобы вынуть деньги, лучше всего зайти помочиться, но бесплатных уборных не существует на земле, а в бар нельзя заглянуть просто так... Целый час Крэк шатался по улицам без успеха: двери клозетов были закрыты для него.

Наконец он решил помочиться на улице и под этим предлогом вытащить деньги. Крэк нашел где-то в стороне кирпичную стену, уперся в нее лбом, помочился и не без труда вынул зелененькие. Потом стукнул два раза лбом по кирпичной стене, чтобы подтвердить свое существование.

Более веселый, чем прежде, он пошел дальше в поисках дешевого вина. Красный огонек и что-то гомосексуальное на витрине заманило его в маленький винный магазинчик. Владелец, оловянно оглядев его, сказал:

— How are you?

Крэк ничего не ответил: это была его высшая форма протеста. Ему пришлось нагнуться и унизиться, чтобы достать в углу дешевую бутылку: он даже чуть не обнюхал ее. Заплатив и обернув бутылку в носовой платок, Крэк двинулся к пустырю. Там, на отшибе, вдали от больших машин с манекенными людьми внутри, он расположился посвободней: расстегнул рубашу, отряхнулся. И прильнул к горлышку.

Когда очнулся, рядом с ним, метрах в десяти, сидела на земле огромная старуха, прислонившись к бетонной стене (за стеной было частное владение), и мочилась под себя. Желтая, грязная моча необъятным потоком (точно мочилась лошадь) текла мимо Крэка, не достигая его. Старуха ничего не пела. Напротив, она тоже молчала.

И тогда Крэк закрыл глаза: эта старуха не пугала его. Хорошо, если рядом с тобой есть хоть одно живое существо.

Он стал вспоминать свою жизнь. Время, когда он обладал богатством и силой. Да, к слову сказать, Крэк в свое время считался

преуспевающим священником и имел широкую паству, и звали его тогда не Крэк, а Грегори Дутт.

Это было не так уж давно, всего несколько лет назад. Но началась его карьера, по существу, гораздо раньше, почти в детстве. Грегори с родителями жил в маленьком, но довольно знаменитом провинциальном городке, известном своим университетом. Мелкий бизнес тоже процветал в нем и, конечно, американский футбол. Но молодой шестнадцатилетний Грегори избегал играть в футбол — такова была его странность.

И вот тогда, узнав об этом, друг их семьи, худой длинный профессор истории Дик Робертсон неожиданно захохотал — он, вообще говоря, редко хохотал и почти не улыбался.

— Грегори, ты, наверное, имеешь склонность к спиритуальному, раз не любишь футбол, — сказал он, смеясь.

Молодой Грегори почему-то хорошо запомнил его слова (правда, обидело то, что Дик явно издевался над самой идеей «спиритуального»). Отец Грегори хотел, чтобы сын пошел по бизнесу, но судьба распорядилась иначе. Грегори встретил протестантского священника (после службы, за чаем, в приходской церкви), которому очень понравился этот немного толстоватый добродушный парень с голубыми глазами.

— Грегори, — сказал священник, — советую тебе пойти по моему пути. Кто был наш Учитель? Прежде всего он был бизнесмен. Твой отец торгует автомобильными шинами, а он торговал бессмертием. И скажу тебе, это была самая успешная торговля за всю историю человечества. Твой отец, я знаю, всегда молится Христу, чтоб успешней шло его дело и текли денежки. Так поступает каждый истинный американец. И когда твой отец хорошо молится — бизнес идет отлично, отец признавался мне в этом. Он торгует шинами, а ты торгуй бессмертием. Это доходное и чистое дело. Тебя научат.

Грегори решил не откладывать бизнес в долгий ящик. Проматривая газеты, он наткнулся на объявление:

«Становись священником. За небольшую плату ты сможешь заочно обучиться у нас этому ремеслу. Выдаем диплом. Не теряйся. Пиши по адресу: ...»

Далее следовал адрес.

И Грегори написал. Так или иначе, окончив потом что-то «очное», он стал священником. И начал быстро продвигаться. Он был, как все преуспевающие священники, энергичный, бодрый, в меру начитанный и с необъятной белозубой улыбкой на лице. Его

смех был нормальным смехом американца из среднего класса. Никакими озарениями этот смех не сопровождался, но, правда, был чересчур монотонным, впрочем, как и у других. Но тогда Грегори не понимал характер такого смеха.

Зато теперь, около этой обмочившейся бабы, Крэк с тревогой отметил прошлую монотонность своего смеха. Он вспомнил, как он удивил им одного иностранца, когда подарил ему брошюру с проповедями и засмеялся... Да-да, тогда он смеялся, как все, и не было в этом смехе ничего.

Грегори быстро распознал некоторые секреты пасторской «спиритуальной» кухни.

Довольно сложно, однако, было с психологией масс. Массы плохо верили, все более заражаясь индифферентностью. В церковь ходили, как в клуб — попить чай, кофе и поболтать. Приход у Грегори был в одном провинциальном городке, недалеко от его родного К., — и тоже университетский, благополучный, для среднего класса. Машины у «благополучных» были длинные и широкие, и после службы некоторые уезжали за покупками — в магазины, которые были красивее, чем храмы. Храмы же здесь больше походили на магазины средней руки.

Но Грегори подобрал некоторые ключики к сердцам прихожан. Самый верный ключик — это упор на то, что с молитвой бизнес идет успешней. Грегори и сам верил в это и порой убеждал других. Гораздо реже он прибегал к другому средству — к страху перед смертью. Средний класс о смерти вообще не догадывался, но Грегори упирал на то, что, мол, «вы на своих автомобилях в рай не въедете». Эта фраза, правда, немного озадачила и его самого и даже настораживала — свой автомобиль он очень любил.

Он не прочь был поставить эту идею под сомнение, но вера не позволяла. Зато Грегори твердо знал: чтоб хорошо и уверенно жилось на этом свете, чтоб процветали дела и всегда было хорошее настроение, чтоб все было прочно — надо все-таки иметь уверенность, что на том свете что-то есть, даже не «что-то», а жизнь, причем как бы продолжение этой, если не совсем в форме автомобилей, то хотя бы в похожей.

И он чувствовал, что его прихожане тоже хотят — хотя бы в подсознании, — чтобы их холодильники, телевизоры и пылесосы были приобщены к вечности.

Поэтому сакральная фраза «вы на своем автомобиле в рай не въедете» смущала сокровенный пласт подсознания Грегори. Ведь его люди именно этого и хотели. Но что делать: бизнес Грегори

был особенный — «спиритуальный», как похихатывал профессор истории Дик Робертсон.

Семейная жизнь его удалась. С женой он имел контакт, разговаривал — не в пример некоторым другим. К несчастью, их единственный ребенок умер — Грегори сам отпел его в церкви. В могилу положили его любимые игрушки — заводной автомобиль и автоматическое ружье.

Зато процветал дом, машина, сад. Была ли тайная кровоточина, скрытый порок, мордобой при закрытых дверях, сверхидиочество — все то, что подтачивает порой семейную жизнь среднего класса? Ничего подобного не было, но было другое — жена Грегори, Пэт, ревновала мужчин к долларам. Это была ее личная, вполне интимная странность, черта, пожалуй, действительно необычная — умилялся Крэк даже теперь.

«Моя жена — экстраординарное существо», — твердо решил он в конце концов.

Началось все с телевизора, за которым просиживали многие вечера и годы — после работы. Пэт еще в юности обратила внимание на некоторые не в меру толстые, лоснящиеся, довольные, почти свиньи физиономии, заполнявшие телевизионный экран. Это могли быть проповедники, бизнесмены, финансовые магнаты, преуспевающие писатели, актеры, сенаторы, журналисты — кто угодно. Но общим в них было то, что, когда они произносили заветное слово Америки, то в их голосе звучала похоть, бесконечная и бездонная (некоторые даже чуть повизгивали, произнося его). Это священное слово было, конечно, «money» (деньги).

Пэт даже казалось, что все эти люди испытывают микрооргазм, когда выговаривают «money», несмотря на то что они «выговаривали» эти звуки довольно часто. О чем бы ни шла речь — о Боге, о Вселенной, о науке, о политике, о стариках, — это слово всегда произносилось, оно было вездесущим, и им все заканчивалось, и к нему все сводилось. И оргазм, оргазм, оргазм — Пэт чувствовала его в каждом взвизге, оттенке, нюансе, с которым произносилось это слово. Кошмары мучили ее по ночам. Ей снились эти бесконечные рожи — лидеров, мнимых оппозиционеров, проповедников, артистов, лауреатов премий для гениев — с маленькими холодно-бессмысленными глазками и сочными губами, с которых вместо слюны, казалось, текла сперма, когда они произносили имя своего божества.

Надо сказать, что Пэт наполовину была европейка, да еще ирландка, может быть, поэтому — так думал впоследствии Грегори

ри — она оказалась подверженной сексуальным негоциям по отношению к долларам...

...На третий год их совместной жизни Пэт стала подозревать, что ее муж с таким же сладострастием, как и коронованные долларовые знаменитости (впрочем, как и незнаменитости тоже), произносит это слово. Тогда она стала прислушиваться. Грегори никогда не забывал произносить «money» в разговорах с женой и на проповедях (но считалось неприличным говорить об этом среди знакомых, на вечерах и т. д.). В действительности он просто упивался этим словом. И на Пэт повеяло ужасом — нет, она тоже преклонялась перед деньгами, но она строго различала деньги и любовь. Это был ее романтический европейский предрассудок. Кроме того, главное заключалось в ревности...

Пэт начала следить за Грегори и сравнивать его интонации с телевизионными. По телевизору — когда гремел поток обычного промывания мозгов — все слова произносились все-таки нормально, одинаково, но «money» — о, как Пэт чувствовала это — произносилось с придыханием, с молниеносным, почти неуловимым стоном, абсолютно идентичным стону при оргазме, только потише и незаметнее. И Пэт выла от злости: ее Грегори — ее лучезарный муж — был тоже во власти этого всемогущего микрооргазма.

И чем дальше, тем больше — его интонации стали совершенно совпадать с телевизионными.

Однажды они сидели вместе за утренним кофе.

И тут Грегори превзошел сам себя. Произнеся «money», он даже закатил глазки. Да-да, закатил глазки, почти молитвенно. Этого Пэт не выдержала, она вскочила, разрыдалась и разбила чашку об пол. Тогда и произошло первое объяснение. Грегори был потрясен и счел, что его жена чуть-чуть тронулась.

«Но все-таки это романтическое сумасшествие», — решил он, а потом вдруг поймал себя на мысли, что он действительно испытывает нечто вроде микрооргазма, когда говорит «money» (причем наибольшее, подленькое содрогание он чувствовал на последнем звуке: «и», «и», «и!»). Как он раньше этого не замечал? И несомненно, многие другие испытывали то же.

Но Грегори любил Пэт и тут же дал ей торжественную клятву никогда не испытывать больше этот «микрооргазм», как она деликатно выражалась. Он посмотрел в глаза любимой: они были в слезах.

Целая неделя прошла благополучно. Но потом мнительная Пэт стала жаловаться:

— Ты насилуешь себя, ты сдерживаешься ради меня, но на самом деле ты хочешь этого, хочешь! И твое подсознание подчинено этому желанию!

Против таких доводов Грегори был бессилён: как доказать, что его подсознание чисто как стеклышко?! Да оно никогда не было чистым, даже в детстве, такого не бывает на свете. И тогда он наорал на Пэт и первый раз серьёзно побил ее.

Потом они заключили перемирие (компромисс — это путь к счастью, учили их в детстве).

В конце концов у Грегори — из-за этой истории — постепенно действительно развился настоящий эротический вкус к деньгам. Это стало его тайной. Оргазм без мысли о деньгах стал для него не оргазм. Сексуальная жизнь сопровождалась теперь этой мыслью. Но жена, конечно, не знала ничего, и, по видимости, компромисс продолжался. Грегори избегал произносить «это» слово.

Под большим секретом он обратился к знаменитому психиатру в Нью-Йорке. Но психиатр, выслушав его, взвыл от радости и заявил, что это вполне нормально и что он сам это испытывает. И, содрав с него порядочную сумму, тут же отправил восвояси.

— У меня много клиентов, и я не лечу здоровых людей, в отличие от некоторых врачей и хирургов, — крикнул ему психиатр.

Грегори решил прикрыть «тайну» навсегда: по крайней мере для посторонних. «В конце концов, почти в каждой семье, особенно среднего класса, были свои секреты, подчас жутковатые, но многие продолжают жить вместе», — думал он. И решил жить.

Катастрофа пришла совсем из другой сферы. Он потерял работу. Все было кончено.

Грегори совершил ужасную, непоправимую ошибку, повлекшую за собой цепь других. И виной всему была его эмоциональность, провалы в наивность, которые никогда себе не позволяли его коллеги...

— Ты ребенок, Грегори, большой ребенок. Кое-что очень важное ты не уловил в своей профессии и потому наказан, — сказал ему Дик Робертсон, историк.

Крэка трепал ужас при одном воспоминании о Катастрофе... И теперь, на этом пустыре, он тяжело вздохнул, пытаясь отогнать мысли... Женщина, что мочилась, кажется, ушла.

Дальше все пошло, как полагается, когда американцы теряют работу (с вариациями, конечно) и не могут найти другую. Ступенька за ступенькой — вниз (к тому же он попал в чёрный список).

Он стал пить, от него ушла жена, его любимая (если не считать

долларов) Пэт. Она сказала, что ей не нужны такие небожители, умеющие только любить деньги, а не делать их. Но не менее ужасной была вторая катастрофа, как последствие первой. Выпивши, он сел за руль (раньше он никогда этого не делал) и попал в автомобильную аварию. Она не была очень тяжелой, но потом он заболел: стресс, отчаяние. Лечиться пришлось по-настоящему, врачи драли три шкуры, с каким-то даже неистовством и озлоблением. Каждое их слово, каждый чих, не говоря уже о прикосновении, стоили потоки долларов.

Вскоре с молотка пошло все приобретенное за годы блестящей карьеры: автомобиль, дом (тем более он еще был должен банку), мебель...

После болезни он перешел на жалкое, полунищенское социальное пособие и скрылся от стыда и презрения в бездне и хаосе нью-йоркского мегаполиса. Больше того, именно там (а может быть, во время странной болезни) с ним произошла трансформация: он почувствовал, что его личность как бы заменена другой. Он стал не Грегори Дутт, а Крэк. В окончательном смысле это было связано с хохотом как с неким символом. Его прежний монотонно-торжествующий, но ничего не выражающий среднеамериканский белозубый смех, конечно, исчез. И вместо него появился другой хохот, с большими озарениями. В центре этих пророческих озарений стоял его гроб.

...Крэк очнулся. Да, да, эта паршивая баба ушла. Теперь он свободен, он один, он стоит, как вопрос, посреди пустыря, рядом с бетонной кирпичной стеной и желтой лужей. Он — Бог, ибо человек создан по образу и подобию Божию. Так чего же горевать? Надо сегодня взять свое.

Дело в том, что у Крэка оказались кое-какие деньги (долларов двадцать) и жетоны в метро. Около десяти странно приобретенных жетонов в метро. А это было существенно: проезд в сабвее стоит серьезных денег. На это можно истратить все свое пособие, если разъезжать слишком много.

Но сейчас он хотел себе это позволить: раз оказались под рукой жетоны. Крэк хотел всю погулять по Манхэттену.

День еще только начинался. И солнце пекло неиссякаемо-яростно, словно прогнав все тени, — но Крэк любил жару: у него у самого внутри был сплошной жар. Особенно в мозгу.

И он неопределенно поплелся к сабвею — направление на Манхэттен. Вот они маячат издалека, его небоскребы.

Откровенно говоря, Крэк — при всем своем знакомстве с тру-

щобами Нью-Йорка — немного побаивался входить в метро или в подобные мрачные места. Взять с него было нечего, а убить могли. Такие мысли лезли ему в голову, возможно, от его природной нервности, но он никак не мог — в отличие от других — привыкнуть к постоянной опасности в жизни.

Однако на этот раз сабвей встретил его тихо. Несколько вооруженных с головы до ног полицейских оказались в вагоне: Крэк смотрел на рожи, разрисованные по стенкам. Ему повезло. Как ошпаренный, он выскочил на Сорок второй улице — туда, туда, скорей в клоаку ощущений. Это был его мир, его добыча, с кровью по щекам.

Сорок вторая встретила его шумом, криком, калейдоскопом реклам и потоком истерических людей. Двое черных вслух читали на углу Библию. Направо были порнографические кинотеатры, где шли секс-фильмы на любой вкус. С рекламы прямо в лицо Крэку дышали две огромные лесбиянки. Налево фильмы ужасов, и дым стоял на этой половине. В центре, на шоссе, непрерывный поток машин, свистки и ругань водителей.

На сей раз Крэк завернул налево, где фильмы ужасов. Он любил поугадать себя: клетки тела от этого становились здоровей. Он юркнул в открытую черную пасть кинотеатра и оказался в узкой грязной комнате в клубах наркотического дыма. У входа стояли два вооруженных полицейских. Кинофильм уже шел (только что начался), и показывали в нем, как черви пожирают изнутри молодое жирное тело женщины, вываливаясь из-под лопнувшей в некоторых местах кожи.

Весь фильм был про одержимых червей и про их пожирание — человек.

Но то, что творилось в зале, было еще страшней, чем на экране. Крэк даже вздрогнул: он давно не посещал Сорок вторую, не было денег. В зале сидели одуревшие от наркотиков молодые люди, многие ходили между рядами в полутрансе, раздавались какие-то стоны, взвизги, сумасшедший хохот. У Крэка было такое ощущение, что вот-вот начнется резня. Но полицейские по углам были невозмутимы.

Крэк осторожно присел с краю. И вздрогнул. Рядом расположился такой свирепый тип, что Крэка чуть не стошнило от страха. Крэк знал, что, если он покажет свой страх — попытается, например, сразу улизнуть на другое место, — могут быть последствия. Могут даже прирезать — несмотря на полицейских; гарантий не было. И Крэк усилием воли заставил себя сидеть. Сви-

пый излучал такую звериность, что затмил все, что происходило на экране. Во всяком случае, так показалось Крэку. Он сидел, стараясь не шевелиться, хотя сердце билось в предчувствии острого.

Но его пытка, к счастью, продолжалась недолго. Свирепый вдруг встал и ушел в глубь зала — туда, где раздавались стоны. Крэк немного успокоился и незаметной жирной тенью пересел поближе к полицейским. Тут он вздохнул спокойно. Громообразные, с автоматическим оружием по бокам, были рядом.

Крэк, вспотевший, стал приходить в себя и наслаждаться ужасом и садизмом на экране. Там между тем угрюмо ели — человеческие тела переходили в небытие одно за другим. Весь огромный экран — перед этой курящей, орущей толпой — представлял собой клубок бесконечных червей, пожирающих и людей, и самих себя. Крэк ликовал: каждая клетка его тела отдыхала и вздрагивала в упоении. Освеженный, точно из турецкой баньки, он выскочил на улицу, готовый жить...

Поток жары встретил его на Бродвее. Небоскребы кричали рекламами, пускало дым изо рта огромное размалеванное бумажное лицо на тридцать втором этаже, выли машины, и бежали люди. На ходу что-то всовывалось в потные руки (рекламы «массажистских» кабинетов, дешевых «салонов» и т. д.). От самой краски несло смрадом.

Крэк юркнул в закусочную — пиццерию. Пот заливал его, а в уме еще были черви. «Что будет с моим задом на том свете?» — подумал он, садясь за трясущийся стол.

И черви исчезли из головы.

В пиццерии все наслаждались жарой, кока-колой со льдом и едой. Крэк жадно ел, впитывая в себя куски, каждый глоток давал наслаждение внутреннему телу и уму, освеженному червями. Руки его дрожали, а голубые бездонные глаза неподвижно глядели на улицу, где неистовствовал поток ног — белых, черных, синих, красных, разноцветных. Пот проникал в глотку, не мешая наслаждению. Это была его доля добычи — простая, наиболее доступная (хотя пять долларов для него — большая сумма), но вместе с тем реальная.

Кругом — с реклам, с листов, с газетных обрывков, из пасти телевизоров — кричало, выло, вопило: «Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся! Пока еще не пришел твой час!» И в наемном голосе, льющемся по радио, тоже звучала доверительность и сладострастие...

А кругом — в пиццерии — ели и жрали толпы людей — стоя, сидя, посреди узкого прохода. Все пило, жевало, плевало. И солнце равнодушно светило в окно — как будто сквозь тела небоскребов.

Наконец Крэк, ошалевший от этих простых ощущений, забылся в грезе о «массажистском» клубе. Ему это тоже было недоступно. Он бросил на пол назойливые рекламы — вместе с рекламой пророчицы, которая могла подсказать, сколько вы будете зарабатывать через десять лет. Только в желудке его еще вилоь змеей последнее наслаждение.

Он приподнялся, схватил рекламный обрывок (он тоже призывал к наслаждениям — но уже другого, более закрытого рода), положил его в рот и начал грызть. Это было уже неадекватно: никто так не ведет себя в пиццерийной толпе. Полузьев газету, Крэк выплюнул остатки на пол и пошел — вперед.

Теперь он знал, куда идти. Некая трансцендентность овладела им. Надо было — по этому зову — бежать, бежать: по прямым, но змеиным улицам Нью-Йорка — в сабвей — вокруг Нью-Йорка — кольцом — как змея. И искать, искать. Что искать? Удаchi, счастья, лотерейного билета? Крэк не знал: что-то иное вело его теперь. Не до золота ему было — не до счастья — но он знал: надо искать. Или просто бегать.

Он побежал по улицам, где из каждой витрины протягивались щупальца. Блеск золота переходил в трепет дерьма. Он дважды наступил на него — на теплое, человеческое — рядом с дымом, идущим из-под земли. И тут же его оглушил завывшими рекламными небоскреб. Слоновьи бивни поднимались вверх из окон фешенебельных магазинов. Унылый старикан целовал свой искусственный член, распластавшись в пыли на тротуаре. И тысячи ног равнодушно шагали около него.

Крэк исчез в подземном люке метро — на этот раз его понесло в далекую сторону. В вагоне, съежившись, он смотрел в глаза окружающим: вагон пошатывало, но вид людей пугал его женственную душу. Поезд приближался к самым плохим районам. С каждым новым пассажиром Крэк все больше съеживался: убьет этот или нет?! Каждым ударом своего сердца он считал потенциальных убийц. Какой он все-таки неприспособленный! Ведь лица других пассажиров — он удивлялся им — были каменны и внешне равнодушны: даже если входили их будущие убийцы. Но на него, видимо, нападали приступы желания жизни — особенно после вкусной еды или фильмов ужасов. И наконец, он жалел свой потерянный

ум, который — после смерти — уже не сможет ни о чем думать. Вскоре он выскочил из метро.

На этот раз Крэк заплутался. Мелькали ярко-синие и красные рекламы, были полицейские сирены, что-то неясное упало ему под ноги — но он метался из одного тупика в другой, входил, выходил, прыгал — и наконец после многозначительных бессмысленных метаний оказался около трущоб. Он огляделся: это были необычные трущобы, Крэк еще не видел таких — ведь Нью-Йорк бездонен. Но по ряду признаков он понял, что попал в Южный Бронкс — в трущобы среди трущоб, в огромный район, протянувшийся к северу от Манхэттена. Действительно, целый город окружал его, но он был как после атомной бомбардировки. Рядами, потоками стояли остовы четырех-, пяти-, шестизэтажных зданий. На четверть разрушенные, они выглядели как вполне нормальное жилье. Лишь где-то по углам виднелись скопления людей, а в целом длинные, уходящие вдаль проспекты, со скелетами домов по бокам, были зловеще пустынные.

Крэк посмотрел направо — ни одного человека и тишина. Посмотрел вперед — там, на углу, стояли люди, но такие, что Крэк не решался туда идти. Он робко взглянул налево — и увидел, что по этой улице бредет вдалеке человек. И Крэк решил пойти по этой улице.

Но до человека было далеко. Кроме того, неясно, шел этот человек или стоял. Стаи призрачных собак то и дело возникали в провалах между домами. Порой собаки пересекали улицу: были они худые и, казалось, грызли камни.

Иногда у дверей на ступеньках неподвижно лежали люди; их черты лица застыли в мертвой грезе без мысли.

Были ли это пьяные, или эти люди заоченели от дешевых наркотиков, или они лежали просто так, перестав надеяться, — Крэк не знал.

Он шел вперед, оглядываясь, думая о том, что будет с его глазами после похорон. На перекрестке показалась машина — похожая на те, которые, заржавленные, дырявые, стоят на огромных машинных свалках.

Крэк глянул в лицо водителя, и его отнесло. О да, он привык почти ко всему. Он видел и не такие лица — по выражению. Единственное, от чего его пошатывало, — это от деформации.

Он не был готов к таким лицам.

Потому и напугал его тот, далекий, к которому он шел. Крэк интуитивно понял, что у него, у дальнего, вообще нет

лица. Видимо, он шел покрытый покрывалом. Что же было скрыто за ним?

Крэк боялся таких ликов. Взять хотя бы водителя — в нем Крэка особенно напугал нос, похожий на ногу здорового младенца.

— Ты бы, парень, лучше шел отсюда, — послышался ему голос из здания, где всего лишь были выбиты стекла.

Но куда ему идти, раз он сюда попал? Надо было притвориться, что он хочет покончить самоубийством, — как он слышал, к таким не приставали.

В разбитом окне появилась голова, и горб на лбу был, казалось, больше, чем само лицо. А глаз не видно.

Но Крэк уже подходил к далекой дикой фигуре человека, идущего на него.

Еле сдерживая дрожь, он пытался не глядеть на него. И вдруг существо сдернуло покрывало.

Крэк сразу же упал — задом на твердый грязный тротуар, покрытый костями разложившихся животных.

В действительности он не раз видел деформированных людей, но любил забывать об этом. Еще вчера ему попалась, например, женщина с почти утиным носом. Три дня назад он встретил — на Тридцать второй улице — толстяка, фантастического не по величине (таких было много), а по очертаниям тела, принявшего форму птицы.

Но то, что он увидел сейчас, уже нельзя было назвать никакой деформацией. Это было «иное». Глаз мутанта, марсианина тускло глядел на него. Рта вообще не было, точнее, он был сдвинут почти к уху... Остальное не выразить. Страшен был череп своей абсолютной беспощадностью по отношению к жизни. Рук как будто три.

Крэк чувствовал, сидя на тротуаре: еще один миг — и он сойдет с ума, а он и так уже был сдвинут после всех больших событий своей жизни. Но сейчас назревал последний, окончательный полет. Сознание уходило от него. И в этот момент краем глаза Крэк увидел: его идут убивать. Быстро, уверенно размахивая руками, шел к нему тот самый человек с горбом на лбу. В руках его был нож. И молния самосохранения пронзила бедного Крэка. «Спасись, спасись!» — выло все внутри. Сознание вернулось на место.

Собственный крик поднял его на ноги. И в ту же минуту он, величественный и потаенный, сделал единственный ход, который

мог спасти. Он бросился в объятия мутанта. Три руки обвили его. Как сумасшедший, Крэк рвался поцеловать губы, но губ не было, может быть, находились где-то сзади или просто приняли иную форму. Язык лизнул что-то странное: не то ухо, не то нос, не то просто отверстие. А из нутра Крэка рвался один только крик:

— Мой друг!.. Мой друг!.. Наконец-то я тебя встретил!

Потенциальный убийца с горбом на лбу оторопел. Держа в руках нож, острие которого было направлено в нежную тушу Крэка, он застыл метрах в семи. Горб прикрыл глаза, так что их выражение трудно было разгадать.

Но потом из его рта полилась речь на чистейшем английском языке:

— Ты знаешь Чарли?.. Ты друг самого Чарли?!. Ты друг Чарли?!

Кроме этого, из его рта ничего не вырывалось. Человек с горбом на лбу повернулся, спрятал нож и пошел в обратную сторону.

Крэк остался наедине с Чарли: только спина человека, хотевшего его убить, еще маячила некоторое время на длинной улице.

Он отпрянул, чтобы взглянуть получше на своего спасителя. Тот еще не произнес и слова.

Кто это перед ним? Невозможно было понять, какой он расы, пола, происхождения или просто цвета кожи. Цвет был почти скрыт полусерстью и, видимо, неопределен. Светился только один глаз — большой и безумный. Был ли это потомок рабов, вывезенных когда-то из солнечной Африки? Или, наоборот, потомок дворян, князей, уехавших из древней Европы, чтобы спастись от бесконечных революций? Или красных индейцев, их остатков, сохранившихся после истребления? Или просто это был потомок белых искателей свободы и счастья?

«Но не исключено, что Чарли — японец, переживший Хиросиму», — подумал Крэк.

Но внутри екнуло: нет, это мутант, пришедший из будущего — точнее, из светлого будущего. После своей трансформации Крэк ловил себя на склонности к мистицизму.

Чарли между тем как будто не произносил ни слова. Крэк все еще пребывал в некотором оцепенении. И вдруг холод прошел по его спине — он почувствовал, что Чарли уже давно разговаривает с ним.

Правда, это был полусшепот, и так как челюсть была сдвинута, то еле слышные звуки выходили откуда-то сбоку. Крэк, как корова, обежал Чарли, сделав полукруг, и зашел к нему со звучащего

боку. Тогда ему явственно послышалась речь, но было непонятно, на каком языке говорит Чарли.

И вдруг Крэк ощутил всем телом: он спасен! Да, да, это было спасение не только от горболобого чудовища, но спасение вообще. Теперь с Чарли ему уже ничего не страшно! Он может спокойно пройти по всему Южному Бронксу — а это огромный город, — по всяким его проспектам, и никто не тронет его. Конечно, пройти вместе с Чарли. Возможно, что в Южном Бронксе есть существа и почище Чарли, а может быть, таких и нет, — но все равно с Чарли ему открыты все двери. Он понял это по реакции горболобого. И может быть, в конечном итоге с Чарли ему открыты двери во все вселенные, ибо после того, как он увидел Чарли, никакого страха ни перед кем уже не может существовать.

Однако Чарли опять повернулся к нему лицом... шепот стал раздаваться в стороне... и мутант медленно пошел к Крэку, растопырив три морщинистые ладони. И тогда Крэк захохотал: это был уже не прежний приступ хохота, когда он видел свою будущую смерть, комфортабельный гроб и богатые похороны с собаками. В этом новом хохоте было другое: чистое ликование, напоминающее последнюю грезу о лучшем из миров — о нашем мире. Правда, на какое-то мгновение в его сознании проснулось обыкновенное, человеческое, и тогда Крэк закричал, схватившись за голову:

— Помогите!.. Помогите!.. Помогите!

Но крик его, последовавший после хохота, тут же оборвался, а обыкновенное, человеческое угасло: ибо оно было бессмысленным — помощи не существовало.

И снова в глазах его, обращенных к пустынному небу, засияло ликование, то первоначальное ликование, которое возникло с этим новым хохотом. Он поднял руки, словно устремленные в безбрежность, и вдруг почувствовал, что Чарли обнимает его... Странный запах гнили проник в него. И Крэк опять захохотал — но уже полностью позитивно (без воя о помощи), пророчески: как хохотал всегда. Иными словами, Крэк был в объятиях Чарли. Дикая голодная призрачная собака подбежала и обнюхала их. Так и стояли они вдвоем в объятиях: мутант и толстый добродушный человек, когда-то торговавший бессмертием...

Вечерело. Их объятия были неподвижны, словно они превратились в окаменевших слонов. Крэк уже давно кончил хохотать: ничто не бывает бесконечным. Пророчества были неопределенны.

Надо было что-то предпринять, чтобы наладить контакты с Чарли. Утомленный, Крэк слегка пихнул его в бок и наткнулся на острую, почти нечеловеческую кость. Чарли вдруг вздохнул. А потом начал пришептывать, словно никакой иной речи не существовало...

И вдруг Чарли побежал. Одной рукой он сделал жест, чтобы Крэк следовал за ним. И Крэк знал, что ему некуда деваться: все равно его прибьют, если он останется на месте. Только Чарли, внушающий трепет, спасет его.

«Возможно, Чарли — идол какого-то культа», — подумал на мгновение Крэк. И чуть истерично побежал за ним. Мутант тут же свернул с проспекта, и они оказались в темноте зловонных просторов, окруженных домами-призраками (но «призраки» были наполнены людьми и крысами).

Крэк завопил: он считал, что нога человека из других регионов Нью-Йорка еще не вступала в эти глубины. Теперь уже, несомненно, спасти его могла только близость Чарли. Если кто и входил сюда, то не выходил в прежнем виде.

А Чарли между тем очень быстро бежал: было удивительно, что это существо может так нестись. Крэк задыхался. Но он боялся передохнуть даже на минуту. В пустоте черных окон мелькали огни, шевелились у непонятных углов какие-то тени, стаи перебежали ему дорогу. Холодную тишину прерывали внезапные крики.

— Помогите!.. Помогите!.. Помогите! — это был первый членораздельный крик, услышанный здесь Крэком.

Опять мелькали тени — у деревьев, в окнах, — валялись на земле скорченные люди — через них надо было перепрыгивать или обходить их. Но этот крик — «Помогите!.. Помогите!.. Помогите!» — не оставлял Крэка, звенел в его ушах, не отпускал его.

Крэк упорно держался за Чарли, порой они бежали бок о бок. Оскал света сменялся улыбкой тьмы. И стоны возникали то там, то здесь.

И вдруг они выскочили на проспект. Крэк понял, что Чарли куда-то ведет его. Но куда?!

О, Чарли, Чарли, он вел его в свой дом, в свою конуру. Крэк почувствовал это.

Неживели здания, безответно рычали собаки, бежали люди, мертвецам сквозь тяжесть век и гробов виделось будущее — и свое, и этого города, а Крэк неумоимо трусил за Чарли — и вот они около огромной трущобы.

Окна напоминали выбитые глаза апокалиптического зверя.

Лестницы не было, но лифт был. Друзья поднялись на пятый этаж.

Пискнула тварь, напоминающая птеродактиля.

И вот они — дома. В комнату вел туннель с окнами по бокам, где бились птицы. Кучи кала стыли по сторонам, как волны цветов. Крэк почувствовал, что внутри одной кучи — человеческая голова.

Он усмехнулся и помочился опять, рискуя потерять Чарли в темноте туннеля.

Но по шепоту он находил друга. Внезапно шепот остановился. Крэк заметил дверь — могучую и какую-то неподвижную. Чарли ударом трех рук открыл ее. Крэк почему-то ожидал увидеть внутри женщину — супругу Чарли или его сестру.

Но внутри не было почти ничего. Одно огромное зеркало висело на черной стене, треснутое и забытое даже своими отражениями. Может, оно и было сестрой Чарли. Две кровати. Стулья. Стола — нет. Не виделось и крыс. Одна тишина. И птицы не бились в окно.

Чарли подошел к своему непомерному зеркалу: посередине проходила трещина, и в зеркале вместо облика Чарли отражалась одна тьма. Правда, тьма шевелилась и имела форму. Крэк различил даже две руки, но третью не мог уловить, точно она исчезла в зеркале.

Потом Чарли опять зашептал. Крэк понял это как приглашение лечь на кровать. Кивнув, он присел на одну. И погладил свою тень.

— Покушать есть ли? — спросил он вдруг.

Чарли моментально понял и нырнул куда-то почти в стену, там оказался шкаф, а из шкафа он вынул кастрюлю, и она — с помощью его руки — описала круг в воздухе и оказалась перед Крэком на табуретке.

Крэк снял крышку и увидел внутри что-то ярко-красное...

И тут же голубой свет озарил его лицо. Оказывается, в третьем углу стоял многолетний, наверное, подобранный на помойке, с маленьким экранчиком телевизор — и Чарли включил его.

Сияли последние новости. Мелькнула чья-то вампирическая харя с невинно-стальными глазками.

— Выключи, — сказал Крэк.

Чарли выключил и отошел в темный угол, где ничего не отражалось. А потом вдруг стал раздеваться.

Крэк лег на кровать и закрыл глаза.

«Какая благодать», — подумал он, мертвее и погружаясь в сон.

И вдруг темный вихрь внутри поглотил его. У него не хватало даже слез, чтобы заплакать о себе. Вихрь уходил вовнутрь, в провал, из которого нет выхода. Последним усилием жизни Крэк решил приподнять веки. Веки были тяжелые, словно мертвый сон о своем будущем охватил его. Все-таки он приподнял одно веко. И увидел Чарли.

Чарли сидел рядом с ним на табуретке, и был он, по видимости, уже раздет...

Вот это и добило Крэка. Тела как тела у Чарли не было, но существовало такое, отчего сам Чарли вдруг запел, глядя на себя голого. Крэк слушал это пение как собственный приговор. То, что он видел своим единственным холодеющим глазом, выходило за пределы ужаса, и чудилось пастору, что он сам теперь, как свидетель, становится нежилецом, не входящим в рамки любых миров.

И постепенно кровь Крэка превращалась в ее антипод. Он уже не чувствовал ее всеохватывающей космичности, голоса богов и звезд уже не звучали в его крови, она — по своему духу — становилась все чернее и чернее, по мере того как Чарли пел... Крэк видел само живое тело Чарли — но, увы, все смешалось в его мозгу, и глаз не мог дать окончательного сигнала в душу.

Один образ, один вопрос стоял на дне страха: что это — тело или проекция души Чарли?

Грегори Дутт закрыл свой единственный глаз, опять уходя в сон.

Темный вихрь внутри, точно получив энергию от присутствия обнаженного Чарли, уводил сознание в пропасть. Крэк (Грегори Дутт) на мгновение постиг наконец, что умирает, но умирает какой-то особенной, может быть нечеловеческой, смертью, недоступной даже крысам...

Впереди — туннель мрака.

И вдруг в конце туннеля он различил свет! Да, да! Вот они — его собственные напророченные похороны (он видит их), — только почему он не хохочет, почему нет последнего предсмертного хохота?!

Вот и странные голодные собаки, которые всегда плелись за его гробом, вот и одинокий неизвестный человек рядом, вот и крепкий гроб, в котором он лежит.

Все было как раньше, как будет всегда...

Но некоторый сдвиг все-таки есть. Ведь теперь он не хохочет, когда видит эту процессию, а умирает... И наконец появились дру-

гие черты: из гроба высунулась его голова, так любимая им раньше. Но один глаз был закрыт — словно уже смотрел в мир мертвых. Зато другой был, напротив, живой и даже подмигивал. Как-то нагло подмигивал, с непонятным для ума значением. Впрочем, Крэк чувствовал, что человеческий ум его исчезает навеки и у него уже никогда потом не будет человеческого ума...

Голова спрягалась в гроб, и на минуту обозначилась рука, белая, бесцеремонная, детская (словно Крэк превратился в ребенка), и махнула собой в никуда примиренно и загадочно. Но кто же он, Крэк, на самом деле — тот, который лежит в гробу и машет рукой в неизвестность, или тот, кому это все снится и который тоже умирает? Он сам не знал этого. Однако пророческий сон с крепким гробом, голодными собаками и неизвестным господином внезапно кончился, погас и свет в конце туннеля. Крэк — уже не человеческим умом, а каким-то другим, вдруг на мгновения появившимся, — понял, что возврата нет, что он уже не умирает, он умер...

Чарли продолжал сидеть на табурете около трупа Крэка, равнодушно помахивая тремя голыми руками.

## ЗОЛОТЫЕ ВОЛОСЫ

Он — знаменитость — сидел в роскошном номере нью-йоркской гостиницы. И он не знал больше, что ему делать: у него было все — и слава, и деньги.

На полу лежали пятьдесят пять разных газет с его портретами.

И вдруг постмодернистское озорство овладело им. Он стал разговаривать с собственным портретом.

И тогда захохотал.

Этот хохот был настолько сверхъестественен, что разбудил крыс, находившихся под землей.

Он встал и, обнажившись, подошел к зеркалам. Там, в этих зеркалах своего почти антикварного номера в волшебном этом отеле, он опять увидел свои портреты, разбросанные на коврах и диванах. Боже, как он был (и есть!) велик! Всемыслитель, автор сорока книг, каждая из которых на уровне Шекспира и Достоевского (так писали газеты), лауреат всех высших мировых премий, визионер (не уступающий Блейку), властитель самых утонченных женщин и вообще доступный сверхчеловек.

А эти цветущие (как блеск золота) волосы, к ним прикасались самые изысканные мальчики!..

Он подошел поближе к зеркалу, пристальней рассматривая собственное тело. Знаменитость! Вместитель всех возможностей и сил! И подумал: «Моя новая кни-

га будет называться «Секс и я». Это станет мировым откровением. Весь мир купит книгу о моем теле».

Но вдруг ему захотелось надеть свое собственное фото из одной влиятельной газеты на орган своего тела, отнюдь не предназначенный для развешивания портретов. Это будет великий символ!

И символ получился. Портрет сиял, отражаясь в золотом зеркале! Вот она — подлинность Нарцисса! Вот она — преемственность между великой древнегреческой культурой и нашей суператомной цивилизацией Хиросим и полетов на Луну!

Портрет на органе — в зеркале! Снилось ли это Нарциссу, который к тому же не был знаменитостью, а всего лишь мифологической фигурой, не входившей в мир наличных фактов?! А его член и его портрет — это факт.

Несмотря на то что его фотопортреты сияли по всему миру уже много лет, он не прекращал их обожать!

Наконец, знаменитость (и к тому же «гений» — по определению журналов) стала читать статьи о себе, вся обнаженная, перед своими отражениями. У него было орлиное зрение.

«О, Достоевский, о, Данте, о, Толстой и Шекспир! Он — тот, кто их объединил. Он открыл нам эрос, неподвластный психоанализу! Он — первооткрыватель нас всех как Нарциссов». Так писали в газетах. В сущности, он был выше античных богов (хотя прямо он никогда не высказывал эту концепцию).

И вдруг странная мысль запала в его опьяневшую от величия (и чуть-чуть от наркотиков) голову: «Неужели я, сверхчеловек и гений, зависим от боссов, от подвластной им прессы, от тех, кто назначает, кому быть знаменитым, от властителей мира сего...»

Член его таинственно увял, и портрет упал на пол.

— Какой позор! Выходит, выбрав, они меня создали, сфабриковав, а не я! Не я творец своего величия!

Он посмотрел на себя в зеркало.

— Ненаглядный! — закричал он. — Какой удар!

Его глаза потемнели.

— Сжечь! Сжечь! Вот мой ответ. Огонь! Огонь! Я великий по своей природе!

И он поджег газеты о себе. Это уже превосходило возможности Нерона.

— Вот он, подлинный нарциссизм! А не эта зависимость! — вскричал он.

Газеты пылали, отражаясь в зеркале. А он, всеобъемлющий,

непостижимый, стоял сбоку от этого пожара. Газета, упавшая с члена, горела ярче всех, словно комнатное солнце. Она пылала, почти как новая звезда.

О, великий диссидент!

...Через несколько дней газеты и журналы писали о нем примерно так: «Его бунт против несправедливости превзошел всякое понимание. Он — революционер! Он — адепт современного восстания! Его нарциссизм — это синтез революции и контрреволюции. Его мятеж — полет в двадцать первый век».

И все это говорилось по поводу его последнего, яростного, бушующего всеми переливами гнева интервью, в котором, однако, содержался скрытый и расчетливый реверанс в ту сторону, куда надо.

И его «бунт» был дорого оценен и немедленно оплачен.

Вскоре появилось переведенное на восемнадцать языков, прогремевшее на весь мир его эссе о мастурбации младенцев в утробе матери. Это эссе публиковалось в самых элитарных журналах.

Спустя полгода возникла его поэма «Бе-бе-бе», состоящая только из комбинации этих звуков. Газеты восторженно известили, что эта поэма знаменует конец литературы.

Я всегда думал, что единственное существо, которое выше меня, — это крыса.

Но, к сожалению, я их никогда не видел — даже их синих черно-бездонных глаз, погруженных в протосмерть. Я их видел только во сне, и то в Нью-Йорке, хотя в Нью-Йорке много-много, даже слишком много видимых крыс.

Я живу в конуре, на шестнадцатом этаже в здании, которое через тридцать пять лет провалится. Но мне почти весело от этого.

Люблю крысиные глаза, уходящие вовнутрь. Я вообще люблю глаза, которые уходят вовнутрь. Прежде всего, потому что у людей, которых я вижу вокруг, глаза смотрят всегда во вне, как будто внутри у них ничего нет. Я разъезжал по всему свету и убедился, что это так. А я ведь — любитель необычного. Хотя бы потому, что моя мать наполовину индианка. Но эти рыбы — необычные люди — так редко попадались! Одни бесконечно жующие морды, то разъезжающие на автомобилях, то спрашивающие: «How age you?» Некоторые из них считали себя спиритуальными, потому что часто употребляли такие слова, как «Бог» и т.д.

И все-таки недавно я увидел необычайное. Это был человек-семга. Я уже давно забросил свою контору, ибо скука — цари-

ца этого общества — стала убивать меня окончательно. Впрочем, некоторые называли эту контору «реальностью». Гомосексуализм, порнография и т.д. были даже еще скучнее, чем обычное и респектабельное существование типа «хау а ю». Еще некоторое время меня развлекали педофилы — я вошел в их пуританское сообщество (в качестве наблюдателя), — но дети оказались такими же скучными, как и взрослые.

Бессмысленность доконала меня. И вот тогда я и бросил работу (два моих знакомых, один из штата Техас, другой — с Бостона, покончили с собой, когда их выгнали с работы). Но я плевал на все, в том числе и на трупы моих знакомых.

Я решил уйти в трушобы. К обездоленным. С ними было не так скучно, зато страшно: ибо не раз за все мое подпольное существование они хотели зарезать меня. Но не зарезали от избытка чувств. И все-таки ничего в них не было необычайного. Ну, люди как люди, с другим меню.

В действительности необычным был он: человек-семга.

Стоял серый, пустой нью-йоркский день. Я тогда выполз из такой трушобы — прямо из окна, которая напоминала труп, выставленный напоказ. Тараканы, другие мелкие твари, смердуны копошились в моем носу, горле, уме... Но я все-таки вышел! В моих карманах было тридцать долларов — целое состояние, которое я вынул из брюк наркомана, уснувшего в углу.

Почти бегом, мимо грохочущих автомашин, воя обездоленных, мимо реклам общества «новорожденных в Боге», мимо патологических проституток и глаз ожиревших бизнесменов, видимых сквозь стену небоскребов, я уходил туда, туда... в дешевую грязную пивную, около Сорок второй улицы, улицы кошмаров.

Вот, вот она, милая. Я знал там одного бармена: трижды — правда, за целый год — он подмигнул мне.

И я вошел в этот райский мир. В углу зеленел телевизор, в котором кого-то насиловали. По другой программе выступали те, кто считал, что они живут в золотом веке.

Я сел за столик. Бармен — уже четвертый раз за год — подмигнул мне. Я заказал себе пива и рюмку водки. На голодный желудок от этого можно сойти с ума. Я нарочно потому не ел ничего — даже своих крыс (ментально).

И вдруг появился этот человек. Толстый, красноватый, в руке у него был томик Шекспира. Это меня поразило больше всего.

Но истинная необычность его была в нежности. Только нежность эта внешняя. Души, как обычно, не наблюдалось, но вне-

шняя нежность была. Он весь раздулся от этого, кожа лица, рук была у него красновато-тонкая, странная, одним словом, семга, воплощенная в человека.

Я запел. Я люблю, когда семги воплощаются в людей. Раньше, бывало, боги (например, античных времен) принимали вид людей, а теперь даже семги воплощаются в нас. Это ли не чудеса? Богам, конечно, легко воплощаться в людей, а вот семге — это и есть подлинное чудо!

Глаза, какие у него были глаза! Синие, розовые, водно-небесные, разорванно-голубые, свирельные. Я тут же встал, как все равно военный, отдал ему честь и упал перед ним на колени.

«Свершилось! — подумал я. — Тысячелетиями ждали этого! Что там боги! А вот возьми, и чтоб семга — да в человека. Это тебе не поиски истины сквозь туман. А тут все чисто: семга — и вот на тебе, человек».

«Он» (я о нем иначе как с заглавной буквы и не могу выражаться) издал свое великое: «Пуф-пуф!»

Как я потом понял, это был единственный звук, который он был способен (более или менее внятно) произносить.

В остальном — молчание, вернее, антимолчание.

Я почти заплакал, ибо не понял выражения его рыбьих глаз. Одним вздохом меня вынесло в сторону, к клозету.

Там было обычное: я видел сквозь щель, как огромный цветистый мужчина использовал в задницу молодого человека, а тот блевал в белоснежный толчок и рассматривал там — мне так интуитивно показалось — свое собственное вечное отражение.

Но мне было не до обычного.

Я встал и опять очутился около Семги. Он дышал ровно, ровно, и от его чистого дыхания веяло рекой, блаженством и сумасшествием. И тогда я поверил! Да, да, я обрел веру. И не покину ее никогда. Все, что я говорил ранее о Нем, — в прошлом. Сейчас — я на дне. Я — один. Я превратился в семгу. И я обрел веру. Я плыл по речным потокам. И потом меня убили.

И я видел — своими чистыми, речными глазами, — как меня едят.

Но я обрел веру.

Прощайте.

П. жил в маленькой засаленной комнатухе где-то в углу Нью-Йорка. Рядом был выход в метро. Из метрополитена всегда пахло мочой — полузвериной и на вид странно-грязной. Хотя мочились, падая внутрь, обыкновенные люди.

П. никогда не входил внутрь метро: боялся — убьют. Он слышал от эмигрантов — может быть, от эмигрантов с луны, — как обстреливают в метро. И он боялся.

А чего, собственно, ему было бояться? После того как он пересек заветную черту, себя он уже не помнил.

Неужели стоило бояться смерти тому, кто и так уже не существовал?

Иногда он выл по ночам. Но выл не оттого, что стал злобен, а наоборот — от пустоты. Правда, он пугался — сумасшедших, дыма из-под земли, вооруженных, как во время атомной войны, полицейских, акулообразных лиц в роскошных машинах, — но этот испуг скорее был от инерции, чем от его существа. Ибо его существо пропало.

Или, может быть, этот испуг от какого-то неведомого полуостатка его внутреннего существа.

Иногда он выходил в Нью-Йорк, присутствовал на некоторых вечерах — на квартирах. «Полуостаток» шарахался от хаотичных огней Нью-Йорка, от лиц с глазами как на долларо-

вых бумажках. Возможно, эти люди были как-то счастливы, но особым счастьем, от которого П. становилось дурно.

Ровнообразные, толстозадые пасторы читали проповеди в «церквах». Проститутки и псевдовластители были идолами века.

Кроме того, пока полутайно цвела педофилия, но П. об этом не подозревал, потому что его существо ушло от него. Он считал, что везде царит пуританство, и даже «порнографию» он принимал за своеобразную форму пуританизма.

На вечерах — где бывали и профессора — он внутренне тоже отсутствовал. Толковать о религии, то есть о деньгах, считалось неприличным: нельзя говорить о самом интимном.

П. ничего этого не понимал и только безразлично плакал внутри себя.

Он удивлялся профессорам: они говорили о погоде и о том, что многие из них не читали Шекспира, считая это невыгодным. Интеллектуализм — обостренный — вращался вокруг проблем отчуждения между гомосексуалистами. Но это касалось только элиты.

П. не был в элите и к тому же ничего подобного не чувствовал, принимая все за чистый пуританизм.

Он слышал только:

— How are you?\*

— How are you?

— How are you?

И не было кругом никакой порнографии. Раз только, между прочим, на улице огромно-толстый человек отозвал его за угол и вдруг обнажил свой член, закутанный в долларовую банкноту.

П. стащил доллар.

Больше таких историй не было.

— How are you?

— How are you?

— How are you?

— Is it nice weather?\*\*\*

Возвращался П. с вечеров как бы вознесенный. Это было потому, что его существо еще более уходило от него.

И от этого ему становилось легче.

Какой-то тип записал на магнитофоне разговоры на одном из вечеров и советовал П. варьировать это на следующих вечерах — среди интеллектуалов. Но оказывается, интеллектуалов нельзя

\*Как поживаете? (англ.)

\*\*Хорошая погода? (англ.)

было смешивать с профессорами: последние ходили скорее на бизнесменов. Интеллектуалы же ходили на фрейдистов. Ничего этого П. не понимал.

Возвращался он с вечеров (интеллектуалы принимали его за призрак, сошедший с киноэкранов), полуобъятый нью-йоркским воздухом, чувствуя себя богатым, хотя даже на еду не хватало денег... Он ничего себе не позволял. Один только раз механически помочился на неуклюжего человека, который лежал у метро, повернув свое брюхо к звездному небу. Человек чувствовал себя свободным — разумеется, от жизни (и от этой, и от вечной). Помочился он на него, не ощущая ничего. А потом поклонился небоскре-бам...

И наконец, спустя много дней после всех своих историй, он увидел Лицо. Это случилось в день его рождения. Он включил TV. П. любил включать телевизор, ибо это заменяло ему мудрость. Мелькали там педики, сенаторы, знаменитости, проститутки, пасторы и наемные интеллектуалы. Но это не так взволновало П. на сей раз.

Главное, что он увидел Лицо. Это был человек, то возникающий на экране, то исчезающий в нем.

Одним словом, это была полужнаменитость.

Но дело не в этом. Дело заключалось в Лице.

В конце концов, такие лица он видел много раз на экранах, на рекламах, на улицах...

Но в этом Лице все было более чудовищно выражено. П. поразился: оно отражало то, что ниже Смерти. Это и ошеломило П. больше всего. Он всегда думал, смерть и ад — самое худшее, что нам предстоит. Он увидел нечто столь ординарное — в самой экстремальной степени, — что никакой распад, никакие страдания, никакой ад не мог коснуться обладателя такого Лица. Это было ниже ада, ниже дезинтеграции, ниже смерти!

И следовательно, хуже всего. П. раскрыл тогда рот — в тот момент, когда обнаружил перед своим сознанием тайну выражения этого Лица.

Лицо между тем упивалось своей значительностью.

«Не умрет он теперь никогда, — подумал П. — Так и останется навечно на экране счастливый, знаменитый и всемогущий».

П. любил этих «всемогущих», особенно их тень.

Лицо долго не давало ему покоя. Оно снилось ему по ночам — во всей своей широте и многозначительности. Иногда подмигивало ему — мол, будь как я.

И тогда П. сдался. Он стал как тот, который ниже Смерти. Проснувшись однажды днем, глянул на себя в зеркало и увидел, что родное его, почти детское где-то личико неотличимо по своей сущности и выражению от Того Лица.

Он сам стал этим Лицом, точнее, Анти-Лицом. И с этого момента начались для него счастливые дни. Он вдруг получил работу (что совсем уже походило на чудо). Более того, через семь лет оказался Наемной Знаменитостью. Получил мировое признание, телевидоровался, поучал, разъезжал.

Но его Анти-Лицо поразило некоего П.П.

И этот П.П. перенял облик П. — во всей его невыразимой ординарности.

И через десять лет тоже вырос в Наемную Знаменитость, телевидоровался, поучал, разъезжал...

П. уже давно пребывал в регионе, нижнем по отношению к аду, а П.П. по-прежнему разъезжал, телевидоровался, объяснял, просвещал и учил.

Он жил в дыре. И звали его женским именем — Кэрол.

Кэрол не понимал, кто он такой и что сейчас на самом деле: двадцатый век или двадцать третий.

И это было не потому, что он жил в дыре. Кэрол вылезал иногда наружу из этой дыры. Но то, что видел, душило его. Темная, страшная нью-йоркская ночь.

Когда он выходил наружу, то понимал, что погиб навек, проклят, погружен в геенну огненную, как и этот всежуткий Город Мечты. Хотя Кэрол и сам в некотором роде мечтатель.

Иногда он чувствовал, например, что на его голове вместо двух ушей вырастает два члена, огромных, длинных и всеобъемлющих. По особо уловимым движениям этих членов можно было предсказывать, как говорят, будущее. Но будущего не было. Черная ночь с руками длинными, как у спрута, душила его, лишь только он выползал из своей норы.

Он пытался петь популярные песни, но ничего не помогало.

Несколько раз, выходя из норы, он познавал и радость.

Один раз, когда увидел человека, лежащего в луже кровавой мочи, и моча внутренне сияла над его головой. Кэрол и сам понимал, почему это ему так радостно.

Второй раз он познал радость, когда поцеловал кошку.

На самом деле это вовсе была не кошка. На него смотрели два странных глаза, словно вознесенные в музыку сфер глаза селедки. И он поцеловал эти глаза. И не почувствовал даже, что стоит на коленях и кто-то огромный и темный целует его сзади, погрузив в бред.

Всего два случая, когда он был объят радостью или просто смешлив...

Но черный стальной круг заковывал его в себя.

Он любил прятаться от него в своей норе. Там он находил вонь, крыс, тараканов и иное бытие.

Свернувшись калачиком, он засыпал в этой дыре, и лицо его касалось ног. Так было спокойней. Вокруг мелькали всякие смердуны, но это ничего не меняло.

Кэрол иногда плакал. Но он плакал, не зная, что плачет. Слезы текли внутрь, а если текли вовне, то он принимал их за сопли. Простуда бывает везде.

Настоящий конец наступил, когда он вышел из дыры (вышел окончательно). В дыре смрад от выделений, тараканов и крыс стал настолько невыносим, что «оно» (Кэрол никогда не считал себя женщиной, потому думал о себе в среднем роде) сказала: «Хватит, больше не могу...»

И это «хватит, больше не могу» вывело его на улицу, на свободу. Но тогда черная нью-йоркская ночь стала душить его.

И нежно-воздушный Кэрол стал погибать. Сначала погибла память: Кэрол вдруг осознал, что он не знает, кто он такой. Родился ли он когда-нибудь или уже умер? Были ли у него отец с матерью, а если были, то кто они? Он ничего не знал, как будто существовал только сию минуту, а прошлого никогда не было. Помнил только свое имя: Кэрол. Желание памяти, правда, иногда вспыхивало. Он подошел к собаке (к людям боялся подходить, считая их демонами) и спросил у нее, кто были его — Кэрола — отец и мать. Собачка зарычала, не соглашаясь ни с чем.

Вскоре Кэрол потерял представление о месте — где он находится. Огромный город показался ему черным лесом, оборотной стороной земли, а подземное метро — его обитателями.

«Как же я так подзалетел?» — подумал Кэрол.

На углу у храма и банка стало гибнуть его тело. Его крушение Кэрол осознал с нездешней такой, нечеловеческой тоской. Стали немать ноги, потом немота поднималась все выше и выше...

Он упал, а через него перешагивали демоны. Немота парализовала тело, словно оно превратилось в комок небытия.

А затем начало исчезать и сознание. Выпльало из ума имя, и Кэрол забыл, как его звать. Уходило ощущение и невиданного, высокого, устремленного вверх к патологическим звездам, темного леса, находящегося на оборотной стороне земли.

В последний момент Кэролу захотелось шепнуть что-то ласковое автобусу — обитателю этого леса, и сознание покинуло его.

Похоронили его Бог знает где. Но в могиле к Кэролу вдруг вернулась память, потом вернулось сознание (одно тело, увы, не вернулось: оно быстро гнило от присутствия других трупов в этой братской могиле для бедных).

И Кэрол, лежа в могиле, мысленно и пышно хохотал. Он вспомнил имя, свою мать и отца, он знал теперь, где он находится (а именно в могиле) и что над ним раскинулся великий город.

Но Кэрол хохотал и оттого, что понял: он погиб навсегда и скоро его сознание трансформируется, так же как трансформировалось его тело.

Оно было большое, странное и мало походившее на человека. Да и человеческого жилья не было: всего лишь грязная клетка в «гостинице» для бедных в Нью-Йорке. Оно целыми днями хохотало, глядя на свое отражение. По существу, отражения не было, точнее, было пятно, походившее на него.

Кто он был? Оно называло себя «он», потому что у него был член, один-единственный, но до того опустошенный, что он считал его волосиком.

Итак, он не знал, кто он. Может, когда-то он был очень уверенным человеком, но уже несколько лет как он потерял всякое самоуправление.

С кем он совокуплялся? Определенно с тараканом. Тараканов в его конуре было много, даже избыточно, учитывая и самую пылкую любовь, но тот таракан был единственный. (Вообще, нашего героя не тянуло к изменам.) Таракан этот, кроме того, заменял ему домашнюю кошку. «Единственный» падал с потолка прямо на член, несмотря на то что член был как волосик. Не член, а именно таракан «делал» любовь...

— How are you? How are you?

— Ты меня любишь? — спрашивал он иногда своего таракана, когда тот ползал по его животу.

Нет, «оно» не был эмигрантом. Точнее, он стал эмигрантом,

но с другой, более духовной стороны. И где-то он оставался местным жителем и, следовательно, оптимистом.

Он, например, всегда говорил «how age you» таракану, когда тот заползал на его член. Потом, после совокупления, напоминавшего крепкую дружбу, «оно» подносило таракана к глазам и плакало (потому что с женщинами-человеками «оно» чувствовало себя еще более одиноко). Затем «оно» смотрело телевизор, подобранный на помойке.

В телевизоре мелькали белозубые божества. Их атрибутами были доллары. Потом стреляли, убивали и читали проповеди.

«Оно» пугалось. И в ответ опять хотело совокупаться с тараканом. Но «единственный» не всегда оказывался под рукой. Тогда «оно» выдумывало таракана...

Иногда «оно» ходило гулять. Особенно вечером, когда нью-йоркские полицейские, обвешанные пистолетами, автоматами и рацией, скрывались во тьму — под землю, искать убийц. Тогда он лез в помойное ведро, что находилось напротив отеля. Ведер было много, но он облюбовал только одно. Возможно, потому что в него испражнялась огромная черная негритянка, сошедшая с ума оттого, что увидела в витрине магазина большой бриллиант.

Запах ее дерьма обволакивал «оно», так что он почти засыпал, окунувшись головой в ведро. Этот запах, видимо, был лучше, чем запахи в нью-йоркском метро, и он убаюкивал его. Но больше всего он любил мечтать в таком положении.

Ему чудился, например, член Сатаны — холодный и невообразимый, как небоскреб, устремленный к луне. Он сам порой взбирался на лифте на край какого-нибудь небоскреба и тогда в ночных огнях видел тысячи таких живых чудищ... Между тем он любил Сатану. Любил также хохотать на небоскребе, склонив голову в ночь. Никогда ему не хотелось прыгнуть вниз, да и защитные решетки были внушительные. Зачем прыгать вниз, когда можно было прыгнуть вверх, высоко-высоко над этими супермаркетами, и летать этакой черной летучей мышью над городом...

Но однажды «оно» решило кончать со всеми этими грезами. Началась жуткая нью-йоркская ночь с воем из-под земли, с криком проституток из пустоты и с золотом в витринах. «Оно» выползло из своей конуры. Океан желтых огней в черном ореоле горел вокруг. «Оно» заплакало: не потому, что ему не нравилась эта цивилизация, а потому, что «оно» вдруг решило умереть. Не всякое существо, решив умереть, плачет. Иные умирают, как манекены.

«Оно» знало это, когда было бизнесменом: его приятели по делам именно так и умирали.

Иногда раньше у «оно» были маленькие позывы к смерти, главным образом после оргазма, особенно с проститутками. Но его, скорее, тошнило от этих дешевых проституток, на которых он порядочно тратился. Ерунда все это, пора было кончать по-настоящему. Главное, впереди не ожидалось денег, а какая же без денег свобода. И кроме того, он увидел, что у его помойного бака уже не появлялась та странная негритянка (ее потом видели мочившейся в метро). Около помойного бака стояла старая белая женщина, и она была еще страшнее негритянки, словно выплыла из ночного нью-йоркского метро двадцать первого века.

Старая белая женщина (волосы ее были окрашены в рыжий цвет — цвет золота) наклонилась над помойным баком, где уже не было светящегося дерьма негритянки, а лишь где-то в глубине копошились крысы.

Женщина пела в помойный бак какой-то гимн. «Оно» осторожно подошло к ее заднице:

— How are you?

Когда «оно» повторило это приветствие десятый раз, женщина подняла голову и посмотрела на него.

И тогда «оно» поняло: вот и все, сейчас пора кончать. Труба прогремела, хотя это был просто взгляд. Он не знал, какого цвета глаза этой женщины — синего, зеленого, черного или бледно-голубого? Разве дело в цвете и даже в выражении?

«Оно» завывало. Это был дикий, трупный вопль, не напоминающий, однако, обычный вой из-под нью-йоркской земли. На четвереньках «оно» поползло. Впереди был черный узкий проход — так называемая улица, зажатая небоскребами, и она была патологически длинная, эта улица, непрерываемая, так что виднелся далекий горизонт. И на горизонте этом зияло зловещее кроваво-красное зарево. Словно пылало сознание дьявола.

«Оно» стало медленно превращаться в подобие этого огненно-го облака, а точнее, в его отражение. Сначала превратилась голова, потом запыхало туловище.

И тогда — в огне — ему стало казаться, что множество людей на бесчисленных улицах этого города превращаются в маленькие огненные облачка и все они идут к своему Центру — к зловещему огромному зареву на горизонте... К зареву, в котором их не будет.

Сморчок возрос где-то между Тридцать шестой и Сороковой улицей. По нему — или, скорее, около него — ходили бесчисленные толпы людей, свежескаленные, бодрые, скрыто депрессивные, а в общем, нормальные люди.

Еще до рождения в его сознании отпечатались следующие клише:

— How are you?\*

— I am OK\*\*.

— Вы профессор русской литературы?

— Yes\*\*\*.

— И я тоже.

— Is it nice weather?\*\*\*\*

— Погода хорошая.

— Вот встреча коллег!

— I am OK\*\*\*\*\*.

Сморчок слышал эти разговоры в подземелье, до своего появления на свет. А теперь он появился и возрос: в основном на свет появилось что-то маленькое, убогое, но жизненное — некий лепесток.

Лепесток — на выжженной, оплеванной, обмоченной нью-йоркской улице. Как отмечалось, к нему стали ходить — душегубы, убийцы, бизнесмены, маньяки и обычные средние люди. Один из них упал на лепесток. Его,

\*Как поживаете? (англ.)

\*\*Все отлично (англ.).

\*\*\*Да (англ.).

\*\*\*\*Погода хорошая, не так ли? (англ.)

\*\*\*\*\*Все отлично (англ.).

оказывается, выгнали с работы, и он знал: никогда уже не возвратят.

Он рыдал в лепесток.

Сморчок (в грусти подсознания своего) вообще не понимал, как такие существа могут быть, но сам он настойчиво произошел.

Нью-йоркское солнце било в лицо.

Однажды рядом с ним лег дегенерат.

Сморчок пошевелился. Тот очнулся и сказал:

— How are you?

— I am OK.

И тогда сморчок задал нелепый вопрос:

— Деньги?

Сморчок ничего не понимал в деньгах, но под давлением всей цивилизации мог произнести это заветное слово.

Дегенерат оживился, лизнул собачье дерьмо, лежащее рядом, и вдруг произнес:

— Деньги — это власть. А у меня нет власти.

Сморчок удивился:

— Но я есть, и ты есть — и ведь мы не от денег?

Дегенерат от таких слов сошел с последних остатков своего ума: он думал, что все существует от денег.

Сморчок приподнялся, насколько мог. Ноги шли и шли. Они касались даже его внутренней сути. Поток ног. Поток победителей!

Но вдруг сморчок сказал:

— Не надо!

И тогда кто-то плюхнулся около его лепестка, освобожденный. Сморчок же опять ушел в свое подземелье, в свое «подсознание», и слышалось ему:

— How are you?\*

— I am OK\*\*.

— I make money\*\*\*.

— I make love\*\*\*\*.

— Love is money. Money is love\*\*\*\*\*.

Сморчок утомился. Он стал пробиваться туда, где он ниже,

---

\*Как поживаете? (англ.)

\*\*Все отлично (англ.).

\*\*\*Я делаю деньги (англ.).

\*\*\*\*Я делаю любовь (англ.).

\*\*\*\*\*Любовь делает деньги. Деньги делают любовь (англ.).

чем он есть. Многие люди тоже падали туда, где он был ниже, чем он есть.

И это взбесило сморчка. «Эти твари задушат меня, — подумал он. — От них нигде нет отбоя».

И они задушили бы его, если бы не милосердие Божие.

# ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Гарри М. знал: больше ему не жить. Жить было незачем. Он потерпел полное банкротство: дело его лопнуло, источник престижа и жизни иссяк. Можно было — не исключено — найти работу, но уже не престиж, не власть.

Он был выброшен из стаи волков...

Уже несколько месяцев он находился в полном низу, хотя и с безумными надеждами все восстановить.

Восстановить, и не просто восстановить, а владеть, владеть этим похотливым земным шариком, сделать его золотым, чтобы ничего, кроме золота, не было бы во всей вселенной.

Деньги снились ему по ночам; они сыпались со звездных путей, они обвивали его горло. Из долларов он бы сколотил себе гроб.

Но все кончено. То были мечты, а Гарри М. знал, мечты — это признак смерти. Ибо жизнь — это только факт, и деньги ценны только тогда, когда они факт.

Он, как и все, кто окружал его раньше, был королем фактов. Теперь у него не было их. Он жил без фактов. Он решил с этим кончать.

У него нет больше нервов жить и бороться за престиж, власть и деньги. Он сломлен в этой борьбе.

Гарри М. стоял в темном ко-

лодше между двумя грязными нью-йоркскими небоскребами, которые были чернее ночи. И потому он их не видел.

Но он подошел к двери. Она была открыта, и смрадная вонь (внутри лежал разложившийся труп собаки) не изменила в нем ничего. Надо было подняться на сорок первый этаж (лифт почему-то не работал) и оттуда броситься вниз: просто там было разбитое стекло. И кроме того, Гарри М., верящий в факты, считал, что прыгать надо только с высокого этажа: так вернее.

И он начал взбираться вверх по нелепой лестнице. Быстро очутился на десятом этаже. Там лежал труп человека. Уши у него были отрезаны, а нос съеден.

Гарри М. продолжил подъем. Сердце превращалось в буйвола, буйвола смерти. Трижды он засыпал, вдыхая вонь и пыль черной лестницы. Но потом вставал и упорно продолжал путь.

Крысы пугались его решимости.

Их было много, крыс, и пищи у них было много: они пожирали сами себя.

На двадцать шестом этаже он взглянул в неразбитое окно: внизу бушевал огнями Нью-Йорк и многие его небоскребы казались еще выше того, в котором он находился.

И почему-то нигде не было сладострастия. Словно небоскребы проглотили его в себя.

Гарри М. торопился к цели. Он знал, что сошел с ума, ибо у него не было денег.

Вот и сорок первый этаж. В черное окно дохнуло прохладой: из дыры. Он уже подошел к ней, как вдруг из тьмы вынырнула туша.

— Я ждала тебя, мой ангел! — закричала туша. — Я ждала тебя много дней!

И огромная старая женщина поцеловала Гарри М. в ухо.

Он заорал:

— Кто ты?!

Туша ответила:

— Я женщина. Я знаю эту дыру. Не ты один. Но я ждала тебя. Почему тебе опротивела жизнь?

— Отвяжись, старая дура!

— Родной, не лезь в дыру. У тебя есть член. Дай мне только минуту, минуту твоей любви. Я хочу делать любовь с тобой! Дай!

— Старая, безденежная дура!

— Зачем тебе лететь с сорок первого этажа? Сделай любовь со мной! Сделай, сделай, сделай! Если даже хочешь — лети, но сначала сделай! Ведь твой член — сокровище, как банковский счет...

Дай я его поцелую. Зачем ты хочешь его губить? Сделай сначала любовь со мной, а потом лети... Последний оргазм перед смертью — и потом в ад. Таков наш образ жизни.

И огромная туша объяла Гарри М. Он бешено сопротивлялся. Женщина тем не менее почти насильовала его; в рот потенциально самоубийцы входило старческое дыхание.

Вонь, пот и широта тела поглотили Гарри. А старуха шептала: — Если бы я была богатая, я бы приказала врачам вырастить на моей ляжке огромный живой член. И у меня не было бы проблем в любом возрасте, мой любимый. А сейчас ты мне так нужен!

Гарри М. тошнило: но тошнило его от близкой смерти. Он знал, что должен умереть, ибо у него не было денег — единственной реальности, двигателя, вселенной. И это ущемляло его самолюбие, даже его бытие. Неудачникам нет места на этой земле. Он сделал усилие и освободился от напора сладострастной туши. Легкий, он совсем приблизился к дыре. Но она — Беатриче, Вечная Женственность Нью-Йорка, цепко держала его за штаны.

— Отдай член! — заорала старуха. Ей было всего шестьдесят восемь лет.

Гарри М. рванулся. И тогда туша, разорвав ширинку, впилась в его член. Зубов у нее почти не осталось, но были старческие когти на руках.

Гарри М. завопил и рванулся опять — уже вниз. Кусок члена остался в когтях у женщины.

Пока Гарри М. летел, завершая свой победный маршрут, она пожирала член. Жрала легко, воздушно, из-за отсутствия зубов. Кровь самоубийцы стекала прямо внутрь туши. Единственный целый зуб во рту хохотал. А глаз вообще не наблюдалось.

Гарри М., пока летел, все эти секунды не терял сознания. И опять в эти великие мгновения думал о том, о чем думал всегда, — о деньгах.

Когда же он упал, то потерял сознание и сразу перестал думать о долларах.

Хоронили его шумно, помпезно, хотя и без частицы члена, — и конечно, в протестантской церкви, точнее, в клубе, называемом церковью.

Пастор говорил на церемонии:

— От нас ушел человек, близкий к Богу. Он ушел от нас, потому что обанкротился, а деньги для него были путем к Богу, материализацией исканий и надежд, прямой дорогой к раю на земле... Пусть он получит там то, что хотел иметь здесь.

Никто не говорил эмигранту Григорию, что ему надо умереть. Но он и сам кое-что постиг, взглянув из окна своей квартиры на нью-йоркское небо.

Небо было иным по сравнению с тем, что раскинулось над его страной. Но в сущности иным было все: от людей до деревьев, от блеска глаз до звуков городов, от тишины до трупов на кладбищах. Все было странно иным и в какой-то мере непонятно зловещим: в конце концов дома как дома, земля как земля и люди тоже не с двумя головами, но почему же постоянно ощущается присутствие чего-то скрыто-зловещего, распростертого во всем: от природы, трав, деревьев и цвета неба до городов и движений обитателей, точно земля и город этот навеки прокляты? Но кем? Индейцами, давно в основном уничтоженными, или высшими существами? Или так только казалось?

Но самое худшее началось, когда появилось синее существо. Оно, с ушами, возникло внезапно в его комнате, в грязном тараканьем углу, где висело белье.

Сначала Григорий заплакал, увидев его, ибо почувствовал, что теперь он не одинок, что даже не сойдет с ума, что у него есть друг и он не будет больше бегать как сумасшедший по черным и узким нью-йоркским улицам.

Но потом это синее создание запело. Глаз — в нашем понимании — у него не было, но слезы текли. Впрочем, они не совсем походили на слезы. Григорий захохотал и снял ботинки.

Вдруг иллюзии кончились. Он неожиданно для себя ощутил, что синее существо и есть как раз предельная концентрация того иного, что — невидимым образом — присутствовало во всем этом чудовищном городе, окружающем его. Это «иное» касалось не только иного языка, иных городов, иной земли, иных нравов — все это ошеломило его сразу, но он ожидал подобное, в конце концов не было так уж страшно. Дело в том, что за всем этим он увидел действительно иное — нечто внутреннее, тайное, не поддающееся разуму, холодное, даже космическое и уничтожающее все человеческое. Это «иное» не было, конечно, чем-то высшим — наоборот, оно не укладывалось в его сознании и вместе с тем воспринималось им, и именно поэтому, из-за такого противоречия он чувствовал, что действительно сойдет с ума и все будет кончено.

А теперь это иное сконцентрировалось и появилось в его комнате, в углу. На мгновение после своего открытия Григорий застыл: что будет дальше? Конец? Переход в тварь, подвластную этой тайной стихии? И тогда синее существо, точно познав его, подняло лапу. Они стали обмениваться мыслями, но не говорить. Синее существо что-то лепетало, а Григорий почти понимал его.

У существа был один глаз, и в нем не было успокоения. Внезапно Григорий стал готовиться к бою. Но в ту же минуту увидел около себя своего двойника. И понял: это какой-то невиданный аспект его личности, который уже никогда не реализуется. Это было его возможное духовное будущее.

Однако он почувствовал прилив сил. И вспомнил все родное, «прошлое»; синее существо недовольно зашевелилось. Это родное (что было в нем от родной страны) вдруг тоже вышло из него и, превратившись во второго двойника, оказалось по другую сторону: он был окружен, таким образом, своими великими двойниками, вышедшими из него.

Старое дикое зеркало на стене отражало их и синее существо в углу. Сам же он стал почти невидим, точно не отражался в зеркале.

Пять мышей вдруг пробежали между ним и синим существом, и это насмешило Григория. Он, овладев остатком воли, начал вглядываться в синее существо. Оно изменилось, точно не-

кий покров был снят. Григорий ощутил его живым «человеком» — о нет, теперь перед ним не только концентрация «ино-го», а живое создание, как-то связанное с иным — как, непонятно, — но отнюдь не простая концентрация «ино-го». Может быть, это был человек (вернее, в прошлом человек), живший теперь в «ином».

Тогда душа Григория притихла, и он подмигнул существу. Да, да, оно было живым, ибо в ответ захохотало, обнажая странные гнилые акульи зубы, в то же время призрачные. Это сочетание призрачности и явно ощущаемого запаха гнили изо рта — ужаснуло Григория.

Потом существо замкнуло рот и выпятило глаз — единственный, холодный, водяной, без крови внутри, но с длинной, как хобот, тоской.

Григорий улыбнулся глазу. Тот стал более суровым. Григорий прослезился — глаз стал сумасшедшим. Тогда Григорий захохотал в глаз, но тот ушел в себя.

— How are you?\* — складно спросил Григорий.

— How are you? — вдруг явственно (а не умственно) ответило существо.

— Is it nice weather?\*\* — покорно спросил Григорий.

— Really, it is\*\*\*.

Это уже походило на какой-нибудь вечер в университете, среди профессоров.

Помолчали.

И вдруг синее существо, словно сдернувшись очередной покров, заговорило.

— Спасите меня, — сказала оно.

— Как я тебя спасу? — ответил Григорий.

— Я хочу умереть. Помогите, приятель, мне умереть, — синее существо сверкнуло своим выпученным глазом.

— Но я тоже хочу умереть, — ответил Григорий.

— Поэтому я к тебе и пришел. Мы обменяемся смертями. Ты дашь мне свою, а я тебе мою. Ведь у всех особенная смерть. А моей смерти мне еще слишком долго ждать.

И тут Григорий взбесился.

— Я хочу умереть своей смертью, а не чужой! Я и так в чужом мире, который сведет с ума и Будду. Вокруг меня — мои

\*Как поживаете? (англ.)

\*\*Погода хорошая, не так ли? (англ.)

\*\*\*Да, хорошая (англ.).

двойники, лучшее, что у меня есть, а я — один. Может быть, мне суждено навсегда покинуть не только свою страну, но и эту планету...

— Рано или поздно ты ее покинешь, ибо ты умрешь... Но давай поменяемся смертями. И ты уйдешь туда, где должен быть я, и наоборот.

В ответ Григорий завыл. Он почувствовал себя сошедшим с ума дважды. Этот иной явно мучился. Надо его задушить, чтобы не страдал. И Григорий бросился к синему. Тот метнулся в сторону, стремительно взглянув в самое сердце Григория. И Григорий внезапно стал иным, потеряв свое имя, двойников, страну и свою смерть.

Альфред Маратов жил в зловеще-обугленном — на самом деле такой был дизайн — здании на углу Сто девяносто восьмой улицы Манхэттена. Он жил здесь уже четыре года один и числился преподавателем одного захудалого колледжа Нью-Йорка: имел там несколько часов.

В его квартиру на шестом этаже вела сумасшедше-ободранная длинная лестница — лифта не было. Тьма там такая, что он часто натыкался, бредя по ней ввысь, на какого-нибудь дикого соседа. Бедные бродяги окружали его со всех сторон, но он давно потерял способность их бояться. Возможно, потому его никто и не трогал, если не считать двух-трех ударов в живот и одного укуса.

Квартира была большая, двухкомнатная, но там жили тараканы — бесконечное количество тараканов. Они падали с потолка, с окон, заполняли остатки ванной, уплотняли его скромный суп.

Маратову нравилось читать стихи; но поэзию в этой стране никто не любил, кроме тараканов.

Тараканы вовлекались звуками и толпами заполняли стол, за которым он сидел, не оставляя на нем просвета, и слушали, слушали...

Но последнее время Маратову самому уже становились скучны все эти стихи, и он часто за-

сыпал во время чтения, уткнувшись белым личиком в черный стол тараканов.

Никакой ветер не брал его, хотя иногда — через раскрытое в ночь окно — в комнату врвался неистовый нью-йоркский ветер.

Жена от Маратова ушла: повесилась два года назад в этой их полуванной, наполненной тараканами. Труп так и похоронили с насекомыми, с тараканом в ноздре и с помощью бульдозера. Маратов провожать ее не пришел: деловой, был занят своими уроками («Деньги, деньги превыше всего», — твердила ему перед смертью жена, сошедшая с ума за десять дней до повешения).

Маратов чтит отсутствие ее могилы.

Каждое воскресенье (вместо того чтобы идти в церковь) он пускал к себе в квартиру огромного соседа — с почти бело-лысой головой, и тот аккуратно мочился по всем четырем углам. Таков был ритуал вечного новоселья.

Но Альфред не очень любил ритуалы. Десять лет назад в Европе он написал манускрипт «Смерть в двадцатом веке» и был жизнерадостен, но с тех пор, как приехал в Америку, обетованную страну, он ничего не писал, кроме статей. Он знал, что, если не реализует себя и не будет зарабатывать тысячу долларов в месяц, у него огнинется ум. А у него не было двух умов.

В сущности, в последние месяцы у него уже не было ни одного ума.

Это началось с ноги, когда он проснулся на кровати и стал кричать. Кричал он не помня самого себя. Но потом прислушался и заметил, что кричит уже не своим голосом. Голос был явно чужой. Он выпучил глаза: зеркало было застлано тьмой.

И тогда в нем из глубин его существа стала подниматься превращенная в душу черная тень. Тень росла и росла, отнимая у него прежнее существование. Маратов стал маленький, как абсолютный идиот, и оказался внутри своего черного существа, которое разрослось почти до потолка, так что исчезли тараканы.

И тень выла забытым нечеловеческим голосом, уничтожив его прежний ум и ощущение себя. От себя почти ничего не осталось.

Было страдание. Невероятное, чудовищное страдание. Ибо где-то на периферии прежнее сознание Маратова оставалось — и мучилось и корчилось, — страшась разрастающегося изнутри черного существа, которое выло не своим голосом.

Это вой пугал Маратова, ибо он означал подмену его самого.

Черная тень ползла по бытию Альфреда, убивая его своим бессмысленным ужасом...

Сегодня у Маратова был праздник. Он съел котлету, а последнее видение изнутри черного существа было два дня назад. Он отдышал.

Но внезапно «оно» опять возникло. Это был блеск черного взрыва, все бытие, вся реальность которого была заполнена сумасшествием и бесконечным — без вселенских границ — ужасом перед жизнью. Тысяча рук, как волосы, вставшие дыбом, выплеснулись из черной тени наружу.

Сознание, слившись с черной тенью, орало изнутри:

— Я не могу больше, не могу. Не могу!

Черная тень была полна ужаса не только перед этой жизнью, а перед всей. Эта казалась ей продолжением потустороннего ада — словно большая часть Нью-Йорка стала невидима.

И был в ней также бессмысленный ужас, которому нет ни названия, ни оправдания. Черное существо — внутри Маратова — орало так, что Альфред соскочил со стула и выбежал во тьму на улицу, почти не заметив длинную лестницу. Он пробежал ее за секунды и выбежал в вечную нью-йоркскую ночь. Огромные нищие в еще более огромных лохмотьях копошились у помоек. Один из них пел — что-то индейское. Другие молчали, уходя лицом в полойные ведра.

Маратов же голосил. Но даже крысы не слушали его (то ли дело, когда он читал стихи Шекспира своим тараканам).

Он уже не знал, где он, а где черное существо...

Ни один нож не блеснул в его направлении.

Он, правда, споткнулся о лежащего человека, полуубитого. Тот судорожно мастурбировал, обливаясь кровью, текшей с его головы и изо рта. Он пытался поцеловать свой член — и в его глазах блеснула искра сознания, первая и последняя за всю его долгую жизнь.

Маратов же рвался вперед, как некий спортсмен, как некий сверхчеловек.

Рядом сияла огнями пивная, где у стойки молчали десять человек, угрюмо поглядывая в голубой телевизор.

Кот, подвернувшийся под ноги Маратову, взвыл, надеясь на Бога.

И наконец, черное существо поглотило Маратова: доживать остался только один атом его прежнего маратовскоподобного сознания. Все остальное провалилось в черную тень.

И тогда оно — черное существо — вдруг перестало вопить, вернее, дикий вой ужаса превратился в форму существования и стал устойчив.

Маратов — по форме он остался им — вернулся домой.

Завернулся в голубое одеяло и заснул. Ему снилась его покойная жена, второй раз сошедшая с ума на том свете и потому ушедшая на третий свет. Но что это был за третий свет, Маратов не разгадал: туда вела длинная черная дыра или труба, из которой вытекали, как сор, потусторонние черви. На этом символика кончилась, и черное существо Маратова (или он сам, что теперь одно и то же) проснулось в холодном поту.

Утром Маратов сжег портрет своей любимой жены.

Тараканы больше не залезали ему в ноздрю во время сна. Маратов почти стал черной тенью.

Но — даже будучи тенью — нельзя было не идти на работу, ведь надо зарабатывать знаменитые доллары. Без божества невозможно жить.

Но самым последним атомом своего сознания Маратов боялся идти преподавать (как раз кончился отпуск), ибо как может — думал он — черная тень преподавать? Это все равно, как если бы преподавал труп, скаля зубы и объясняя поэзию Байрона или Блока. Один только указательный палец был бы живым.

...С дрожью Маратов вошел в храм просвещения. Кругом собирались по углам и по лестницам студенты.

Маратов вбежал в класс и вдруг преобразился. Черная тень осталась на месте, но надела маску — и вполне приличную.

В остальном было все по-прежнему.

С этой маской потом получился смех и горе. Маратов надевал ее — ведь она была «психологической», — как только входил в общество, особенно профессоров и преподавателей. Они устраивали вечеринки — часто на дому у кого-нибудь из учителей.

Пока черная тень была внутри, Маратов, одев маску, говорил не «how are you», но и о погоде спрашивал, об автомобилях и о выборах даже...

Тем более везде были звезды интеллектуализма.

Маска удобно сидела, прикрывая черное существо, которое выло, неслышно и незнакомо, а маска говорила, говорила и говорила...

О погоде, об автомобилях, о выборах...

И о Беатриче — так называли знаменитую актрису, заявившую, что успех значит все и что Успех выше Бога.

И опять говорили о газетах, где стал мировой знаменитостью педераст-самоубийца, но об этом вскользь, больше о приличном: о погоде, об автомобилях и о выборах...

Маратов возвращался с этих вечеринок радостный, возвышенный.

Но однажды, после такой радости, проснулся — а черная тень (напоминающая теперь тень бегемота) сидит напротив него в кресле, а в нем, в Маратове, остается только малюсенький, тот самый последний атом сознания.

От такой малости Маратов тут же сгнил, но атом его сознания, напротив, сохранился и воспроизвел себя в кипящих мирах Юпитера, по-прежнему одинокий и беспокойный.

А черная тень ушла преподавать. И долго-долго потом газеты писали о массовом помешательстве среди студентов.

# КРУГЛЯШ, ИЛИ БОГИНЯ ТРУПОВ

«...В мире нужда по причудливой  
твари»

*В. Провоторов. Из стихотворений*

Долго хохотал кругляш, прежде чем умереть. Ему действительно было на все наплевать: во-первых, он не знал — кто он (вро-чем, об этом не знали и другие), во-вторых, если бы и знал, то не понял.

Валялся он на огромной по-мойке посреди Нью-Йорка, и никто его не замечал.

Кругляш только пел песни. Но какие же это были песни? О Боге он ничего не знал и о человечестве тоже.

Однако кто-то нашептал ему в ухо, что, мол, человечество совсем никуда, что оно пало, деградировало и имеет сейчас весьма далекое и причудливое отношение не только к высшему, но и к просто нормальному человечеству.

Но кругляш об этом даже не думал. Да и до дум ли было ему, когда у него рук не было, ног тоже, а на лицо он и не претендовал.

Гном, ковыряющийся в по-мойке, определил его одним словом: «Бандит!»

Он уже почти разложился, когда вдруг рядом оказался теолог, увещевающий своего спутника, тоже священника, что, дескать, нельзя умирать, не понявши Бога, и что мы-де к этому пониманию давно предназначены. И что на земле есть бизнес, а на небе — Бог.

Кругляш удивился, покраснел на минуту, перестав разла-

гаться дальше, а потом единственным своим глазом, находящимся сзади, подмигнул.

Но кому — неизвестно.

Фактически он уходил под землю, сбрасывая свою оболочку, превращаясь уже в иного кругляша.

— Ничего не могу доказать, но верую, — продолжал между тем болтать теолог, обращаясь к своему товарищу. — Меня интересуют только факты. После молитв бизнес идет хорошо. Это проверено статистически. Мой приятель, торговец легальным оружием, произносит обычно молитвы, которые я рекомендую. Он на редкость богатеет. Значит, он — избранник Божий. Таковы факты. Наслаждайтесь и обогащайтесь!

Кругляш медленно опускался вниз и наконец исчез за пределами физической земли.

А внизу отмечали его новоселье длинные насекомовидные твари с выпученными холодными глазами, похожими на глаза теолога. От их ума исходил пар, как дым из крематория. Но и здесь кругляш так же простодушно не знал, кто он и что с ним будет. Ему показалось, что вообще никаких изменений не произошло и что он по-прежнему там, где был раньше, то есть в Нью-Йорке.

В стороне, в каких-то мокрых подземельях сновали полусущества с рыбьим выражением тела. Они завидовали кругляшу, и заряд их зависти и ненависти был настойчив и широк, но поражал их самих. Они были словно в огне и ели этот огонь, равнодушный к влаге.

Кругляш плавал среди этих подземных существ, иной по отношению к ним. А потом его стало тянуть дальше вниз.

То, что он увидел в этом низу, было неопишимо, но и это ни в чем не изменило его...

«Пора совсем утонуть», — подумал он.

Но тут безумие спасло его. Некий мутный свет ударил в сознание, и кругляш перестал быть кругляшом. Он превратился в бред богини трупов.

# СОДЕРЖАНИЕ

## КОНЕЦ ВЕКА

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| 7   | Удалой          |
| 16  | Вечерние думы   |
| 22  | Прыжок в гроб   |
| 37  | Свадьба         |
| 47  | Живое кладбище  |
| 54  | Трое            |
| 60  | Происшествие    |
| 68  | Валюта          |
| 76  | Крутые встречи  |
| 86  | Бегун           |
| 97  | Люди могил      |
| 107 | Дорога в бездну |
| 119 | Случай в могиле |
| 126 | Коля Фа         |
| 130 | Жу-жу-жу        |
| 134 | Простой человек |
| 138 | Черное зеркало  |
| 147 | О чудесном      |
| 156 | Дикая история   |

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

- |     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 163 | Отношения между полами                 |
| 169 | В бане                                 |
| 173 | Петрова                                |
| 177 | Выпадение                              |
| 180 | Крах                                   |
| 183 | Удовлетворюсь!                         |
| 189 | Верность мертвым девам                 |
| 196 | Один (рассказ о космическом нищиеанце) |
| 201 | Нога                                   |
| 208 | Титаны                                 |

- 213 Шекотун  
221 Рационалист  
224 Отдых  
230 Свидание  
235 Искатели  
241 Квартира 77

### **АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ**

- 247 Чарли  
269 Золотые волосы  
272 Семга  
275 Лицо  
279 Кэрл  
282 Оно  
285 Сморчок  
288 Вечная женственность  
291 Иное  
295 Новое рождение  
300 Кругляш, или богиня трупов

Юрий Витальевич Мамлеев

**ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО**

*Редактор*  
*Художественный редактор*  
*Технолог*  
*Оператор компьютерной верстки*  
*П. корректоры*

*Е.Д.Шубина*  
*Е.В.Андреева*  
*М.С.Белоусова*  
*И.В.Соколова*  
*В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский*

Издательская лицензия № 065676  
от 13 февраля 1998 года.  
Подписано в печать 11.01.99.  
Формат 60 × 90 16.  
Гарнитура Баскервиль.  
Печать офсетная. Объем 19 печ. л.  
Тираж 7000 экз. Изд. № 579.  
Заказ № 1832.

*Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Государственном ордена  
Октябрьской Революции  
ордена Трудового Красного Знамени  
Московском предприятии  
«Первая Образцовая типография»  
Государственного комитета  
Российской Федерации по печати.  
113054, Москва, Валуевая, 28.*

Издательство «ВАГРИУС».  
129090, Москва, ул. Троицкая, 7 1.  
Интернет Home page —  
<http://www.vagrius.com>  
Электронная почта (E-Mail) —  
[vagrius@mail.sitek.ru](mailto:vagrius@mail.sitek.ru)

**Оптовая торговля:**

Эксклюзивный дистрибьютор  
издательства «Клуб 36,6»  
Тел./факс: (095) 265-13-05,  
267-29-62 267-28-33, 261-24-90

**Фирменный магазин:**  
(мелкооптовая и розничная торговля)

Проезд: Рязанский пер., д. 3  
(рядом с м. «Комсомольская»  
и «Красные ворота»)  
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

**Склад:**

Тел.: 523-92-63, 523-25-56  
Факс: 523-11-10  
г. Балашиха, Звездный бульвар, д. 11  
(от ст. м. «Щелковская», авт. 396,  
338А до ост. «Химзавод»)

**Книжная лавка «У Сытина»:**

113054, Москва, ул. Пятницкая, д. 73  
Тел.: (095) 230-89-00  
Факс: (095) 959-27-00  
Интернет: [http://www.kvest.com/  
mainmenu.htm](http://www.kvest.com/mainmenu.htm)  
Электронная почта: [syтин@aha.ru](mailto:syтин@aha.ru) или  
[info@kvest.com](mailto:info@kvest.com)  
Журнал «Книжный вестник»:  
<http://www.kvest.com>  
OCR Давид Титиевский, март 2020 г., Хайфа

ISBN 5-7027-0578-5



9 785702 705781 >



Биография русского писателя и философа Юрия Мамлеева (род. в 1931 году) вместила в себя почти все опознавательные знаки судьбы художника

в тоталитарном обществе: затворничество, писание в стол, хула, изгнание, жизнь в эмиграции. Там, на Западе, он был принят сначала

в американский, потом во французский ПЕН-клуб, с его книг стали писать литературоведы-слависты, находя в них сходство с Достоевским и Гоголем.

Проза Юрия Мамлеева – удивительный сплав гротеска и глубокой философичности: шокирующие, эпатажные тексты с элементами мистики. Его гербы – странные, а перои и страшные люди, люди-монстры, живущие в столь же странном и страшном мире, но одновременно все они – своеобразные мыслители, путешественники в Великое Неизвестное.

ВАГРИУС

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ



# Юрий МАМЛЕЕВ



## ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО

ВАГРИУС